



В. ЖАБОТИНСКИЙ

САМСОН
НАЗОРЕЙ

158



В. ЖАБОТИНСКИЙ
САМСОН
НАЗОРЕЙ

Владимир (Зеев) Жаботинский
САМСОН НАЗОРЕЙ

העמותה לקליטת עליה בחיפה

רח' י. ל. פרץ 20 חיפה 33041

ספריה

871

מס'

Владимир (Зеев) Жаботинский

САМСОН НАЗОРЕЙ



Библиотека-Алия
1990
Printed in Israel

זאב ו'בוטינסקי
שמשון הנזיר

V.(Z.)Jabotinsky
Samson the Nazarite

Обложка Т. Корнфельд

Предисловие И. Орена (Наделя)

ISBN 965-220-088-7 העמותה לקליטת עלייה

רח"י ל. פז 20 חיפה 2011

ספריה
3304

מס' 871



All rights reserved

כל הזכויות שמורות

לספריית-עליה

ת.ד. 4140, ירושלים

יוצא לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

ואירגון הגוינות העולמי, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, сентябрь 2021 г., Хайфа

СОДЕРЖАНИЕ

В зеркале истории. <i>И. Орен (Надель)</i>	VI
Вместо предисловия	XVIII
Глава I. На все руки мастер	1
Глава II. Шут	9
Глава III. Две кошки	21
Глава IV. Божественное	30
Глава V. Вече	39
Глава VI. Своя и чужая	51
Глава VII. Брат Вениамин	63
Глава VIII. Разговоры	72
Глава IX. Родословная Филистии	82
Глава X. Медь	87
Глава XI. Элиноар за работой	95
Глава XII. В чужом раю	103
Глава XIII. Соседи без межи	112
Глава XIV. Ссора	119
Глава XV. Во дни судей израильских	128
Глава XVI. Формула	140
Глава XVII. Как Бергам вышел из затруднительного положения	153
Глава XVIII. В пустыне	167
Глава XIX. Ремидор и Меридор	179
Глава XX. Колена	185
Глава XXI. Дом и чужбина	197
Глава XXII. В одиночку	209
Глава XXIII. Товар мягкий и твердый	221
Глава XXIV. Третья неделя	229
Глава XXV. О нужном и ненужном	239
Глава XXVI. Беззубый	247
Глава XXVII. Во весь рост	257
Глава XXVIII. Ослиная челюсть	267
Глава XXIX. Три зелья	282
Глава XXX. В яме	300
Глава XXXI. Среди друзей	312
Глава XXXII. Шрам Маноя	321
Глава XXXIII. На прощанье	326
Глава XXXIV. Последняя	335
Примечания	353
Приложение	359

В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

Древнегреческий миф повествует о том, что юноша Нарцисс, возвращаясь с охоты, заглянул в источник с прозрачной водой и, увидев в нем свое отражение, влюбился в него. Владимир (Зеев) Жаботинский*, один из выдающихся вождей еврейского национально-освободительного движения первой половины двадцатого века, в отличие от Нарцисса, решил взглянуть в глубины тридцатипятивековой истории еврейского народа и, пытаясь проникнуть в ее недра, остановил свой пристальный взор на эпохе заселения Ханаана израильскими племенами и формирования единой еврейской нации. И когда перед ним предстала фигура богатыря Самсона, Жаботинский, очевидно, ощутил непреодолимое чувство родства с этим библейским героем.

Самсон — полуполюгендарная-полуисторическая личность. Легендарная постольку, поскольку в преданиях почти всех древних цивилизаций о подвигах великих богатырей есть чрезвычайно схожие мотивы: например, участие божественных сил в рождении героя, олицетворяющего различные явления природы. В образе Самсона явно отражен культ Солнца. Так, лучи Солнца символизируются его роскошными локонами, заплетенными в густые косы; потеря этих локонов означает закат Солнца, а ослепление героя — исчезновение Солнца, наступление тьмы. Даже само имя его — на иврите Шимшон — происходит от "шемеш" — "солнце".

Историческая достоверность существования Самсона подтверждается тем, что его образ и деяния легко вписываются в эпоху Судей — период между 1200 и 1025 гг. до н.э., последовавший за завоеванием Иехошуа бин-Нуном (Иисусом Навином) территории Ханаана (так называлась Эрец-Исраэль до ее

*См. о нем: В. Жаботинский. "Избранное". (Предисловие И. Орена). Изд-во "Библиотека-Алия", Иерусалим, 1978 (репринт 1989); В. Жаботинский. "Повесть моих дней". (Предисловие И. Недавы). Изд-во "Библиотека-Алия", Иерусалим, 1985 (репринт 1989).

заселения израильскими племенами после Исхода из Египта). Эти племена именовались коленами. Каждое колено представляло собой группу семейств, ведущих свое происхождение от общего предка, имя которого и носило это колено. Родоначальниками колен считаются по традиции сыновья праотца Иакова, переселившегося в Египет вместе со своим потомством во время засухи и голода в Ханаане. У Иакова было 12 сыновей: Реувен, Шим'он, Леви, Иехуда, Дан, Нафтали, Гад, Ашер, Иссахар, Звulun, Иосиф и Биньямин. Потомки Леви не числились среди двенадцати колен, т.к. колено Леви не имело своего надела, а члены его исполняли обязанности священнослужителей в святилищах всех других колен. Традиционная приверженность к числу "12", обладавшему мистическим значением, послужила причиной того, что потомки Иосифа составили два колена, названные по именам сыновей Иосифа: Менаше и Эфраим.

Судьей назывался вождь колена, который избирался в моменты внешней опасности, угрожавшей племени или группе племен. В отличие от племенных руководителей предшествующего периода, авторитет которых основывался на родовых началах, судьи рассматривались как избранники Бога, призванием которых было осуществление специфически национальных задач. Они часто именовались "избавителями" или "спасителями"; их личности, их методы правления носили ярко выраженный харизматический характер, в особенности это относится к трем последним судьям, деятельность которых описана в Библии более детально.

На протяжении всей эпохи Судей не существовало у израильтян единого централизованного политического руководства. Библейская Книга Судей определяет эту эпоху как период анархии и заканчивается словами: "В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым".

Такая концовка ясно указывает на то, что именно в ту эпоху, еще до появления пророка Самуила, который был вынужден — по просьбе народа — короновать ("помазать") царя вопреки своим взглядам, обнаруживаются первые признаки тяготения израильских племен к политической консолидации, приведшей впоследствии к возникновению Объединенного Израильского царства.

Жаботинский принимает концепцию Библии и представляет в своем романе Самсона провозвестником этой идеи и борцом за нее.

Обрисовывая яркими красками, с удивительным психоло-

гическим проникновением (что свидетельствует о тщательном изучении исторического материала) быт, жизненный уклад и духовный мир израильтян, филистимлян и ханаанских народностей, автор почти игнорирует историю израильских племен до заселения страны. Патриархи, Исход из Египта, скитания в пустыне, Завет, провозглашение заповедей Торы, завоевания Иехошуа бин-Нуна не играют никакой роли ни в народной памяти, ни в памяти духовных руководителей народа.

Поначалу это удивляет читателя, однако нет сомнения, что такова была историческая действительность. Научная библеистика утверждает, что формирование в сознании народа Израиля идей Моисеевой монотеистической веры представляло собой длительный духовный исторический процесс, который завершился лишь в конце эпохи Первого Храма и принял окончательную форму (иудаизма) лишь после Вавилонского пленения*. В период Судей могли появиться лишь первые начатки этого процесса.

Но даже традиционная библейская концепция не отрицает такого положения вещей в тот период. Она рассматривает то время как время духовного упадка, мрака и забвения.

Библия повествует: "...Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса (Иехошуа бин-Нуна) и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю.

Но когда умер Иисус, сын Навин [...] И когда весь народ оный отошел к отцам своим и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, тогда сыны Израиля стали делать злое перед очами Господа и обратились [...] к другим богам [...]" (Кн. Судей, 2:7—12).

* * *

Единственный источник, повествующий о Самсоне, — главы 13—16 библейской Книги Судей, мы воспроизводим в конце в качестве приложения к настоящему изданию романа. Именно эти тексты явились тем фундаментом, на котором писатель-мастер построил грандиозное здание своего романа. Как почти все произведения этого жанра, "Самсон Назорей" отра-

*Эпоха Первого Храма охватывает период приблизительно с 960 г. до н.э. до 586 г. до н.э., то есть до разрушения его вавилонянами в 586 г. до н.э. Первые группы евреев вернулись в Эрец-Исраэль из Вавилонского пленения в 538 г. до н.э.

жает действительность, современную автору, сквозь призму "исторического" зеркала — разумеется, с той или иной долей "художественной кривизны".

Жаботинский начал работать над "Самсоном" в 1919 году, находясь в Эрец-Исраэль. В его записях того времени постоянно упоминаются различные библейские имена и названия. Каждая страница книги свидетельствует о глубоком знании библейской географии, топографии и истории, а также археологических открытий, связанных с периодом, описанным в книге. С 1926 года роман печатался с продолжениями в сионистском журнале "Рассвет", издававшемся на русском языке в Париже, а в 1927 году вышел в свет отдельной книгой в издательстве "Слово" в Берлине. Именно по этому изданию мы воспроизводим здесь текст романа с изменениями, соответствующими современной орфографии и пунктуации.

Это были годы начала борьбы сионистов с английским правительством подмандатной Палестины, которое отреклось от своих международных обязательств по созданию Национального очага для еврейского народа в Палестине. Жаботинский был лидером самого крайнего течения в сионизме, требовавшего всемерного усиления этой борьбы. Нетрудно провести параллель между политической, этнографической и культурной ситуацией в эпоху Судей, обрисованной в романе, и ситуацией в подмандатной Палестине двадцатых годов. Властелинами страны в эпоху Судей были филистимляне, потомки одного из "народов моря", принадлежащих к древнейшей крито-микенской культуре, которые хлынули на юг и восток Балканского полуострова и на острова Эгейского моря в период греческих завоеваний. В романе они воплощают англичан эпохи колониализма. Они гордятся своей культурой, своими четко выкристаллизованными на протяжении веков традициями, своим аристократизмом и доведенным до совершенства искусством держать в повиновении подвластные им народы. Сила их базировалась на дисциплине, сплоченности и высоко развитой технологии: они умели добывать железо и ковать из него оружие ("Железные колесницы у них", — говорит Библия, Кн.Судей, 1:19). Филистимское общество упивалось своей мощью, жило беспечно и любило публичные игры, пиры, веселые религиозные празднества, близкие по духу к празднествам Диониса. Но в их самоуверенности, в пристрастии к пышным ритуалам, в блеске их культуры уже

таилась червоточина скорого вырождения и даже грядущего в недалеком будущем самоуничтожения.

Жаботинский всегда высоко ценил и уважал европейскую культуру. Он не раз цитировал соратника Герцля, Макса Нордау*, утверждавшего, что сионизм стремится расширить границы Европы и включить в нее Эрец-Исраэль. Однако в том, как Жаботинский рисует Филистию, явно чувствуется влияние весьма распространенных в те годы в кругах западноевропейских интеллектуалов прогнозов о неминуемом упадке греко-римско-христианской цивилизации.

Кто же угрожал филистимлянам чуть ли не гибелью? Им угрожали племена, проникшие в Ханаан, главным образом, по-видимому, с юга. Из этих племен долго и мучительно формировался новый народ, не приобретший пока собственных твердых устоев жизни, но продолжавший хранить память о гуманистической традиции, унаследованной им от предков еще во времена существования кланов-колен. Этот народ упорно ковал свое будущее во вновь обретенной стране, упорно сопротивлялся чуть не покорившим его филистимлянам. Происхождение, психология, духовные воззрения, племенной строй, непривычные верования — все в этом народе было непонятно его властителям. Сочетание покорности и беспрестанного бунтарства вызывало у них недоумение и презрение.

В беседе с филистимским правителем Самсон описывает свой народ в выражениях, напоминающих те, что часто встречались в произведениях еврейской литературы дореволюционных лет при описании евреев "черты оседлости":

"Когда приходит человеку возраст сидеть у ворот на сходе старейшин... за месяц до схода и месяц потом говорит он только о городской заботе и волчьими глазами глядит на соседа, на старого друга, который рассудил по-иному, не по его суждению. Там левит — пройдоха с масляным языком. Разбуди его со сна, он тут же сочинит молитву новому богу, о котором никогда не слыхал; но если ты посмеешься над этой же молитвой, он огорчится и отвернется. Жизнь их — как песок, вся из мелочей, но за каждую мелочь они готовы ссориться, радоваться безмерно, убиваться безгранично. У вас есть порядок даже в пашне туземца; он под вашим надзором тоже проводит ровные полосы. У Дана нет надзирателя;

*Макс Нордау (1849—1923) — философ, писатель, общественный деятель, один из лидеров политического сионизма и руководителей Всемирной сионистской организации.

пашет он сам, суетливо, бестолково; завидует и соседу и туземцу, всегда кого-то хочет опередить на всех дорогах — и оттого повсюду заброшены его сети, повсюду засеяно его зерно. Чина и правила там нет: есть мешанина городов, божниц, мыслей; земледелец ненавидит пастуха, Вениамин Иуду, пророки — всех. Но над этим есть одно единое для всех: голодное сердце. Жадность ко всем вещам, виданным и невиданным. В каждой душе мятеж против того, что есть, и возглас: еще! еще!"

Когда филистимский вельможа презрительно называет такое племя "сбродом", Самсон отвечает ему, что подобные высказывания могут привести лишь к тому, что этот сброд еще быстрее "проглотит" народ Филистии. "Все равно проглотит", — предсказывает он. На чем же основана эта уверенность? Просто на вере в конечную победу израильтян? Нет, на впечатлениях Самсона от общения с предводителями почти всех колен израилевых. Приведем, к примеру, слова, сказанные ему одним из предводителей колена Иехуды (Иуды): "Я тебе скажу то, чему ни ты, ни кто другой еще сегодня не поверит; но это правда. Не трус Иуда, но Иуда хочет жить, потому что в душе его затаен замысел. Какой замысел — я не знаю. Не дано человеку самому толковать свои сновидения [...] Иаков, отец наш [...] свой дар сновидца и упорство погони за невнятными снами он завещал Иуде; и, как он, пойдет Иуда ради невнятного замысла на раздор и с отцом, и с братом, и с Богом: и схитрит, и солжет — и изменит [...] Есть народы, созданные из мрамора, а нас вылепил Иегова из скользкой глины и хрупкой соломы. Но глина с соломой вместе дают кирпич: крепкий это камень".

Замысел, о котором говорит иудейский вождь, есть не что иное, как мессианская идея в ее зародыше. Эта идея определяет само отношение израильтян к истории, когда нормативно не прошлое, а будущее. Именно поэтому читателю начинает казаться, что беснующийся фанатик-дервиш — это предтеча библейских пророков, провозгласивших миру примат морали в человеческом обществе и в мировой истории, а хитрый пройдоха-левит, со своими молитвами и свитками, в процессе эволюции еврейской истории через тысячу лет превратится в мудреца-законоучителя, из тех книжников и фарисеев, которые создали иудаизм, сохранивший еврейский народ — сновидцев "из глины и соломы", существующих и в наши дни. "Правда это не то, что было или чего не было... Правда есть то, что останется в людской памяти навсегда, и знает ее один

человек на свете — это я... Я червь, я умру, но то, что я записал, никогда не умрет", — говорит герой романа Жаботинского, левит Махбонай бен-Шуни.

Беседа Самсона с филистимским правителем перекликается с фрагментом из фельетона Жаботинского "Вместо апологии", написанным во время судебного процесса над Бейлисом. Жаботинский выступает против привычки евреев оправдываться, доказывать свою правоту и отстаивать моральный облик своего народа:

"...особа народа царственна, не подлежит ответственности и не обязана оправдываться. Даже тогда, когда есть, в чем оправдываться. С какой же радости лезть на скамью подсудимых нам, которые давным-давно слышали всю эту клевету, когда нынешних культурных народов еще не было на свете, и знаем цену ей, себе, им? Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не держим экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу. Раньше их мы пришли и позже уйдем. Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим".

Полемизирует Жаботинский с антисемитами, словно Самсон с филистимлянами, однако, как один из вождей сионизма, он считает, что для того, чтобы "царственность" народа и эсхатологический "замысел" его исторической миссии воплотились в адекватной форме, дух еврейского народа в первой половине двадцатого века нуждается в преобразованиях. Свое детище — молодежное движение Бетар* — Жаботинский рассматривает как ядро будущих преобразований. Написанный им гимн Бетара начинается словами: "Из логова гнили и праха (не глины и соломы — И.О.) кровью и потом будет создан род гордых, великодушных и жестоких". Кстати, девиз Бетара гласил: "Государство, монизм и легионизм".

Царственный когда-то в прошлом народ сможет вновь стать царственным и развивать свою самобытность, только если заимствует у окружающих народов современную форму существования: независимое государство. Все помыслы, вся духовная энергия и материальная сила народа должны быть направлены на осуществление этой цели, и все прочие идеалы должны быть ей подчинены. Например, Жаботинский полагал,

*Бетар (аббр. слов Брит Иосеф Трумпельдор — Союз имени Иосефа Трумпельдора) — молодежная сионистская организация, созданная в Риге в 1923 г. под влиянием призыва Жаботинского создать легальную еврейскую армию в Палестине и еврейскую самооборону в других странах.

что еврейскую армию необходимо создать еще до образования государства. И не случайно Самсон, уверовав в "космический замысел", как залог вечности еврейского народа, считал, что для воплощения такого замысла в жизнь необходимо учиться у врага и перенять у него секрет его мощи: единство, железную дисциплину, сплоченность и даже беспечную веселость. Для народа "из глины и соломы", призванного превращать сны в действительность, эта веселость не опасна, пожалуй, даже полезна, и Самсон завещает своим дружинникам ("шакалам") три слова: царь, железо, смех.

* * *

Исследователи древней культуры Ближнего Востока Г. и Г.А.Франкфорт пишут в статье "Миф и Реальность":*

"Нигде в литературе Египта и Вавилонии мы не встретили ничего похожего на одиночество библейских фигур, поразительно живых в своем смешении уродства и красоты, гордыни и раскаяния, успехов и неудач. Такова трагическая фигура Саула, сомнительный Давид, и таких бесчисленное множество. Мы видим одиночек в ужасной изоляции пред лицом трансцендентного Бога".

Нет сомнения, что к этим драматическим фигурам принадлежат и трое последних судей домонархического периода — Гидеон, Иефай (Ифтах) и Самсон, который и с точки зрения художественного воплощения даже в сжатом библейском рассказе возвышается до уровня героя древнегреческой трагедии.

Жаботинский часто говорил о своей тяге к библейским персонажам. В его планы входило создание трилогии, героями которой были бы праотец Иаков, царь Давид и судья Самсон. Вот как характеризует он Иакова в фельетоне "Четыре сына":

"...называют его "первым жидом на земле". Ты, кстати, этого не стыдись, потому что умел Иаков и хитрить, умел и бороться — с самим Богом боролся лицом к лицу всю ночь до зари, и остался непобежденным; умел и любить и четырнадцать лет служил батраком за любимую женщину. Был это удалой человек, на все руки мастер, и купец, и боец, и рыцарь, и судья, хищный и благородный, осторожный и отважный, расчетливый и сердечный — настоящий человек, широкий, с великими доблестями и недостатками, с душой, как семи-

*Сб. "В преддверии философии", пер. с англ., "Наука", М., 1984.

цветная радуга, или как арфа, на которой все струны".

Личность Давида импонировала Жаботинскому, по-видимому, присущими ей контрастами: "скромный и убежденный в своем великом призвании, нежный и жестокий, пастух и воин, поэт-псалмопевец и дипломат, арфист и полководец, подверженный страстям и вожделениям грешник и глубоко религиозный праведник, преданный Богу и искренне раскаивающийся в своих грехах"*.

Но только один из трех задуманных романов был написан Жаботинским — "Самсон Назорей". Вероятно потому, что этот персонаж давал автору возможность наделить его многими собственными чертами, преломляя их в зеркале истории.

С малых лет до поздней юности Жаботинский был погружен в стихию русской культуры. Он был русским поэтом и публицистом. Кроме того, еще в молодости он влюбился в Италию, в живость ее народа, в ее песни, в ее поэзию и романтику. В Одессе и в Риме, среди русской и итальянской богемы он чувствовал себя как дома. Об этом свидетельствуют и его итальянские рассказы, и насыщенный ностальгией по родной красавице-Одессе роман "Пятеро"**.

В тридцатые годы, уже в эмиграции, писатель Михаил Осоргин заявил, что он готов обменять многих из русских писателей-евреев, пламенно живущих только русскими интересами, на одного холодно любезного Жаботинского.

На самом деле он не был холодно любезным. Он был пламенным борцом против ассимиляции, против растворения евреев в русской культуре и всецело посвятил себя делу возрождения еврейского народа.

В уже упомянутой беседе с филистимским правителем Самсон признается в своей любви к народу, сыны которого "его любили, его ослепили и в конце концов с ним погибли в одном огне". Но он категорически отвергает предложение собеседника перейти в стан врага и стать одним из вождей филистимлян, хотя он с горечью чувствовал, что родной народ не способен понять размаха и величия его устремлений и видит в нем лишь чужака.

"В роще — маслина; в поле — пшеница, — говорит Самсон, — всему свое место".

*Краткая Еврейская Энциклопедия на русском языке, т.2, кол. 267; Иерусалим, 1982.

**В настоящее время в издательстве "Библиотека-Алия" готовится к выпуску переиздание романа "Пятеро".

В Филистии — он кутила, игрок, по понятиям нашего времени, нечто вроде барда и артиста, развлекающего публику, а в своем родном городе — суровый, хмурый, замкнутый, скупой на слова вождь, который, мечтая покорить врага, старается одновременно смирить и собственную бурную натуру индивидуалиста и романтика.

"В начале сотворил Господь Индивидуума. Каждый индивидуум — царь, равный своему ближнему. Ближний в свою очередь тоже "царь" [...] и грядущий конец истории — пришествие Мессии — это рай индивидуумов, царство сияющей анархии, игра взаимоборствующих человеческих сил, не стесненных законом и границами... И если посвятит некий индивидуум всю свою жизнь служению нации, то и это не противоречие в моих глазах. Такова его воля, а не долг" (В.Жаботинский. "Повесть моих дней").

Такая формула установления гармонии между психологическими и идеологическими конфликтами и устранения противоречий между "сияющей анархией" индивидуалистов и добровольным подвижничеством, безоговорочная верность лозунгу "государство, монизм и легионизм", не мешали самому Жаботинскому следовать принципу Самсона "всею своею мосто".

Романтические, а в молодости даже рыцарские, стихотворения он писал на русском языке, а овладев ивритом, стал писать на нем публицистические статьи, патриотические стихи и гимны, насыщенные национальным пафосом.

На вопрос, почему из всех героев Библии он остановил свое внимание именно на Иакове, Самсоне и Давиде, он ответил: "Все они герои, и любовь (к женщине) играет решающую роль в их жизни".

Жаботинский утверждал, что в его глазах каждая женщина — ангел. Но ангел соткан из нитей шелка и стали, и в своих произведениях он создал целый ряд женских образов, в которых "преобладают" те или иные нити. Таковы Карни, Семадар, Далила и Ацлельпони в "Самсоне", таковы веселая, беспечная Маруся и угрюмая, не знающая компромиссов революционерка Лика в романе "Пятеро"...

В сочиненном Жаботинским тексте "Присяги бетарца" есть такая фраза: "Когда я присягаю служить народу, я становлюсь как сталь, которую кует мощный кузнец по имени Сион". Он сочинил (на иврите) "Присягу бетарца" в те самые дни, когда писал (по-русски) роман "Пятеро" — роман о распаде

еврейской одесской ассимилированной семьи накануне революции. В конце романа мы читаем:

"Все, что есть на свете хорошего, — все ведь это ласка; свет луны, морской песок и шелест ветвей, запах цветов или музыка — все ласка. И Бог, если добраться до него, растолкать, разбудить, разбранить последними словами за все, что он натворил, а потом помириться и прижать лицо к его коленям, он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка называется 'женщина'".

Роман "Самсон Назорей" — плод огромного таланта писателя, чье творческое воображение и глубокая проницательность создали великолепную фигуру человека, борца и вождя, который предпочел погибнуть сам и погубить своего сына — лишь бы не допустить, чтобы сын стал прислужником врагов своего народа.

* * *

Может ли царить гармония в обществе, состоящем сплошь из царских сынов? Возможно ли вообще, чтобы непреклонные анархисты-индивидуалисты обуздали свои индивидуалистические стремления и всецело отдались служению обществу, доходя до самопожертвования? Привел ли сам Жаботинский к гармонии противоречия собственной личности, чего не мог сделать и Самсон?

Мне кажется, что ответ на этот вопрос следует искать в уже упомянутом гимне Бетара, написанном Жаботинским.

Первая строфа его посвящена трем крепостям на вершинах гор в Эрец-Исраэль, которые были захвачены римлянами лишь после того, как в них не осталось ни одного живого еврейского воина.

Вторая строфа воспевает величие и царственность еврейского народа — еврей, будь он рабом или бродягой, всегда и везде "царский сын".

Третья строфа носит название "Вызов", и ее стоит привести почти полностью:

При взлетах и спадах
Мятежного пыла
Неси свой огонь, зажигай.
Смиренье — трясина.
Отдай кровь и душу
За скрытое великопение.

Вот она — "перманентная революция" Жаботинского. Не подчинение, а вечное бунтарство, чуть ли не как самоцель. Цель эта может быть утопична, но само стремление к ней и вера в ее достижение придает скрытое великолепие человеческой личности.

Но ведь, пожалуй, именно так пронес еврейский народ через всю свою историю эсхатологическую идею мессианства — идею идеального общества, царствия Божьего, должествующего завершить еврейскую и общечеловеческую историю.

В гимне нет ни слова "Мы", ни слова "Вы", а только "Ты". Как десять заповедей Моисея, гимн обращен одновременно к индивидууму и к народу как к единому целому.

В дни борьбы за освобождение против английских властей бойцы Бетара и Эцела* шли на эшафот с этим гимном на устах.

И. Орен (Надель)

*Эцел (аббр. слов Иргун Цваи Леуми — Национальная военная организация) — вооруженная подпольная организация еврейских активистов в подмандатной Палестине.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Гюго написал и, может быть, имел право написать в примечании к "Рюи Блазу": "Само собою понятно, в этой пьесе нет ни одной детали — касается ли она жизни частной или публичной, обстановки, геральдии, этикета, биографии, топографии, цифр, — ни одной детали, которая не соответствовала бы точной исторической правде. Когда, например, граф Кампореаль говорит: "Содержание двора королевы стоит 664066 дукатов в год", — можете справиться в такой-то книге (следует заглавие) и найдете именно эту цифру".

Я, со своей стороны, о предлагаемом рассказе из времен Судей ничего подобного не утверждаю. Повесть эта сложилась на полной свободе и от рамок библейского предания, и от данных или догадок археологии.

В. Жаботинский

Глава I. НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

По дороге, ведущей с юга, спускался усталый путник; за ним на длинной кожаной узде плелся ослик, нагруженный двумя веревочными мешками. Человеку было на вид лет тридцать пять; у него была курчавая черная борода и любопытные азартные глаза навывкате. На голове у него был повязан грязный белый платок; бурую рубаху-безрукавку свою он подобрал до колен, чтобы легче было идти; от этого над поясом образовался у него спереди отвислый мешок, где болталось что-то тяжелое, вероятно, съестной припас. Кожаные подошвы с ремешками он бережливо подвесил к поясу и шел босиком. Тяжелый плащ, вроде одеяла, тоже бурого цвета, был аккуратно сложен между двух мешков на спине у осла.

Солнце шло уже к закату, и было прохладно. Время дождей кончилось только на днях. Долина, к которой вела эта каменистая, еще не очень пыльная дорога, и холмы вокруг долины праздновали лучший свой час: зелень рощ и виноградников еще не успела посереть от пыли, ручьи начали мелеть, но еще не пересохли. Красная земля была густо возделана; в долине виднелся большой городок и по пути к нему отдельные дома с садами барского вида; на холмах издали тоже вырисовывались контуры нескольких крупных селений. Путник сказал сам себе:

— Богато живут люди.

В голосе его не было зависти, хотя брел он из малоплодного южного нагорья. Скорее было в

его голосе удовлетворение, ибо он был человек из безземельного клана, не имеющий дома и никогда не мечтавший о доме, а потому недоступный и зависти, пороку мужика: если этот край богатый, тем лучше и для пришельца.

До первого барского дома оставалось несколько сотен шагов, и от него до городских ворот еще в три раза дальше. Дом этот был большой и красивый, с круглыми столбами и всякими пристройками; за ним лежала широкая впадина — теперь, после дождей, временный пруд. Из дома вышли две женские фигуры; неспешно, шагом прогулки, они направились в гору, навстречу путнику с ослом. Они были поглощены своей беседой или, может быть, спором; одна, пониже, горячилась и размахивала руками. Через несколько минут путник увидел, что это черноволосая девочка лет двенадцати; старшая, с богатой рыжей прической вокруг головы, казалась года на три старше. Судя по платью, которое было много длиннее, чем у женщин его племени или у туземок, и другого покроя, путник догадался, что девушки из филистимской семьи. Когда они подошли ближе, он прищурил один глаз, оценивая на расстоянии шерсть, из которой была сделана их одежда: шерсть была хорошего качества, особенно на старшей. В нескольких шагах от них он остановился и учтиво сказал:

— Здравствуйте, девицы.

— Здравствуй, — ответила рыжая и сейчас же улыбнулась. Это была очень хорошенькая девушка, зеленоглазая, с задорным и веселым выражением лица; от улыбки у нее сделались ямочки на обеих щеках. Она остановилась; младшая тоже остановилась, но неохотно, и смотрела исподлобья в сторону. У нее тоже были зеленоватые глаза.

— Что за город внизу? — спросил мужчина.

— Тимната. А ты торговец?

Девушка при этом указала на выюк.

— И торговец. Показать тебе гребешок из

слоновой кости? Или амулеты? Цветные пояса? Мази?

Он стал подробно перечислять свои товары с указанием, из какой страны вывезен каждый; географических названий было очень много, и младшая девушка проворчала, все не глядя на него:

— И земель таких, верно, нет на свете. Он купил свой хлам где-нибудь у городских ворот; торгует старыми вещами, как все эти разносчики с нагорья. Моя мать всегда говорит: хороший купец приходит со стороны Экрона, а не из Адуллама.

Он хотел ответить, но старшая вмешалась, по-видимому, желая загладить резкость:

— У нас нет денег, добрый человек, а старшие все ушли из дому. Вот наш дом; если хочешь, приходи завтра утром — все равно, ты ведь должен ночевать в Тимнате, уже скоро вечер.

— Спасибо, красавица, — сказал торговец, — приду. Если понравится, купите; если есть у твоих родителей что продать — может быть, и я куплю. Твоя сестра права: у меня всякий товар, новый и старый, видимый и невидимый. — И, дергая за узду, чтобы вывести осла из состояния понурой задумчивости, он деловито прибавил: — А есть у вас в Тимнате блудница?

Этот вопрос он задал без всякой неловкости, хотя был человек вежливых привычек и нравственного образа жизни. Постоялые дворы содержались в то время женщинами свободного сословия; оба понятия считались синонимами. Рыжая девушка ответила также деловито:

— Есть, только надо пройти весь город; ее дом у северных ворот. Любой встречный тебе укажет.

Младшая опять забормотала сквозь надутые губы:

— Незачем спрашивать у встречных; он услышит гомон еще с полдороги.

Путник попрощался и, уходя, скосил глаза на раздражительную девочку. Она ему не

понравилась. Она была мало похожа на старшую. Вряд ли это были сестры; впрочем, в черных кудрях младшей под косым солнцем тоже рдели красные отливы. Очень она ему не понравилась, и, шагая и ругая ленивого осла, он прошептал длинное и сложное заклинание против дурного глаза.

Пока он дошел до Тимнаты и пока надел сандалии, без которых считал неудобным вступить на землю просвещенного поселения, солнце уже село, и улицы были пусты. Эта сторона города произвела на него впечатление богатого квартала: часто попадались каменные дома, и по запахам, которые доносились вместе с гарью из-за низеньких заборов, ограждавших навесы над печами, он точно определил, что почти всюду жарится козье мясо. В некоторых домах были резные двери; кое-где слышалось пение и звон струнного инструмента.

Раб из туземцев, тащивший на голове корзину с сушеным навозом для растопки, указал ему путь к дому блудницы. Еще задолго до харчевни характер зданий изменился: тут жила беднота в лачугах из обожженной на солнце глины или просто в серых земляных коробках; жители сидели на корточках перед входами и ели пальцами какую-то крупу. Уже стемнело; изредка жалкие светильники выделяли грубые и резкие черты: филистимлян среди них не было, вся эта городская голь, наемники, ремесленники и нищие, составила из обломков туземных племен. Имена их он знал, бывал не раз в городах и селах иевуситов, гиргасеев, хиввейцев, умел их отличать друг от друга с первого взгляда, а косолобого хиттита и тонкогубого аморрея¹* узнавал по гордой осанке даже издали. Но здесь это была просто низкая помесь, худосочные выжимки двадцати племен, раздавленные до обезличения меж двух жерновов, двух народов завоевателей.

*Примечания см. в конце книги.

Постоялый двор помещался у самых ворот. Действительно, еще издали можно было услышать оттуда гомон чересчур громких голосов; у ограды столпились все бездомные собаки предместья, все одинаковые, без признаков породы, как их соседи — люди, и, не толкаясь и не огрызаясь друг на друга, ждали часа, когда служанка выбросит им объедки. За оградой был просторный двор, освещенный двумя смоляными кувшинами; на дворе был поставлен длинный стол, вышиною по колено взрослому мужчине, и там шла попойка: человек двадцать сидело и лежало вокруг, одни на плетенках, другие прямо на земле. Низкий и широкий земляной дом находился в глубине двора; у порога его стояла хозяйка и звонко, на весь двор командовала своим штатом. Видно было, что гостиница хорошо поставлена: мужская прислуга состояла из двух плечистых негров, которые, подавая блюдо, весело скалили зубы (ханаанская раса и тогда не умела прислуживать за столом приветливо и ласково), а горничные — две белые и одна мулатка — были девушки приятной дородности и легко одетые. Кухня была в дальнем конце двора, под навесом, с невысокой загородкой с подветренной стороны: четыре глиняные печи в форме полушарий, разрезом вниз, посылали дым прямо в звездное небо, и еще что-то большое жарилось прямо на углях, поверх плоского камня, и один из негров от времени до времени поворачивал тушу палкой.

Новопришедший, осторожно обводя осла подальше от пирующих, направился к хозяйке. Она, как те две девушки из загородного дома, была в длинном платье с плотно прилегающей талией. Он впервые попал в Филистию², но знал, что в этой стране с женщинами вольной жизни надо обращаться почтительно.

— Здравствуй, госпожа, — сказал он. — Могу я у тебя поужинать, переночевать и накормить осла?

Хозяйка, не глядя на него, закончила начатое проклятие по адресу одного из негров; потом внимательно осмотрела гостя при свете смоляной кадки и ответила:

— В комнате места не будет; придется спать на дворе. Стойло налево, за домом; отведи осла сам, слуги заняты. Есть можешь у печи — не садись к столу, тут все свои, они посторонних не любят.

Он посмотрел в сторону стола. Все эти люди были хорошо одеты, с расчесанными бородами — впрочем, много было и безбородой молодежи. Часть уже снимала шапки, но на остальных еще красовался филистимский головной убор, похожий на корону из раскрашенных перышек, торчком вставленных в поярковый околыш. Новый гость, несмотря на плохое освещение, сразу мысленно оценил и добротность тканей, и качество пищи, загромождавшей стол, — тут было и мясо, нарезанное широкими полосами, и зелень, и редкостное для горного жителя блюдо — рыба, и сушеные плоды, и пирожное, и много вина.

— Богатые господа, — сказал он хозяйке. — Я сяду в сторонке, но потом, когда они совсем развеселятся, попробую подсесть. В тюках у меня кольца, кошельки, пояса, ремешки для сандалий, застежки для рубах; кому-нибудь из них может понадобится и любовная трава, прямо из Мофа: действует верно, все равно как рвотный корень, и почти так же быстро.

— Вряд ли им будет до тебя. Я их знаю: когда Таиш угощает, дело всегда кончается или сном вповалку, или дракой.

— Если напьются до обморока, надо будет кому-нибудь пустить кровь; если переранят друг друга, понадобятся примочки. У меня есть лекарства, и я умею отворять жилы без боли. Кроме того...

Он пристально посмотрел на хозяйку, она пристально посмотрела на него, и оба как-то поняли друг друга. Он сказал вполголоса:

— Мало ли что может обронить пьяный человек. Браслет, цепочку, кошелек...

— У каждого из них хорошая память, — отозвалась хозяйка, — выпавшись, он обыщет весь дом.

— До полудня не проснется, а я всегда пускаюсь в путь на заре. Пусть ищет у тебя: что он найдет, кроме — скажем — цветной шали, которую ты у меня — скажем — купила? А меня не догонят.

— Умный ты человек, — сказала хозяйка, — и на все руки мастер. Купец, и лекарь, и... добытчик.

— И еще много других у меня рукоделий, госпожа, гораздо более важных. Я знаю заклинания, умею плясать у жертвенников — на все лады, по-ханаанскому, по-израильскому, по обычаям народов пустыни; если нужно, за один день выучусь и по-вашему. Умею писать на черепках, на козьей шкуре и на папирусе; могу обучать детей в богатом доме книжному искусству, молитвам какой угодно веры, игре на флейте, игре на лире...

— Ты по виду похож на соседей наших из племени Дана, — сказала хозяйка, — но я в первый раз в жизни вижу такого данита. Эти соседи наши из Цоры — неотесанное мужичье, куда тупее туземцев, а ты — словно приехал из Египта. Кто ты такой? Откуда?

— Я, в самом деле, сродни колену Дана, только из другого племени. Я — левит³, родом из Мамре, близ Хеврона, где жертвенник лесной Ашеры⁴ — ты о ней слыхала? Очень важная богиня. У нас-то самих вера другая, но это не к делу.

— Левит? Никогда не слыхала о такой стране.

— У нас нет страны. Мы живем повсюду, вся земля наша. Брат моей матери — большой священник в столице иевуситов, что в горах; другой родственник управляет певчими в Доре, при капище тамошнего бога; третий ушел искать работы к вам в Яффу и, должно быть, тоже устроился. Я,

собственно, тоже бреду в поисках жертвенника. Но по пути надо же кормиться.

— Хурру! — крикнула хозяйка.

Подошел один из негров.

— Отведи осла и дай ему отрубей; вьюкними и оставь здесь.

— Земер!

Подбежала одна из служанок; левит отвел глаза, чтобы не видеть изъянов ее костюма.

— Постели для гостя циновку помягче и дай ему вина и баранины со стола.

Потом она прибавила:

— Ты говорил о шали? Покажи.

Глава II. ШУТ

Медленно и степенно закусывая, левит разглядывал пирующих и слушал их беседу. Из беседы было ясно, что не все они местные жители: часть пришла из Гезера, другие из Экрона, один даже из Асдота⁵ — этот, очевидно, случайно попал в Тимнату по делу, и его затащили на попойку; но остальные к ней, по-видимому, готовились несколько дней. Повод скоро выяснился из перестрелки шуток. Угощал компанию некий Таиш ("смешные у них имена"⁶, подумал левит) и на правах гостеприимного хозяина шумел громче всех; голос у него был редкой силы, глубокий бас, но лица его нельзя было рассмотреть — соседи заслоняли; иногда только переливались пестрые глянцевитые перья его большой филистимской шапки. Угощал он потому, что проиграл заклад; насколько можно было понять, заклад состоял в том, что Таиш взялся перепрыгнуть, опираясь на шест, через какую-то не то речку, не то пруд, в самое половодье, но не допрыгнул до берега и при всех свалился в воду. Большая часть острот вращалась вокруг вопроса, успел ли он уже просохнуть. Остроты были, как обычно бывает на пиру, сами по себе нисколько не острые, но в этой обстановке всем казались ужасно меткими. Таиш нисколько не обижался, хохотал гулким басом и угощал без скупости, все время понукая служанок.

Постепенно красноречие веселой банды перешло на новую тему — во сколько серебра обойдется этот пир.

— Ахтур! — закричал один из гостей, — пощупай его кошелек. Как бы не пришлось делать складчину — а у нас, экронцев, нет ни полушки!

Этот гость все время потешал общество тем, что резал мясо стальным мечом. Люди из Экрона ввиду дальней дороги пришли вооруженные, но уже давно, для удобства возлежания, отстегнули свои короткие мечи.

Ахтур сидел справа от Таиша, и его левит ясно разглядел: это был щеголеватый юноша, очень красивый; лоб его и нос образовывали одну прямую линию, без впадин и горбин. Он притворился, будто взвешивает под столом что-то непомерно тяжелое, и серьезно доложил:

— Не бойся. Половина виноградников Цоры звенит в его мошне!

Общий хохот, над которым внушительнее всех бунчал басовый рев самого Таиша.

— Нечестивец обобрал своего отца!

— Ограбил городскую казну!

— Если и обобрал, — загудел голос хозяина попойки, — то не те виноградники, не того отца и не ту казну, о которых вы думаете.

— А кого?

Кто-то откликнулся:

— В Яффу недавно прибыл египетский флот: их послали в Сидон за лесом, но в открытом море пираты забрали у них все мешки с золотом. Не твои ли это люди, Таиш?

Другой возразил:

— Его товарищи называются "шакалы", а не "акулы": они работают на суше.

— Друг мой, — вставил третий, — не твоя ли работа — тот мидианский караван, что добрел недавно до Газы без верблюдов и без рубах?

Таиш казался очень польщен, но принять эту высокую репутацию не пожелал:

— Так далеко мои шакалы еще не добегали, — гремел он.

— Откуда же твое богатство?

— Отгадайте! — Он вдруг выпрямился, поднял руку и провозгласил: — Вот вам загадка: двадцать хозяев, а гость один. Кто такие?

Человек из Асдота, постарше всех остальных и не столько выпивший, сказал:

— Я отгадал. Наш хозяин поит нас за счет всего того, что он у нас же выиграл в прежние разы.

Филистимлянам это чрезвычайно понравилось, и почти все захлопали в ладоши: они любили удачную проделку, даже если шутка была сыграна с ними самими. Два десятка пьяных голосов стали наперебой вспоминать прежние пари, выигранные или проигранные главой сегодняшнего пира. Он был, по-видимому, великий игрок перед Господом, и притом одаренный исключительной фантазией. Темы закладов отличались поразительным разнообразием, от стопки меду, которую надо было выпить, вися на суку вверх ногами, и до бега взапуски с лошастью, принадлежавшей кому-то из экронских гостей.

Теперь, когда он выпрямился, Таиша можно было разглядеть. Левит заинтересовался им с минуты, когда выхоленный сосед его, Ахтур, упомянул о Цоре. Он знал это имя: город уже давно был занят коленом Дана, и хозяйка час тому назад это подтвердила. Левит опять прищурил один глаз: это была манера его племени, когда нужно было рассмотреть предмет во всех подробностях. Таиш казался человеком широкоплечим и плотным в груди, но еще очень молодым, борода едва пробивалась. Одет он был, как все остальные; шапка, сдвинутая назад, открывала невысокий, но широкий лоб. Ноздри его раздувались и дрожали от смеха и в юношеских щеках делались ямочки; левит вспомнил рыжую девушку. Рот у молодого кутилы был, может быть, и небольшой, но он беспрерывно открывал его настежь, хохоча во все горло и показывая белые, ровные зубы; зато

подбородок был квадратный, выпуклый и тяжелый, и шея чуть-чуть грузная для его возраста. По чертам лица он мог быть кто угодно, и данит, и филистимлянин, но по одежде, манерам и поведению было ясно, что он, хоть и имеет какое-то отношение к виноградникам Цоры, родной брат остальной компании; и, наконец, левит, человек бывалый, никогда не встречал среди своих человека с таким странным именем — и вообще никогда не видел шута в своем суровом и озабоченном народе.

— Филистимлянин, — решил левит окончательно.

Между тем широкоплечий филистимлянин совсем разошелся. Он сыпал прибаутками, по большей части такими, что левит в своем углу качал головою, а служанки взвизгивали и закрывали руками лица, хотя у каждой из них было, по крайней мере, еще три способа гораздо убедительнее проявить свою стыдливость. Он показывал фокусы: глотал кольца и находил их у соседа за поясом, порылся в седоватой бороде асдотского гостя и вытащил оттуда жука, затолкал в рот сплошной каравай инжира⁷ и, стиснув зубы, одними движениями нёба и глотки отделил и проглотил все фиги одну из другой — все это видели ясно и дивились, после чего он вынул нетронутую массу изо рта и бросил ее в собак. Потом он приподнялся на коленях (он оказался очень высок, но тонок в талии, как девушка), схватил три глиняные плоски и разом все три подбросил в воздух, поймав одну головой, вторую рукою спереди, третью рукою за спиной. Наконец, когда гости уже надорвались от хохота и могли только выть, он изобразил в голосах сходку зверей для выбора царя. Иллюзия была полная. Вол ревел, рычала пантера, хрипло и гнусаво хохотала гиена, осел храпел, верблюды злобно урчал, блеяли овцы, и все это шло так быстро вперемежку, точно звери действительно спорили и прерывали друг друга;

в конце, побеждая разноголосицу, торжественно и подробно заемекал старый козел, и всем стало ясно, что он избран царем. Гости уже плакали от смеха и обессиленно махали руками; негры катались по земле, хозяйка и три горничные были в истерике; сам левит, хотя помнил свое место и, говоря вообще, не одобрял шумного веселья, не мог удержаться от одобрительного возгласа.

Таиш услышал; он всмотрелся в полутемный угол двора у кухонного навеса и окликнул хозяйку:

— Дергето! Что это у тебя за странник?

Она подошла к столу:

— Купец; очень приличный господин. Он с нагорья, но совсем особенный — говорит длинно, как священник из Экрона... Не смей! — и она обеими руками сразу ударила по головам двух возлежавших, между которыми стояла и которые, по-видимому, выразили ей свое внимание в форме, не соответствующей времени и месту.

— Зови купца сюда, — распорядился Таиш. — Эй, путник! Приглашаю тебя к столу. Земер, дай ему жареной рыбы и чистый кубок; а он нам за то расскажет, что слышно на свете.

Левит быстро стянул с головы свою засаленную повязку, пригладил волосы и, подойдя к столу, учтиво поклонился на три стороны. Он привык к обществу инородцев; с филистимлянами, правда, еще не встречался, но и их не робел. Вот уже много лет в южном Ханаане был мир. Войны с туземными племенами давно кончились и на востоке, и на западе; покоренные народы примирились с судьбою, непокоренных решено было не трогать, а оба завоевателя, Израиль и Кафтор, пока соблюдали межу, разделявшую сферы их влияния. Ряд боевых поколений утомил и тех, и других, и третьих; все они дали самим себе долгую передышку, и — кроме разбойников — никто никому не мешал переходить из области в область.

— Меня зовут Махбонай бен-Шуни, из семейства

Кегата, старшего в колене Леви, — представился корректный левит, но никто его не слушал; пирушка дошла уже до той ступени, когда общих тем для всего стола больше нет, и соседи пьют, беседуют, целуются или ругаются друг с другом. Таиш, запросто и, по-видимому, без усилия отодвинув подальше своего осовевшего соседа слева, указал на освободившееся место. Левит сел, обмакнул пальцы в плошку с водою и, пробормотав негромко заклинание (он давно или вообще никогда не ел рыбы), занялся едою; но блюдо было сложное, с кожицей и косточками, и вкус необычный, а потому он скоро объявил, что не голоден, и выпил немного вина, смешав его с водою.

— Откуда пришел? — спросил его Таиш немного заплетающимся языком. Из-за его широкого плеча красавец Ахтур, изящно облокотившись, тоже смотрел на нового гостя; левая рука Ахтура легко и небрежно покоилась на волосатой лапе друга — они, очевидно, были большие приятели. Остальным было не до них.

— Я теперь иду из Иевуса⁸, — ответил Махбонай бен-Шуни, — но шел я окольными путями, через Вифлеем; идти прямо, на Кириат-Иеарим, не решился. Иевуситы не хотят проложить дорогу к долине — боятся; а на тропинках легко заблудиться, и они полны дикого зверья; да и люди тамошние не лучше.

— Иевус? — сказал Ахтур, — это где туземцы молятся козлу?

— Так точно, — ответил Махбонай, — по-ихнему Иерусалим.

— Небольшой город, но прекрасный, — продолжал он, — все дома из розового камня, земляных хижин не видать; город на скале, и вокруг него стена вот такой толщины. И хорошо там живется людям: не сеют, не жнут, а всех богаче. Когда женщины их идут по улице, звон стоит кругом от цепочек и браслетов.

— Чем промышляют? — спросил Таиш.

— У них два промысла. Раза три в году они спускаются в Киккар, к Иордану и Соленому морю⁹: грабят поселки туземцев, обирают караваны и подстерегают по ночам лодки моавийских купцов. Но еще три раза в году они грабят окрестные народы гораздо проще: те сами приходят к ним на стрижку — толпами, тысячами.

— Зачем?

— На поклонение. Посреди города, на площади, стоит у них большой каменный храм; стоит он, говорят, с незапамятных времен, выстроен еще великанами задолго до того, как пришли сюда ханаанские племена. Все кочевые народы юга и пустыни ходят туда молиться о пастбищах и приплоде. В храме день и ночь служат священники — весь город полон священников: ох, какие воры! Старший священник, между прочим, мой родной дядя; оттого я и попал в Иевус — хотел получить место при храме: в нашем роду все мы с детства знаем обряды, музыку и танцы. Но теперь уж, видно, не те былые дни, когда родич стоял за родича. Старый мошенник даже не допустил меня к себе — велел прийти завтра, а назавтра его привратник вручил мне табличку с надписью: "Возьми с собой, — говорит, — и передай семье: так, мол, повелел преподобный". А на табличке было написано (я умею читать):

 "Если б стал вводить я братьев,

 Как Иосиф, сын Рахили,

 Дело кончилось бы снова —

 Так, как кончилось на Ниле"¹⁰.

Слушатели его засмеялись.

— Умный человек твой дядя, — сказал Ахтур. О том, что Дан и остальные колена когда-то изгнаны были из Египта, знал весь Ханаан, все равно как о том, что филистимляне приплыли из Кафтора.

— Я и решил уйти, — продолжал Махбонай.

— На прощанье осмотрел их святилище. Посреди

храма — утес, в утесе дыра, под нею пустой колодец: над дырой они режут козлят, овец и детей (не своих, а тех, которых приводят им набожные люди из пустыни) — и потом бог до следующего праздника пьет из этого колодца. Сам бог — из красного камня; вид у него, действительно, козла, только в два раза больше, и по-настоящему зовут его Сион, т.е. владыка пустыни, но народ этого имени не произносит, чтобы не рассердить бога, и зовут они его Азазель, или просто Козел — Ха-Таиш... Кстати, господин: нет ли и в Филистии такого бога, и не в его ли честь дано тебе это имя?

Оба опять расхохотались, на этот раз так заразительно, что и остальные обернулись в их сторону, глядя оловянными глазами и спрашивая непрочными голосами, в чем дело. Через минуту весь стол уже заливался; одни хлопали себя по макушке, другие стучали кулаками по столу, третьи стонали — видно было, что Махбонай задал необычайно смешной вопрос.

— Это не имя, а прозвище, — сказал, наконец, Таиш, вытирая глаза, — и я не филистимлянин: я из племени Дана.

— А Козлом мы его прозвали за то, что он такой мохнатый! — объяснил Ахтур и ловко сорвал с головы соседа шапку. Из-под нее свалилась ему на лоб, на уши, на затылок до самых плеч грива темнорусых волос, на редкость густых и тонких. Края их, ладони с полторы от конца, были заплетены в семь тугих жгутов, каждый толщиной с большой палец.

Левит побледнел и слегка отстранился.

— Ты, значит, назорей?¹¹ — спросил он вполголоса. — Как же так.. а это? — и он указал на кубок, стоявший перед Таишем, и на расплеснутое по столу вино. Он был серьезно потрясен. Как называется божество, в честь которого производятся обряды, это он не считал

столь важным; но обряд есть обряд, и нарушать его нельзя.

Таиш, однако, был другого мнения. Он весело и громко ответил:

— В Цоре я назорей; в земле Ефремовой¹² — тоже; тут я не я. В роще — маслина, в поле — пшеница; всему свое место.

И он допил свое вино, причем Ахтур деликатно захлопал в белые ладоши.

— Это грех, господин, — настаивал левит.

Выражение лица Таиша вдруг изменилось; охмелевшие глаза взглянули строго и сурово, углы рта подтянулись, ноздри напряглись; он нагнулся к уху левита и сказал отчетливо:

— Время человеку бодрствовать и время спать. Там я бодрствую; здесь я вижу сны; а на сон нет закона. Пей и молчи!

Он отвернулся и затеял игру со своим визави, который был еще не окончательно пьян. Это был экронец, резавший мясо мечом. Игра, старая, как Средиземное море, была и очень простая, и невероятно трудная: оба одновременно опускали на стол правый кулак, выставив несколько пальцев, а остальные поджав; один из играющих, отгадчик, должен был в то самое время, ни на миг раньше, ни позже, назвать сумму выставленных обоими пальцев. В разных углах стола, кто владел еще руками, играли в другие игры: в упрощенные кости на чет и нечет, или во что-то вроде наших карт, при помощи разноцветных камешков четырех мастей. Кольца, запястья, брелоки — разменная монета Филистии — переходили из рук в руки, иногда с ругательством, иногда после ссоры и третейского разбирательства осовелых соседей. Левит поднял глаза на хозяйку, и они переглянулись. Тем временем служанки уже вынесли корзину обглоданных костей собакам, и по ту сторону забора начался визг и вой дележа. Голос данита один поминутно отрывисто рывкал:

”Шесть! — четыре! — десять!” Он смотрел не на руки, а в глаза партнеру, и почти всегда называл верное число.

Вдруг он предложил экронцу:

— Хочешь биться об заклад? Игра в четыре руки, и я должен отгадать три раза подряд.

— Идет, — сказал экронец. — А ставка?

— Ставка простая: все, что я потребую, — или, если я проиграл, все, что ты потребуешь.

— Идет, — сказал экронец.

Они назначили судей: Ахтур со стороны данита, гость из Асдота со стороны экронца. Таиш высоко поднял оба кулака, противник его тоже, и оба гипнотизировали друг друга глазами. Оба вдруг и вместе обрушили четыре кулака на стол, и прежде, чем они ударились о доску, Таиш прогудел:

— Четырнадцать!

Судьи стали считать. Таиш выставил все пальцы левой руки, один правой; экронец просто поджал оба больших пальца и выставил по четыре на каждой руке. Его пальцы слегка дергались.

Опять они подняли кулаки. Весь стол, кроме спящих, смотрел теперь на них. Левит с пересохшей от волнения глоткой переводил выпученный взгляд с одного лица на другое. Оба игрока сильно побледнели; глаза экронца выражали крайнее напряжение, глаза Таиша ушли еще глубже под брови и смотрели оттуда так, как будто он целился или готовился к прыжку. Вдруг левиту стало ясно, как будто ему шепнули, что сейчас выкрикнет данит.

Бах! — четыре кулака ударили, как один, а Таиш отчеканил уверенно и негромко: — Ничего!

Так и было, кулаки оказались сжатыми.

В третий раз напряжения было меньше; всем почему-то казалось, что дело решено. Экронец моргал и встряхивал головою, как будто стараясь освободиться; глаза данита диктовали или, может быть, просто читали в несложном мозгу человека

старинной, но необрезанной расы.

— Одиннадцать!

Таиш выставил один палец, его противник все десять. Экронец вынул из-за пазухи пестрый шелковый платок и долго отирал лоб, уши и затылок, а потом спросил:

— Что я проиграл?

— Твой меч, — ответил Таиш.

Шум, начавшийся было на всех концах стола, оборвался. Остальные экронцы инстинктивно придвинулись ближе к проигравшему. Он казался растерянным.

— Это невозможно, — сказал он тихо. — Требуй, что угодно, Самсон, кроме этого — ты ведь знаешь...

У данита опять раздулись ноздри.

— Ничего знать не хочу. Ты проиграл.

Пожилой судья из Асдота вмешался:

— Нашему другу из Цоры несомненно известно, что по закону Пяти городов нельзя передавать железо людям его племени. Это государственная измена; за это полагается смертная казнь.

Самсону это все было хорошо известно; но, видно, еще больше известно было ему то, что во всех уделах двенадцати колен не было ни одного куска боевого железа; и он много выпил. Он стал медленно подыматься; люди из Экрона и Гезера начали шарить за собою неверными руками — к счастью, опытная хозяйка давно уже велела негру убрать все мечи. Ахтур тоже поднялся, положил руку на плечо друга и проговорил своим грудным голосом, задушевым без вкрадчивости:

— Самсон, они твои гости... и вы все наши гости, здесь в Тимнате.

Таиш угрюмо опустил голову.

— Хочешь, я дам тебе... — начал проигравший, но данит его прервал:

— Ничего не хочу.

В неловком молчании было только слышно,

как грызлись собаки из-за объедков. Тайш вдруг расхохотался, сел на свое место и загремел:

— Не станем ли и мы лаять друг на друга? Мир!

Он слегка повернулся к забору, и вдруг из середины двора на брехню собачьей стаи откликнулись четыре пса: один — большой и злющий, другой — обиженный щенок, третий — тоже щенок, но задорный и наглый; четвертый — не подавал голоса, а просто грыз, чавкал и поперхивался; и все это был один Тайш. Кончив концерт, он, под общий хохот, в котором на этот раз чувствовалось и искреннее облегчение, и некоторое старание задобрить, встал и отошел в сторону, поманив за собой Махбоная.

— Левит, — проговорил он, — я вот что тебе хотел сказать: если ты ищешь работы у жертвенника, приходи завтра в Цору к моей матери. У нее целая комната образов. Ты умеешь служить и нашему Иегове?

— Конечно, умею; да и служба ведь одна и та же.

— Спроси в Цоре, где дом Ацлельпони: всякий тебе укажет.

— Спасибо, сын Ацлельпони...

Самсон улыбнулся.

— Сын Маноя, — поправил он. — Ацлельпони моя мать, отца зовут Маной; но если ты в Цоре спросишь, где дом Маноя, то спрошенный задумается и воскликнет: "А, это муж Ацлельпони!"

Глава III. ДВЕ КОШКИ

Перед рассветом Махбонай бен Шуни, после удовлетворительного и тайного делового заседания с госпожою Дергето, навьючил осла и направился через тут же находившиеся северные ворота кратчайшей дорогой в Цору. От визита в загородный дом вчерашних девушек он решил отказаться: необходимо было скорей исчезнуть из пределов города, и, главное, посещение Тимнаты и бѣз того оказалось для него чрезвычайно выгодным. Уходя, он заглянул в комнату постоянного двора: при свете ночника там храпели иногородние гости; местные уже давно разбрелись по домам, опираясь друг на друга, — кроме тех, что остались в гостях у служанок, кельи которых помещались во флигеле. Сама хозяйка, будучи занята торговыми делами, отказалась от предложенной ей той же любезности.

Несколько позже из общей комнаты, осторожно ступая, вышел Самсон. В правой руке он нес что-то продолговатое, завернутое в плащ; в левой — шапку с перьями. На дворе он сложил обе ноши, окунул, разгоняя тучу комаров, голову и руки по локоть в большую глиняную кадку с водой и долго махал руками и тряс гривой, чтобы обсохнуть. После этого он аккуратно выложил на темени свои семь косиц и надел шапку; оглянулся, развернул плащ, вынул из него короткий экронский меч, сунул его за кушак, стянул кушак покрепче, закутался в плащ и бесшумно вышел на улицу. Минуя северные ворота, он направился к южным, по

дороге, которой в обратном направлении прошел накануне левит. Даже в предместье туземцев все еще спали; только в конце его, где начинались уже филистимские дома, в низком строении, похожем на пещеру, шевелились какие-то фигуры, разводя огонь. Самсон знал Тимнату и знал, что это за пещера: это был оплот филистимского могущества, туземцами уже утраченный, а Дану и другим коленам еще недоступный — кузница. Он машинально расправил складки плаща на левом боку, чтобы не оттопыривалась под ними украденная ноша.

Солнце выглянуло, когда он дошел до южных ворот. Было свежо и красиво. Коршуны клекотали под карнизами старинной приворотной башни; жаворонки, один за другим, подымались в небо, словно их туда втаскивали на веревочках, и сверлили уши трелью. Красные и лиловые цветы, усеянные тяжелой росой, искрились и мигали с обеих сторон протоптанной дороги. Он быстро шел в гору, не оглядываясь на загородные дома, где и рабы еще не начали шевелиться; он только подумал укоризненно о ленивом филистимском быте — в Цоре уже давно в этот час молола каждая мельница. Подходя к последнему дому, он беззвучно рассмеялся: вон, за теми деревьями, сейчас будет пруд, через который ему не удалось перескочить на шесте. До сих пор смешно было вспомнить, как он увяз в тинистом дне. Он поравнялся с прудом, пристально глядя дальше, на низкое крыльцо с колоннами; но там никого не было и быть не могло так рано — Самсон это знал.

Вдруг его окликнули по имени, молодым женским голосом. Он остановился и оглянулся на пруд. Там купалась девушка — черноволосая, не рыжая, хотя под солнцем ее волосы отливали красной медью. Самсон сделал гримасу, а потом его лицо приняло холодное, каменное выражение.

Девушка поднялась, вода ей теперь доходила только до колен. Самсона это рассердило. Он знал ее выходки, но это было слишком. Женщина в двенадцать лет — женщина; стоять перед мужчиной безо всего — это не полагается даже у филистимлян, даже у туземцев. Он внутренне смутился, но на это проклятый бесенок и рассчитывал, и такого удовлетворения он ей не хотел доставить. Поэтому он не отвернулся и не опустил глаз, а просто изобразил на лице равнодушие и смотрел поверх нее, со скучающим видом.

— Куда так рано, Самсон, — и еще после похмелья? — спросила она звонко и вызывающе. Классическим жестом женщины, которая хочет себя как следует показать, она подняла обе руки к волосам и стала их выжимать за голову; при этом она выгнулась, грудью вперед и бедрами назад. Это была уже очень красивая девушка, но ее стройные линии Самсона не смягчили. "Змееныш", — подумал он про себя, а ей ответил:

— Есть дело на горе. Очень тороплюсь.

— Семадар еще спит. А я всегда тут на заре купаюсь, пока пруд не высохнет. Ты уже завтракал? Хочешь козьего молока? Подожди минуту, я закутаюсь в простыню и пойду с тобою — платье мое в комнате.

Самсон пожал плечами и ответил:

— Нет времени, я спешу. Прощай.

Он повернулся и быстро пошел дальше; вдогонку ему она мелодично засмеялась и крикнула:

— Есть, видно, вещи, которых могучий Таиш боится!

Он отозвался, не оглядываясь:

— Просто, есть вещи, которые его не занимают.

Тем не менее, встреча его взволновала. Он поймал себя на мысли: "А если бы то была Семадар?" — и густо покраснел. Но старшая никогда бы этого не сделала. Семадар, как и все филистимские девушки, с которыми он встречался,

была гораздо смелее в обращении, чем это принято было в Цоре; но у нее это выходило само собою, просто от живой ясности и улыбки духа, и оттого никогда не переступало доброй границы. Другое дело младшая: у этой — во всем какой-то умысел, и почти всегда порочный, как сегодня; все ради того, чтобы на нее обратили внимание; не будь этого, Самсон бы вообще не заметил такую недорослую козу. Как ее зовут? Вроде "Элиноар": видно, мать ее, аввейка, настояла на ханаанейском имени. Самсон как-то видел эту мать и отнесся к ней брезгливо. Аввеи считались на низшей ступени из всех туземцев; кроме юга Филистии, их вообще нигде в Ханаане не знали, а у филистимлян они таскали воду и рубили дрова. Мать Элиноар тоже была в доме скорее на положении ключницы, чем жены. Настоящая жена была мать Семадар, большая филистимская госпожа, и она правила домом.

* * *

Самсон уже давно взбирался без дороги и даже без тропинок; холмы в этой местности, хотя невысокие, были круты и заросли колючими кустами. Добравшись до плоской вершины, он осмотрелся; налево, шагах в двухстах дальше, виднелся обрыв, над ним одинокая смоковница, спаленная молнией. "Там", — пробормотал он. Он снял шапку, снял плащ, вынул из-за пояса меч, впервые повертел его в руках и наконец вытащил лезвие из раскрашенного деревянного футляра. Несколько раз, неловко и неуверенно, он махнул малознакомой игрушкой по воздуху, посмотрел на солнце и подумал: "Времени еще много", — и, держа меч в руке, направился к обрыву, стараясь не шуршать и не стучать упругими хлыстами терновника.

Под обрывом лежала глубокая и узкая ложбина;

один конец ее сходил в ущелье, другой был глухой, и тут, под утесами рыхлого песчаника, виднелось отверстие пещеры. Шагах в тридцати от пещеры, под деревом, валялся скелет козленка, по-видимому, недавно обглоданный и не целиком: голова и шея были нетронуты, и от шеи шла к дереву веревка. Самсон одобрительно кивнул головою и занялся последними приготовлениями. Отвязав от пояса кошелек, теперь почти пустой, он положил его под кусты; но, подумав, открыл его и вынул оттуда небольшой мешочек. Осторожно, зажав нос, он проверил его содержимое — там был мелкоистертый темный порошок. Он аккуратно завернул края мешочка и сунул его за пояс. После этого он подкрался к большому камню, вышиною почти до плеч, на полдороге между деревом и пещерой, чуть тронул край камня левой рукой для опоры и с легкостью, неожиданной при его росте, вскочил на него обоими коленями, быстро поднялся на ноги и заревел во всю глотку, так что прокатилось эхо:

— Выходи!

Из пещеры никто не вышел, но в тишине, сквозь жужжание насекомых, облепивших козленка, Самсон явно и неопровержимо для себя чувствовал беззвучное присутствие зверя. Ему даже казалось, что сквозь запахи влажных трав, запекшейся крови, начинающегося тления и сырого мрака пещеры до него доползает тоненькая струйка жаркого кошачьего пота. Переложив меч в левую руку, он ловко швырнул в пещеру большой обломок: в глубине что-то подавленно огрызнулось, но это было все.

— Выходи, а то я тебя выкурю дымом! — прогремел Самсон.

Тогда он увидел в черной дыре две светящиеся зеленоватые точки, продолговатые сверху вниз. Прямо между этих точек он запустил вторым осколком; раздался яростный хриплый рев, и

на узком выступе перед отверстием очутилась пантера. Они долго молча смотрели друг на друга; пантера старалась достать языком до расшибленного места над носом и била себя по плечам длинным хвостом; она была серо-гнедая, с очень мелкими черными крапинами, которые у начала задних лап почти сходились в сплошное пятно; лапы ее были почти серые, а когти казались длиннее человеческих пальцев. Работая языком, она слегка вертела головой на вытянутой шее, но не спускала глаз с человека. Она больше не рычала, но само ее мурлыканье, теперь ясно слышное, kloкотало, как отголосок очень далекого грома.

— Глупая, — сказал ей Самсон, — ведь козленка привязал я!

Пантера сделала гримасу, открыв пасть в две ладони шириною, но не тронулась с места.

Самсон продолжал:

— Вчера перед вечером принес и привязал, когда тебя не было. Чтобы ты наелась и не ушла слишком рано. Дура!

Пантера заворчала в глубине гортани. Бас этого человека ей не нравился; но она была сыта и благоразумна.

Самсон замахал мечом; воздух жутко свистел под его ударами.

— Я решил стать цирюльником; учусь владеть этой бритвой — первый опыт на тебе! Прыгай!

Вдруг пантера повернула голову в сторону; она втянула когти, и он увидел по игре мускулов под ее кожей, что она просто собирается уйти из ложбины.

— Бежать? — зарычал он, бросая меч и хватая камень. Но прежде, чем камень долетел, зверь уже принял вызов, заревел, нырнул с выступа и, почти не сделав ни одного шага по земле, всплыл на скалу Самсона. Самсон едва успел, но все же успел поднять свой меч; навстречу оскаленной красной гортани он рубнул изо всей силы сверху вниз; но он был неопытен в этом деле — пантера

метнулась всем телом в сторону, и удар пришелся в плечо, гораздо ниже рассчитанной цели, концом и боком, вполовину его настоящей мощности. Все же это был удар сильного человека; пантера взвыла, соскользнула с утеса на землю и лежала там, подняв голову и издавая рычание за рычанием; Самсон видел, что она готовится к новому прыжку.

— Никуда не годится эта игрушка, — сказал он пантере с большим отвращением на лице. — Лучше по-старому!

И, швырнув оружие далеко в глубину ложбины, он скорчился клубком, готовясь к прыжку. Пантера мгновенно взвилась на дыбы и подняла обе лапы, и в эту секунду Самсон выхватил из-за пояса мешочек и ловко вытряхнул порошок прямо в глаза зверю. Едкий запах горчицы разнесся в воздухе; пантера завывала и слепо ударила обеими лапами, — но Самсон пролетел у нее высоко над головою; в воздухе он повернулся, чтобы упасть лицом к ней, и, как только коснулся земли, тотчас же кинулся ей на спину. Дальше все было дело привычное и, когда меч больше не мешал, простое. Он продел руки под мышками пантеры и сплел их у нее на затылке; ноги просунул между задних ее лап и каждую из этих лап, почти у бедра, зажал в сгибе своего колена. Хотя он действовал ловко и быстро, это все удалось не сразу: левой передней лапой она успела замахнуться назад — он едва поймал ее, над самым началом когтистой ступни, в руку и должен был долго и осторожно выворачивать свой локоть, пока добрался до подмышки; тогда он с быстротой мысли перебросил руку на затылок зверя и тесно переплел ее пальцы с пальцами правой руки. Ногам пришлось хуже, пантера успела разодрать ему левую икру. Теперь они катались по земле, чихая, рыча и воя так, что трудно было понять, который голос чей; но пантера уже ничего не могла сделать, только била когтями без толку по воздуху и разбрасывала

комья земли фонтаном во все стороны. В ее положении было что-то странно похожее на котенка, которому привязали погремушку на хвост. Рев ее из яростного постепенно стал криком боли: Самсон медленно, раздвигая локти и спуская сплетенные руки вниз по ее спине, выламывал ей передние лапы. Это продолжалось долго; наконец, послышался характерный треск суставов, и пантера взвыла тем голосом, каким кричат все большие звери от последней муки, — голосом, в котором уже трудно отличить породу животного. Передние лапы ее теперь болтались, как пришитые; она еще раз поднялась на задние, еще раз кинулась на спину, чтобы раздавить оседлавшего ее дьявола; но уже пальцы Самсона с двух сторон душили ее глотку. Скоро замолкло и рычание, и вой; слышно было только хрипение задыхающегося зверя, грозное сопение человека со стиснутым ртом да мерные, тупые удары длинного хвоста.

Покончив, Самсон поднялся, пощупал искромсанную икру и пошел, прихрамывая, за мечом и кошельком. Меч он подобрал где-то в зарослях, положил на обе ладони и понес обратно к пантере, разглядывая блестящее, гравированное лезвие с пренебрежительно выпяченной нижней губой. Своим мнением он поделился с пантерой в следующих словах:

— И красть не стоило, и вернуть не жалко.

Солнце было уже довольно высоко.

— Поздно, — сказал он пантере. — Я бы взял твою шкуру, но нет времени — скоро эти пьяницы начнут просыпаться.

И он пошел обратно той же дорогой, подобрав по пути свой плащ, шапку и ножны. Скоро он был опять у пруда — там никого не было; он на минуту вошел по колено в воду, так как раны его ныли, и поспешил дальше. В филистимских домах уже хлопотали рабы; в кузнице звенел молот, мехи ухали; в предместье стоял полный гам нищенского

дня, и по всем улицам слонялись собаки. Перед забором блудницы он нашел одного из негров, отдал ему меч и сказал:

— Передай эту дрянь Ханошу из Экрона; предложи ему от меня новый заклад: он с мечом, я без — и я оборву ему уши.

Черный весело осклабился, а Самсон пошел, свистя жаворонком, по дороге в Цору.

ГЛАВА IV. БОЖЕСТВЕННОЕ

Госпожа Аццельпони оказалась крупной барыней лет тридцати пяти, довольно хорошо сохранившейся: на вид, если судить по-теперешнему, ей было не больше пятидесяти. Дом ее стоял на окраине Цоры, поодаль, у самого спуска в долину; точнее, не дом, а усадьба со всякими пристройками. На дворе возилось человек десять прислуги, мужской и женской; когда левит остановился на пороге, хозяйка была одного из рабов по щекам, не так, как дерутся женщины, а наотмашь, и было видно и слышно, что на плотного туземца это производит большое и серьезное впечатление. На Махбоная тоже. Он выждал, пока она кончила, и только после этого подошел, учтиво кашлянул, представился, сослался на Самсона ("я встретил твоего благочестивого сына в одном почтенном семействе по ту сторону долины, госпожа") и изложил свое дело. Аццельпони подробно оглядела его с головы до ног; осмотрела также осла и глазами не только взвесила, но как будто и распаковала вьюк. Все это она проделала только по хозяйской привычке, ибо сразу, по речи гостя, поняла, что он человек образованный и, значит, не без основания выдает себя за левита. После двух-трех вопросов она повела его в божницу.

Под навесом, на чисто подметенном полу, стояли на каменных подмостках идола разного роста; впрочем, самый высокий был не выше трехлетнего ребенка, но были и совсем малые куклы. Археолог

нашего времени отдал бы полжизни за полчаса в этом капище. Бродяги и добытчики по природе, даниты шатались по всей стране, многие служили матросами в Яффе и Доре: из каждой отлучки они, по-видимому, считали долгом привезти жене Маноя, первой даме их столицы, что-нибудь божественное, и коллекция в ее часовне отражала верования всего Ханаана, Заиорданья, пустыни, Ливана, Средиземного побережья и Эгейских островов. Тут были Астарты рогатые, Астарты с голубями, Астарты голые — но с надетой поверх рубашкой; была какая-то богиня с крестом в руке, другая с курчавой бородой; божок с рыбьим хвостом; два-три козлоногих идола с острыми ушами и рожками; теленок с облезлой позолотой и куском бирюзы во лбу; толстый сидящий мужчина с большим голым животом и огромными челюстями в непомерной голове; прекрасной работы девица из слоновой кости, с распущенными волосами и крылатая; страшная обезьяна с пуповиной, уходящей в землю; идол с головой ястреба; идол, стоящий на одной ноге, с хвостиком в виде пиявки; драконы и змеи; косматый получеловек в чешуе, безглазый, но с огромным глазом на груди; два голых красавца заморской работы, оприличенные шерстяными передниками; человечки с комариным жалом во рту. На особой подставке, задрапированной шелковыми покрывалами и шкурами пантер, стояли домашние пенаты грубой самодельной работы туземного мастера, числом семеро: двое мужчин и две женщины из красной глины, еще двое мужчин и одна женщина каменные; у одного из каменных мужчин на голове было нечто вроде туго набитого мешка, свешивающегося на спину — по-видимому, изображение гривы назорея. На той же подставке, в самой середине, красовался вызолоченный столбик вышиною по колено взрослому человеку, с верхушкой в виде закругленного конуса; в самое

темя конуса была вделана довольно крупная жемчужина, а на передней части столбика висело ожерелье из разноцветных камешков. Левит набожно прикоснулся к ожерелью двумя пальцами, завернутыми в полу плаща, и пробормотал сложное заклинание.

Они быстро поладили: сговорились о жалованье, ложе и столе левита, а также о количестве ягнят, козлят и голубей для богослужения, трижды в году; условились, что жертвы будут приноситься только Иегове, перед золотым столбиком, а остальные владыки должны будут довольствоваться молитвами; и что мясо жертв будет считаться доходом жреца, но шкурки поступают обратно к хозяйке. Помимо священнослужения, левит обязался также вести запись событий, касающихся маноева дома и в особенности маноева сына.

Аццельпони, по-видимому, очень гордилась своим сыном; но в ее изображении он мало был похож на вчерашнего Самсона из Тимнаты. Ее сын — молчаливый, медлительный юноша; никогда не улыбается, разве только при встрече с отцом, которого он очень любит и почитает, хотя тот ему ростом не доходит и до подмышки. Работать Самсону не полагается; от соседской молодежи обоего пола он сторонится: все время проводит или один, лежа на песке в долине у колодца, или по вечерам у городских ворот, прислушиваясь к разговору стариков. Часто совсем уходит из города, куда — не говорит, но всегда назначает время возвращения и возвращается точно вовремя; иногда, по-видимому, с охоты — приносит оленя или шкуру дикого зверя. Много ест, но, конечно, не пьет ничего, кроме воды и молока. Хороший, скромный, богобоязненный юноша; все женщины Цоры завидуют его матери; все девушки на него заглядываются, но ни одна не решается с ним заговорить. Правда, в детстве с ним было трудно.

Страшный был драчун; каждый день прибегали с воем соседки то из женщин Дана, то туземные — жаловаться на его подвиги, и приводили (иногда приходилось и приносить) своих мальчиков с подбитыми глазами, раздавленными носами, с изъянами в зубах, с вывихнутыми руками или ногами. Она, Ацлельпони, пробовала его стегать (сам Маной для этого дела не годится); но однажды, в десятилетнем возрасте, он спокойно отобрал у нее прут, взял ее в охапку, отнес в комнату и там оставил на постели, не произнеся ни слова — только посмотрел на нее внимательно и этим взглядом отбил у нее охоту к воздействию на его поведение. После этого случая он, однако, прекратил свои похождения в Цоре и тогда и начал уходить из дому. Родителям скоро донесли, что теперь он подружился с филистимскими мальчиками в селениях, что лежат по дороге к Тимнате, и колотит их нещадно; но филистимские дети — другое дело, они спокойно несут свои синяки, не обижаются и не посылают матерей жаловаться, что гораздо удобнее для семьи; хотя, с другой стороны, мальчик иногда возвращался из этих экспедиций прихрамывая или с багровыми шишками на лбу. Станным образом — непонятное племя филистимляне — эти драки только скрепили его дружбу с их молодежью, и теперь у Самсона в Тимнате и даже в Гезере прочные связи с лучшими домами.

— Верно, — подтвердил Махбонай, — я сам это видел. Замечательный, обходительный юноша; Господь отличил и благословил тебя между женами, Ацлельпони; сын твой — великая надежда для всего племени Дана.

Она помолчала и потом ответила, понизив голос:

— Может быть, для всего Израиля. Я сама иудейка; я родом из Текоа. Что такое Дан? Самое жалкое из колен; почти без удела, народу много, жить тесно; каждый год старшины сходятся тут в

Цоре судить и рядить, куда бы деться — и ни до чего додуматься не могут. Послезавтра опять такая сходка: сам услышишь. Дан — мелочь; угнезвился на окраине израильской земли, словно кучка нищих у порога богатого дома. Не ради Дана послал мне Иегова такого сына.

И, еще тише, она рассказала левиту, что случилось ровно за девять месяцев до рождения Самсона. То был вообще замечательный и грозный год — весь Ханаан его помнит: в летний полдень задрожала земля и стали валиться дома. Вскоре после этого явился ей некто неведомый, ростом великан и видом посланец Божий, у колодца в долине рано-рано до зари. Ей в ту ночь не спалось, было очень душно; она выскользнула из дому и спустилась к колодцу с ведром, облиться холодной водою: она была еще очень молода и часто делала необычные вещи. Незнакомец явился из гущи зарослей; его голос был подобен шуму ветра в листве, говор непохож на здешний — да она и не помнит, какие слова он говорил. Голова ее кружилась, сердце стало; она поняла, что сам Иегова с нею, и потеряла сознание. Когда очнулась, ангел уже исчез; но в ее сознании звучали пророческие слова, которые он шептал, должно быть, в ее беспамятстве — о том, что сын ее будет великим слугою Божьим. Она взбежала на гору, разбудила мужа и, плача у него на коленях, рассказала ему. Маной долго молчал и гладил ее по голове; молчание встревожило ее — она боялась, что он недоволен пророчеством, что это вмешательство нездешней силы в их семейную жизнь пугает его, и она спросила:

— Разве ты не хочешь, чтобы сын Маноя стал спасителем народа?

Тогда он ей ответил:

— Было бы лучше, если бы ангел явился после рождения сына — и ко мне, а не к тебе, и рассказал бы толком, в чем дело.

Она с ним поссорилась, и он, позвав любимого раба, ушел из дома на весь остаток ночи и на целый день. Ко второй полуночи он вернулся один, усталый, голодный, изодранный в клочья, с кровью на лице, и рассказал, что напали на них разбойники, его ранили, а раба и совсем убили. И она ему ответила:

— Это Иегова наказал тебя за то, что ты не рад его знамению.

Тогда они помирились и зачали сына в великом счастье.

Ацдэльпони сильно побледнела, рассказывая вполголоса эту историю; она смотрела прямо перед собою, глаза ее странно светились в плохо освещенной божнице, и несколько раз дрожь пробежала по ее плечам. Видно было, что она всей душой верит в каждое слово — не только ангела, но и свое. Махбонай слушал, склонив голову на бок, и только раз искоса, но пристально взглянул на нее и увидел сквозь морщины и огрубелую кожу, что в юности, вероятно, эта женщина была хороша собою; после этого он настойчиво смотрел в потолок. Когда она кончила, он сообразил, что надо сказать что-нибудь соответственное, и, покивав головою, отозвался:

— Такие случаи известны, госпожа. Конечно, я понимаю твоего почтенного мужа: когда перед зачатием сына к матери является ангел — это всегда предвещает много беспокойства и для семьи, и для народа. Но, с другой стороны, если Господь решил возложить на вас обоих это почетное бремя — несите его, радуйтесь и гордитесь.

После этого, закусив, Махбонай отправился осматривать Цору. Городок был меньше и беднее Тимнаты; здесь туземцы тоже ютились на окраинах, но и в средней части, где жили даниты, дома, за немногими исключениями, производили впечатление хижин. Вообще не было того впечатления двух миров, победоносного

и покоренного, отрезанных друг от друга. На улице ребятишки Дана играли в ловитки с толстогубыми и пучеглазыми детьми ханаанейской расы; женщины обоих племен были почти одинаково одеты и одинаково неряшливы и переговаривались или бранились между собою без всякого признака высокомерия, с одной стороны, и приниженности, с другой. Мужчин не было видно — они ушли на работу в поля и виноградники. Махбонай, однако, разыскал несколько лавочников и сбыв им, после подробного торга, добрую часть своих товаров, как благоприобретенных, так и доставшихся ему в ту ночь.

* * *

В доме Ацлельпони, вернувшись, он застал и Самсона, и Маноя. Маной был человек чистенький, невысокий и худощавый, со старым шрамом на лбу, довольно пожилой на вид, достаточно приветливый, но не очень общительный; он расспросил Махбоная, как вежливый хозяин, кто, как и откуда, но о божнице не упомянул — очевидно, эти вещи его не занимали; получив ответы, он кивнул головою, отошел в сторону и заговорил с сыном оживленно и по-дружески. Самсон внимательно слушал; отвечал односложно или только мотал головою. Из слов его матери левит уже успел сообразить, что вчерашний знакомец его Таиш и молодой назорей из Цоры — два разных человека; но все-таки ему казалось невероятным, что на этой самой копне волос, сегодня тщательно причесанной и наново заплетенной в косицы, вчера вечером сидела пестрая шапка с перьями, — что эти сжатые губы накануне корчились от хохота и метали остроты и ругательства. Махбонай бен-Шуни, однако, еще с детства заучил основное правило жизни для лиц духовного сословия: "не твое дело". Он

поздоровался с Самсоном почти как с незнакомым.

Когда стало смеркаться, левит вступил в отправление должности. Аццельпони созвала на торжество нескольких соседей познатнее; все пришли охотно, так как уже всюду прошел слух об ученом колдуне. Хозяева и гости расселись на дворе перед навесом; за ними столпилась дворня Маноя. Левит еще заранее сложил кубический алтарь перед золотым столбом и пенатами. Он оделся в длинный белый халат; ловко свернул шею двум голубям; кокетливо, оттопырив мизинцы, оторвал головки; побрызгал кровью над алтарем и вокруг; вообще показал себя человеком искусным. Заклинания его произвели тоже сильное впечатление: в них было много непонятных слов на чужих языках, и пел он очень трогательно. Между молитвами он ритмически двигался вокруг жертвенника и приседал перед образами. В заключение он произнес, стоя лицом к золоченому столбику, особое моление на местную тему; причем слушатели с должным благоговением отметили, что он не называет Иегову по имени — они слышали, что так и принято у настоящих левитов.

— Господин, — полупел Махбонай бен-Шуни, — здесь ты царишь, окруженный пенатами дома сего, а в углах, поодаль от твоего эфода¹³, столпились твои завистники, боги Моава и Кафтора и Ханаана и Хета и Куша и Мицраима. Не гневайся на них, господин, ибо час их еще не прошел, и они еще правят, каждый в своем участке. Потерпи, великий и ревнивый господин: скоро твой народ, как песок от обвала с горы, расползется по всей земле, и тогда ты будешь один и не будет другого.

В тишине что-то прошептала или простонала Аццельпони. Левит продолжал:

— И обрати свою милость, о сильный среди богов, на этот город и на все племя Дана, рабов твоих; пошли им урожай и мир, и отврати от

них войну и болезни. Также взгляни ласково на людей дома сего — на раба твоего Маноя, сына Аллонова, мужа глубокой и тихой мудрости, хранящего тайны в смирении; на рабу твою Ацлельпони, дочь Гизри из Текоа, что в уделе Иуды, жену воспламененную для служения тебе на путях странных и непроторенных. И на ее сына, юношу с медными плечами, одаренного силой такую, как будто в груди его не одно сердце, а два, — на твоего назорея Самсона взгляни милостиво и помоги ему нести две жизни его, каждую в свое время и в своем месте, и обе во славу твою.

После этого он напомнил Иегове историю рождения Самсона, в той форме, в которой обычно излагается история. Явился ангел к жене и сказал: ты зачнешь и родишь сына. Жена тотчас побежала и известила мужа своего. Маной встал и пошел к тому человеку, и взял козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камне; а ангел поднялся в пламени жертвенника.

Раннее жизнеописание молодого назорея было также доложено Иегове на основании данных, сообщенных давеча его матерью: младенец рос, и благословил его Господь, и начал дух Господень действовать в нем — сначала в стане Дановом, а впоследствии и дальше, между Цорой и Эштаолом и даже до самой Тимнаты.

ГЛАВА V. ВЕЧЕ

Цора была вся обведена каменной стеною; стена была не очень внушительная, разной высоты и толщины в разных местах; некоторые дома, в том числе дом Ацдельпони, примыкали к ней и имели свои частные выходы наружу. Главные ворота находились тогда приблизительно с юго-восточной стороны города, и перед ними была широкая немощеная площадь. Тут и собралась сходка старшин. Все поселения колена Данова прислали делегатов. Кроме старост, людей пожилых или седых, прибыло много другого народу: военные атаманы, охотники, представительство от яффских матросов, несколько десятков бродяг, слепых и других нищих. Человек двенадцать всклокоченных оборванцев, почти голые и невероятно тощие, держались отдельно от толпы; вожак их был крикливый и раздражительный старик, остальные — почти мальчики; народ от них сторонился — они с раннего утра уже кого-то избили неизвестно за что; кроме того, с одним из этой группы случился на площади припадок падучей болезни, причем остальные стояли вокруг и что-то пели, приплясывая на месте. Это была банда дервишей, так называемых "пророков" из пещерного скита где-то вблизи Модина; никто не знал точно, чего они хотят, и общаться с ними считалось неприличным и опасным делом, хотя милостыню им подавали охотно. Воины привели с собой оруженосцев; некоторые из старост и почти все

нищие пришли с женами и детьми. Площадь перед воротами была переполнена.

Точного разделения на участников сходки и посторонних зрителей не было; просто, кто старше или кто внушительнее на вид, те сидели на земле или стояли ближе к центру, остальные толпились вокруг. Мальчишки, по вековечному обычаю, висели гроздьями с крыш соседних лачуг; некоторые вылезли на городскую стену или на ворота. Внешнее кольцо составляли женщины, из Цоры и чужие; но в подаче голоса, то есть в ропоте и крике, они принимали участие на равных началах с остальной публикой.

Много было на площади и туземцев, жителей Цоры; по их размещению, позе и настроению приглядчивый наблюдатель мог бы построить всю картину взаимоотношений между обеими расами. Большинство столпилось поодаль, в одном из углов площади, — не демонстративно поодаль, а просто как любопытствующие, но не желающие быть назойливыми зрители. Но в кольце женщин-даниток можно было заметить немало типичных ханаанейских профилей: это были вторые и третьи жены, наложницы, тещи, золовки — предвестницы начинающегося растворения легкомысленной туземной расы в острой и густой крови угрюмого колонизатора. Процесс только начинался, эти женщины чувствовали себя еще не совсем как дома, не кричали вместе с другими и даже в толпе старались быть поближе туземка к туземке; но сами данитки их не выделяли, и вообще никто не обращал на инородцев особенного внимания. Ясно было, что люди друг к другу привыкли, свыклись с точной мерой близости и точной мерой отчужденности — что это эпоха какого-то безболезненного и незаметного перехода.

Сходка началась с обряда: Махбонай бен-Шуни зарезал ягненка и пропел длинный молебен.

Сборище следило за его техникой с великим вниманием, и старики одобрительно кивали. Благолепие несколько нарушил пророческий вожак, который все время что-то злобно кричал, по-видимому, восставая против языческой наглядности богослужения; но так как ему никто не помогал и не мешал, выкрики его можно было, в конце концов, принять и за аккомпанемент, нечто вроде антистрофы к строфам левита — вероятно, так его и поняло большинство собрания.

Сейчас же после молебствия начались разговоры. Установленного порядка не было, не у кого было просить слова, но была естественная дисциплина робости и сознание, что сборище хочет слушать только старейших и известнейших людей. Первым выступил староста из Айялона, человек лет шестидесяти, но еще бодрый; он опирался на копье с наконечником из козьего рога. Вся его речь была посвящена одной теме: жалобам на земельную тесноту. Почти на каждую фразу толпа откликалась то оханьем, то подтвердительными возгласами.

— Дан — словно подкидыш среди колен, — говорил он. — Земледелец не может выделить сына, даже если невестка строптивая женщина и свекровь с нею не ладит. Соха на соху наскакивает; не проходит жатвы без обвинений, что сосед у соседа передвинул межевые столбы, и часто это кончается дракой и убийством. Пастуху некуда выгнать стадо; приплод стал проклятием Божиим вместо благословения. Молодежь из Айялона уходит продаваться в рабство к Вениамину и даже к иевуситам; в рабство, и еще хуже — в батраки, в наемники без роду и без кровли над головой. Скоро в земле Дана поднимется брат на брата; женщина будет хвалиться перед женщиной: "Я заспала насмерть двух младенцев, а ты только одного". Скоро нужды не будет молодым дворянам из Вениамина красть у нас девушек — матери сами поведут дочерей на рынок в Гиву.

Женщины в толпе застонали и ударили себя кулаками в груди; а левит про себя подивился:

— Дикари, а говорят гладко.

Второй оратор был из Модина; он горько жаловался на высокомерие заносчивого соседа — Ефрема.

— Ефремляне гордятся завитушками на столбах, подпирающих крыши Сихема, Галгала и Силома, гордятся вышивкой на рубашках из тонкой шерсти и бренчащими серьгами в ушах у женщин. Словно они сами все это выдумали и сделали, словно мы не знаем, что они подглядели обычай Дора и подражают ему — а у самих нет суда в стране и в каждом городе каждый год новый староста. Зато земли у них сколько угодно, нет им границы ни на севере, ни на востоке: от села до села день пути; колодцы их неглубокие, ручьи текут круглый год. Но когда Шафал, сын Аммирава, пошел к ним просить, чтобы продали ему участок близ Тимны Сераховой, они отказали с насмешкой — ответили: "Дикарей нам не нужно в земле Иосифа".

На этот раз глухо и гневно заворчали мужчины, а вожак пророков крикнул:

— Ефрем гниет в разврате!

Из толпы ему кто-то ответил:

— Лучше гнить на просторе, чем задыхаться в тюрьме, как мы!

Выступило еще несколько старейшин, но говорили они то же самое. Злоба на богатых, многоземельных соседей, Вениамина и Ефрема, звучала в этих речах, быть может, даже громче, нежели горечь собственной тесноты. Тощий купец рассказал, что каравану из Дана или в Дан не дают проходу ни мимо Сихема, ни за Айялоном: если не грабят, то взимают непомерные поборы. Уже гораздо выгоднее гнать верблюдов через филистимскую землю: там порядок, в каждом городе стража, размер подати и взятки установлен раз навсегда — купец может учесть. Зато резко

и грубо, с обилием непристойностей, бранил филистимлян оборванный и загорелый бородач, лодочник из Яффы. Хотя он, конечно, и не принадлежал к знати, его слушали потому, что он был родом из Цоры. Он долго и бессвязно выкрикивал о том, как морят голодом и побоями гребцов на тамошних галерах, как навьючивают на одного грузчика ношу, от которой заклокотала бы глотка верблюда, — и что говорят филистимляне об Израиле вообще. Но эта речь не произвела большого впечатления; в толпе закричали:

— Вениамин и Ефрем хуже Кафтора!

После этого выступления сходка перемешалась; разбилась на кучки, и в каждой кучке сразу говорило по несколько человек. Это все было в порядке дня, вроде перерыва для выяснения настроений. Настроение, действительно, уплотнилось; на лицах у мужчин читался хмурый гнев, у женщин — раскаленная ярость; над площадью стоял недобрый гул очень раздраженной толпы, и туземцы на окраинах стали переглядываться и перешептываться, советуясь, не благоразумно ли было бы им стушеваться. Вдруг толпа начала стихать: на середину круга выступил очень седой старик, чрезвычайно дряхлый — два взрослых сына помогли ему подняться и все время поддерживали его с обеих сторон. Он был уже беззубый и говорил невнятно; тем не менее, слушали его с большим вниманием; после каждой фразы он останавливался, чтобы и самому отдохнуть, и дать время ближайшим слушателям повторить его слова полупшепотом для тех, что стояли подальше. Но его речь была очень коротка.

— У Ефрема есть о нас ходячая насмешка: "Дан судит и рядит"¹⁴. В который это раз мы говорим на сходке все о том же? Когда я был молод, люди не жаловались, а вставали и делали дело. Я теперь стар и слеп, ничего не вижу, дать совет не могу; но

почему никто из вас, молодых вождей, не скажет прямо, что надо сделать?

Толпа долго молчала; потом выступил опять оратор из Модина. Это был человек тщедушный, но с очень резким и пронзительным голосом и, по-видимому, запальчивый. Он сразу поднял оба кулака над головою и больше уже не опускал рук, а только потрясал кулаками во все стороны. Он кричал:

— Колена Израилевы обманули нас. Обобрали. Чем лучше Дана Ефрем? За что достались Вениамину горные луга и леса у Иерихона? Где правосудие? Наши воины стали бабами; набрали жен из побежденных туземцев и сами превратились в покоренное стадо. Даном правят женщины — чужие женщины. Когда северянам приходится туго от сидонских колесниц, они посылают к нам гонцов — с приказом от женщины, от ефремлянки: "Придите воевать за нас", — и еще обижаются, если мы не так быстро откликнемся. Когда у Иуды ссора с Вениамином из-за того, что в Гиве обидели вифлеемскую распутницу, Иуда зовет нас на помощь. А что нам досталось в уплату? Когда мы просим о земле и предлагаем за нее серебро и скот, нам отвечают: вы дикари, ступайте прочь. Старый Шелах, сын Иувала, отец вождей из Шаалаввима, — единственный мужчина среди нас; он сказал правду: нечего судить и рядить, надо дело делать. А какое дело? Это ясно: один полк из Модина — в пределы Ефрема, другой полк из Айялона — в гости к Вениамину. Заберем силой то, чего не хотят нам отдать добром. Это — наше! Нас обобрали...

Тут его голос утонул в кликах собрания. Еще со середины его речи все поняли, куда он гнет, и с разных сторон слышались сочувствующие возгласы, топот ног, хлопанье в ладоши. К концу это перешло в общий рев: даже дети что-то вопили и грозили кулаками; даже туземцы, увидя, что

бура дует не в их сторону, приободрились и стали поддакивать вполголоса. Дан нашел корень своей беды, увидел пути спасения; заветное слово "нас обобрали", слово, испокон веку рождавшее гражданскую смуту и междоусобную резню, осветило им тайники их собственной души: в тайнике, на самом дне, издавна дремала, свившись колечком, главная сила мирская — зависть родича к родичу, и теперь она подняла голову, выпустила жало и зашипела.

Тогда на середину круга вырвался вожак пророческой шайки; четверо из его последователей выбежали за ним, и сейчас же сели на землю у его ног, с четырех сторон; они горящими глазами смотрели на толпу, словно ожидали нападения. Но никто и не думал их тронуть; напротив, круг даже раздался, точно в испуге, и скоро водворилось молчание. Среди этой тишины старый отшельник начал выкрикивать, надорванным, как будто не своим голосом, отрывистые возгласы; и после каждого возгласа ученики у его ног и остальные ученики, скопом стоявшие неподалеку, отзывались хорovým завыванием.

— Все вы лжете! Ефрем хуже Кафтора, Вениамин гаже Египта, но Дан развратнее всех! Тесно вам потому, что вы строите дома. Вы делите поля и виноградники и стада на мое и твое. Где есть "мое" и "твое", там всегда тесно! Мы, Божьи дети, живем у Иеговы в пещере; оттого нам не тесно. Мы делимся каждой пригоршней дикого меду; оттого у нас всегда вдоволь. Вам нужны купцы — они привозят вам тонкую ткань и побрякушки; мы одеты в козью шкуру — от издохшей, не от зарезанной козы. Вам нужно место для божниц, много места, целые площади, чтобы просторно было и Ваалу, и Астарте, и Ашере, и Кемошу, и Молоху; и потом еще нужно место для домашних болванчиков, по одному на каждого деда и каждую бабу и отца и мать и всех сыновей и дочерей

и внуков; и среди всей этой гадости еще надо поставить голый чурбан, мерзость из мерзостей, образ всех распутств от Мофа до Сидона — и назвать его богохульственно эфодом Иеговы. Оттого вам не хватает земли! Нам, детям Божиим, ее достаточно: Иегова отдал нам все пещеры, а сам живет везде и нигде, а Кемоша и Астарты нет, как нет вчерашнего дня. Оттого нам просторно: учитесь жить по-нашему, будет просторно и вам.

Все это было далеко от жизни, и толпа не очень понимала, что собственно он проповедует; но они его слушали с жутким благоговением дикаря перед зрелищем безумья и беснования. Мужчины смотрели на него исподлобья; женщины даже пригорюнились, и где-то заплакал грудной младенец. Но вторая половина речи оказалась яснее.

— Нельзя Дану идти на Ефрема, ни воевать с Вениамином. Я буду плясать от радости, если сгорят ваши дома; но Израиль — дом Божий, он должен стоять во веки веков, пока не войдут в него все народы. Внутри дома Иеговы да не будет ни копья, ни стрелы, ни пращи, ни крови. Если уж стосковалась ваша волчья глотка по крови, ступайте пить за порогом Божьего дома. Вон, через долину, развалился на пуху пьяный филистимлянин: играет на лютне, молится, зевая, то акуле, матери отцов его, морских разбойников, то комару и оводу, царям заразы и мора; пьет сладкие вина и закусывает туком побережных племен, — а их превратил уже в скот для упряжи, вьюка и убоя. Идите войной на Пять городов! Саронская равнина тучнее горы вениаминовой; воды Яркона богаче сихемских канав. Но вы трусы, вы боитесь стального меча и колесницы; легче убить брата — он доверчив, он не поставил часовых на границе, — чем врага, который насторожился у заставы. Трусы! Развратники! Помесь хеттейская! Помет аморреев! За одну мысль о резне во Израиле

да пошлет на вас Иегова голод и пожар и чуму и проказу и...

Пьяная слюна давно капала с его грязной бело-рыжей бороды; он хрипел и пошатывался, и в конце концов захлебнулся и упал на руки учеников. Они его унесли в тень и стали поить водою. Сходка молчала, глубоко подавленная. Вдруг в ней почуялось движение — кто-то расталкивал толпу. Махбонай бен-Шуни посмотрел в ту сторону и в первый раз в тот день увидел Самсона. Ничего не говоря, не толкаясь локтями, а просто раздвигая широкоплечих мужчин, как пловец воду, мерным движением ладоней, назорей прокладывал себе дорогу к центру. По следу его, словно по тропинке среди человеческой гущи, пробирались один за другим человек двадцать молодежи, все, как на подбор, рослые и плечистые, и все с каким-то задорным вызовом на лице. Сообразительный левит вспомнил шутку, подслушанную на той пирушке: "шакалы", и подумал: "Они скорее похожи на волков".

Самсон неторопливо вышел на середину круга. Это было против обычая: юноше, у которого только начала пробиваться борода, не полагалось говорить у городских ворот. Но всем стало сразу ясно, что его надо выслушать, и не только потому, что Цора и весь округ его знали, а на остальных произвел впечатление его рост и назорейские косы. Тут действовало что-то другое; в памяти Махбоная живо всплыла минута, когда Самсон играл на любую ставку с Ханошем из Экрона и глазами словно диктовал ему, какое число назвать, — диктовал так внятно, что всем присутствующим хотелось выкрикнуть ту же цифру. Левит опять почувствовал то же: как будто и ему, наряду со всеми остальными людьми на этой площади, кто-то что-то непререкаемо повелел, стукнул по темени, воцарился и подчинил все мысли.

Сначала ему показалось, что Самсон говорит

другим голосом, не тем, что на попойке в Тимнате (в Цоре, за все эти дни, юноша едва ли произнес при нем десять слов); но постепенно он стал улавливать знакомые оттенки. Только то, что на пиру эти гулкие ноты производили впечатление рывканья; здесь же было ясно, что Самсон говорит без усилия, не громко и не тихо, или и громко и тихо в одно и то же время. Кто скажет, громко или тихо шумят колосья под ветром? Это шепот, но он слышен издали. Земледельцам этот голос напомнил ниву, морякам прибой, пророкам — бури в ущельях, пастухам бычий рев, матерям блаженное мурлыканье ребенка у груди, каждой девушке голос жениха, которого она смутно ждала; все они слушали его не ушами, а изнутри, и все покорились еще до того, как поняли. Но и понять было легко — речь была простая, отчетливая, без вступления, без извинений за молодость говорящего, прямо к делу.

— Все эти замыслы нам не под силу. На филистимлян идти мы не можем. Глава сынов пророческих высказал правду: конечно, мы боимся их колесниц и железных мечей; еще страшнее их боевое искусство; то, что каждый воин — как палка в руке десятника, десятник у сотника, все вместе в руке у сарана¹⁵. Нас много, филистимлян мало; но что сила против ума и порядка? Против колен Израиля тоже нельзя нам восстать. Вениамин ужасен в бою, но еще горше его коварство: ночью, пока наши воины будут искать его полчища по горам, он проберется кривыми путями в наш город и, как козлят, перережет и женщин, и детей, а дома сожжет. У Ефрема три головы на каждую нашу голову; и в боях с Сидоном и Дором он взял в добычу много медных копий, а луки его сделаны из ливанского дерева, и мечут они дальше наших. Но если бы и равны были силы, нельзя отбирать землю колену у колена. Слепой плетется, ощупывая палкой на шаг перед собою, а что дальше — не

знает; может быть, яма. Зрячий видит весь путь до конца. Еще придет пора, много лет после нас, когда двинутся к морю и Дан, и Ефрем, и Вениамин, и даже расчетливый Иуда, все заодно; тогда придет конец и Пяти городам, и Акке; и нельзя нам сеять мщение между соратниками завтрашнего дня.

Солнце стояло высоко на юге; Самсон повернулся к нему спиной и указал левой рукою прямо вперед.

— Изберите двенадцать человек опытных и верных. Пусть будет в их числе земледелец, и пастух, и охотник, и торговец, который знает чужие языки; и пошлите их на север, за пределы Ефрема, за пределы Нафтали, искать новую землю. Там, говорят, много воды и лесов, а туземец ленив, и пуглив, и неразумен. Два удела у Менассии; будет два удела у Дана.

Прошла минута после того, как Самсон, покончив, отошел и сел на землю среди своих шакалов; но толпа еще прислушивалась — не к смыслу, а к мягким раскатам его голоса, каждый в своей душе. Опомнившись, закричали восторженно мужчины, закивали головами старики; женщины молчали, широко распахнув веки, полуоткрыв губы, иные бледные, иные с горящими щеками, все вдруг обессиленные, опустошенные до дна — словно изнуренные любовью. Но и мужчин захватило обаяние большого человека. Из забытых подвалов сознания взвилась, опьяняя, вечная тоска о царе, тайное томление всякой массы — верить, не думать, сбросить муку заботы на одни чьи-то плечи; первозданный инстинкт стадного зверя — буйвола, гориллы, муравья и человека: вожак! Многим из них, вероятно, было знакомо смутное предание о Моисее; несправедливая повесть, где перечеркнуты сотни имен подстрекателей, повстанцев, организаторов, учителей, строивших народ из рабьего сброда в течение века и дольше, — все перечеркнуты во славу одного имени; повесть

несправедливая, но убедительная.

После сходки женщины обступили Ацлельпони; две старухи распахнули ее платье на груди и поцеловали сосцы, вскормившие такого сына. В это же время Самсона окружили старейшины всех городов Дана; у каждого была та же просьба — посетить их округ после жатвы и разобрать трудные тяжбы. Самсон коротко сказал: "Приду", — опять раздвинул толпу и ушел со своими шакалами.

ГЛАВА VI. СВОЯ И ЧУЖАЯ

Земля уже совсем просохла, прокалилась, стала твердая под пылью. Самсон шел по меже мимо виноградников и думал о женщинах. Накануне вечером мать говорила с ним о том, что пора жениться. Маной тоже был при беседе, но не вмешивался и только покрывал. Ацлельпони перечислила несколько подходящих невест, но самая подходящая была одна: ее звали Карни, дом ее отца был неподалеку, и за ней числилось столько-то овец приданого — Ацлельпони знала число наизусть. Кроме того, Карни была из первых красавиц города и спокойная, скромная, прилежная девушка.

— И ты сам знаешь, что она в тебя влюблена, — прибавила мать.

Самсон этого не знал — никогда об этом не думал. Давно, в детстве, он был дружен с этой Карни в том смысле, что переставал колотить ее братьев, когда она плакала, и раз подарил ей живого кролика. Но тогда она была совсем еще малюткой. Вот уже много лет, как он не обменялся даже словом ни с нею, ни с какой другою женщиной в Цоре, кроме "здравствуй". Иногда она с матерью приходила в гости, но тогда они сидели в женской половине дома, и вообще все это не касалось до Самсона.

Самсон шел по меже и думал о ней; слово "влюблена" волновало его. Сто раз он слышал и сам произносил это слово, но то было в Тимнате; там почти все остроты его собутыльников были

на женскую тему, и остроты Самсона были часто самые соленые; и служанки в доме Дергето ни в чем ему не отказывали, даже когда у него не оставалось, после игры, ни одного кольца серебра — хотя последнее бывало редко. Но то было в Тимнате, в другой жизни. На земле Дана это слово "любить" было ему незнакомо; оно его обожгло, замутило в его душе какие-то тихие воды и подняло со дна образы, о которых он никогда раньше не думал. Он медленно шел вперед, но ему казалось, будто он стоит у берега тихой воды и смотрит на выплывающие фигуры. Вот выплыла Карни, сначала только намеком, потом отчетливо до мелочей, — он сам не знал, что так хорошо помнит ее облик. Очень белое, очень бледное лицо; гладкие черные волосы вдоль всей спины; темные глаза в целой роще ресниц, и тень от ресниц на щеках; пестрая лента вокруг головы, на ленте кисейная чадра, откинутаая назад; белое льняное платье с кушаком из привозной парчи, с открытой шеей и открытыми руками до плеч, и на две ладони только ниже колен; ни запястья, ни ожерелья. Такой он видел ее на празднике после уборки снопов, в прошлом году — он теперь вспомнил; и вспомнил тоже взгляд ее, совсем прямой, пыливый, без робости и без улыбки. Она была очень хороша собою; Самсон почувствовал, что ему стало жарче, и труднее дышать, будто на крутой тропинке. Он потрянул головою: тихая вода, в которую он смотрел, вдруг опять замутилась, словно семь его косиц разом ударили по ней; образ Карни закачался, разбился и опять начал медленно складываться — но по-другому. Другие глаза — серо-зеленые, не с одной искрой, а как будто с тысячей, как обломки малахита под солнцем. Волосы стали рыжие, пушистая прическа вокруг головы — лицо выглядывало из них, как будто из окошечка; смеющееся лицо, чуть-чуть румяное, в ямочках, с полуоткрытыми губами. Платье было

темное, до подбородка и до земли, с длинными рукавами, но сшитое так и так надетое, что прежняя девушка в белом казалась больше прикрыта. Новая девушка тоже смотрела на него, но в ее взгляде был не вопрос, а только веселый задор и вызов. Самсону почудился голос, который всегда смутно поражал его богатством интонаций, даже когда произносил только два слова: "я боюсь!".

По-настоящему они познакомились ровно год тому назад. Самсон шел к южным воротам Тимнаты; у пруда стояла рыжая девушка, спиной к нему, нагнувшись и глядя на что-то в земле. Он ее знал по виду, она его тоже, как и все в том городе, но до тех пор Самсон встречался только с мужской молодежью филистимлян. Заслышав его шаги, она оглянулась и поманила его. Он подошел. Прямо перед нею, под пересохшей, окаменелой красноватой землею, что-то творилось: плотный кусок величиной с две ладони слабо колыхался и давал трещину за трещиной. Девушка схватила руку Самсона и пропела:

— Я боюсь! Что это?

Она говорила на общем языке Ханаана, как и вся Тимната и вся Цора; другого она не знала — старая филистимская речь сохранилась еще только в Газе, да и там вымирала. Но выговор ее был особенный; он всегда производил на Самсона такое впечатление, словно высшее существо, княжна или царевна, снизошло к косматому говору дикарей.

— Это игуана, — сказал ей Самсон. — Во время дождей она спит под землей, а теперь пришла ей пора идти на охоту. Она не кусается, не бойся.

Через минуту из трещины высунулась серо-зеленая мордочка огромной ящерицы. Она колотилась черепом, во все стороны расширяя дыру; уже видно было, как под землею работали ее плечи и лапки. Девушка все время держала Самсона за руку; ему было жутко, неловко и приятно. Когда лапки показались наружу, он быстро нагнулся и

протянул свободную руку вниз.

— Не убивай ее, — сказала девушка; ее пальцы, удерживая, крепко прижались к его кисти. Самсон ответил:

— Ничего с ней не станется.

Он щелкнул ящерицу по темени, а потом раскопал глину и вынул оглушенного зверька из норы. Игуана была длиною в локоть, вся одноцветная.

— Хочешь, — сказал он, — я отнесу ее к тебе в сад и накопаю червей, пока она очнется; тогда она останется жить в саду.

В саду к ним подбежала ее черноволосая сестра; потом подошли обе матери посмотреть на диковину, одна важная, барственная, другая в запачканном платье и с визгливым голосом. Они скоро ушли, но Семадар и Элиноар велели Тайшу остаться, и он долго рассказывал им о зверях. Кродила он сам не видел, нет; крокодил живет ближе к устью Яркона — а так далеко он еще не бывал. Ящерица, которая кричит "гик — гик" по ночам, маленькая и совсем не страшная. Змея тоже не страшна, только надо уметь сразу стукнуть ее палкой по голове, едва она станет готовиться к прыжку. И волки — мелочь, волка можно просто придушить двумя пальцами. Гораздо хуже кабан; но самый трудный зверь — медведь, на него не стоит идти без копья; если затеять рукопашную, это будет очень долго, и в конце концов прибежит медведица. Льва он однажды убил большой дубиной в горах за Айялоном, но после этого целая деревня иевуситов сбежалась целовать ему ноги, и от них так невыносимо пахло, что он не любит вспоминать об этом приключении.

К концу рассказа они подружились, и девушки заставили Самсона показать им свою силу. Он проделал все, что полагалось, перегрыз цепочку, сломал двухвершковую балку о колено, посадил на плечи двух рабов, третий уцепился на спине, а

еще двух он взял под мышки, и прочее. Семадар вскрикивала и хлопала в ладоши, Элиноар молча не сводила глаз и старалась всегда держаться к нему поближе.

Потом было много разных встреч; потом была та лунная ночь, когда Семадар подарила ему час тайком у пруда. "Только не делай мне зла, — шепнула она, смеясь, — от головы до сих пор я твоя, не дальше". Она указала на свой шелковый пояс, туго стянутый; пококетничала, отмахиваясь, еще несколько минут, а потом сама научила его, как отстегнуть брошку на ее левом плече, и прибавила: "Глупый — наши юноши все это знают". Ему стало тяжело от этой шутки, но потом он опьянел и все забыл, кроме ее наказа — до сих пор и не дальше; он всегда ее слушался.

— Ты грабитель, ограбил у меня пол-платья, — шептала она ему губами в губы.

— Я тебе подарю взамен целое платье из парчи.

— Не хочу из парчи.

— Из шелку.

— Не хочу из шелку.

— А из чего?

— Из поцелуев.

Долго он одевал ее в поцелуи от подбородка до пояса; она извивалась, как та пантера, — но лишь как будто ускользая, на самом деле поддаваясь.

Он все-таки вспомнил слова, которые задела его, и спросил:

— Я первый?

— Ты... самый лучший.

— Я тебя ударю!

— Тогда я скажу, что твои удары больше других.

— Это неправда; скажи, что неправда.

— Неправда.

— Или правда?

— Правда.

— Зачем ты меня дразнишь?

— Зачем ты меня спрашиваешь? Ветер тебя

ласкает и не спрашивает, первая ли это ласка; я его сестра.

Кончилось это все неприятностью: Элиноар проснулась, увидела пустую кровать, выскользнула из дому и застала их в саду. Самсон никогда не видел такой разъяренной дикой кошки; она грозилась выцарапать старшей сестре глаза или разбудить весь дом. Ему очень хотелось утопить ее в пруду — только воды уже было немного; но Семадар, не переставая смеяться, откупилась от нее подарком. Элиноар взяла браслет и тут же его надела на руку, но Семадар все-таки пришлось уйти с нею вместе; уходя, она шепнула Самсону: "Это была неправда — или почти".

Больше они так и не встречались. Однажды в Экроне, на празднике в честь тамошнего бога Вельзевула, куда Самсона пригласили друзья, она шла с ним в хороводе и прижималась к нему так, что сквозь одежды он чувствовал ее кожу. Потом она вышла из хоровода танцевать одна с Ахтуром. Все на них смотрели: это была красивая пара, особенно Ахтур, широкоплечий, узкобокий, сильный, как буйвол, и грациозный, как козочка. Танец изображал ваалову свадьбу; по филистимскому преданию, Деркетто, Астарта побережья, сказала ему: "Я буду твоей, если ты меня с мечом победишь голыми руками". Семадар дали в руку настоящий острый меч, только легкий; она владела им мастерски, три раза пронзила воздух под самой рукой Ахтура. В заключение танца Деркетто отдает Вельзевулу меч, и они медленно, на цыпочках, кружатся в объятиях друг у друга. Кружась, она прижалась и к Ахтуру всем телом, только голова была откинута, и глаза ее смотрели на Ахтура тем же взглядом, который знал Самсон. Но ему теперь не было больно: он любил Ахтура больше всех приятелей, даже много больше, чем своих шакалов из Цоры, а ревновать или завидовать не умел. Только странно

ему было, что барышня из знатного дома (отец ее как-то два часа докучал Самсону своей заморской родословной), умевшая так важно и недоступно, едва-едва, кивать головою при встрече, — пляшет при всех, при матери тоже, как блудница. Чужая...

* * *

Самсон весь встряхнулся, прогоняя память; видение тихой воды и рыжая девушка в руках у стройного красавца пропали. В ту же минуту Самсону впервые стало ясно, куда он идет: прежде ему казалось, что он бредет без цели. Он вышел из виноградников, впереди была равнина травы; на равнине паслись стада — одно из них пасли братья Карни. Старший, по имени Ягир, был из "шакалов". Самсон их увидел издали: с другой стороны поля к ним шли две женщины, одна с кувшином на голове, другая с небольшою ношей в платке. Та, что с ношей в руках, была Карни, вторая — служанка. В этот час девушки приносили пастухам обед. Самсон понял, что затем он и пришел сюда.

Когда они сошлись, она не покраснела и не потупилась; деловито показала братьям, что принесла, передала какое-то поручение от отца, попрощалась, сказала служанке: "Ты меня догонишь с кувшином, когда они кончат, — я пойду медленно", и тронулась было обратно.

— Я пойду с тобою, — сказал Самсон, коротко, сухо, без выражения — такой был у него всегда голос на земле данитов.

Карни на этот раз не взглянула, но спокойно ответила:

— Хорошо, Самсон.

— Я думал, ты пообедаешь с нами, — сказал разочарованно Ягир. Младший брат, еще мальчик, смотрел на Самсона с настороженным обожанием честного пса.

Самсон, не отвечая на вопрос, отдал распоряжение:

— Вечером скажи всем нашим: завтра на заре у колодца. Взять припасов на три дня.

И он пошел рядом с девушкой. Оба молчали; но по ее дыханию Самсон понял, что она взволнована. Он покосился — действительно, ее щеки слегка порозовели у глаз, и она прикусила нижнюю губу. Он посмотрел пристальнее, прочел ее мысли, как будто сказанные, и ответил:

— Вчера ко мне пришли из Шаалавви́ма. У них угнали скот; шайка из вениаминовой земли. День туда, день обратно, день на розыски стада.

Девушка ничего не сказала, но задышала еще тяжелее; Самсон испугался, что она расплчется.

— Я велю твоему брату остаться, — предложил он.

Она едва слышно отозвалась сквозь стиснутые зубы:

— На этот раз?

Она хотела сказать: через неделю подвернется еще что-нибудь, через месяц опять — чем это кончится? — и Самсон понял. Ему захотелось растолковать ей, как это все важно и необходимо; но он не привык объяснять — даже то, что он ей прежде сказал, было не в меру подробно для его обычая в Цоре; и привычка молчать была сильнее желания утешить девушку, даже сильнее страха, что она разрыдается и он не будет знать, что делать. Так они еще долго шли рядом, ничего не говоря. Вдруг Самсон повернул к ней голову; откликаясь на бессловесный приказ, она встретила с ним глазами, опять уже бледная и спокойная, и также без слов спросила его: что?

— Мать и отец хотят идти к твоим родителям просить тебя в жены для меня.

Она еще больше побледнела, хотя и раньше знала, зачем он с ней пошел. Ацлельпони говорила с ее матерью, мать с нею; Карни провела с тех пор

две бессонные ночи. Но она выросла в приличиях хорошего дома; Самсон, кто бы он ни был, тоже должен их соблюдать. Она холодно спросила:

— Зачем ты говоришь об этом со мною?

И тут у нее невольно вырвалось — впрочем, она не жалела, что вырвалось:

— Я цоранка, я не из девушек Тимнаты.

— Оставь это, — сказал Самсон. — И в Тимнате не задает жених вопроса невесте; один обычай на всем свете. Голуби всюду живут по-своему; а орел — и орлица — по-своему.

На голове у нее был кисейный платок; она спустила его до половины лица. Больше они не взглядывали друг на друга, или редко; беседа шла с долгими перерывами от вопроса до ответа.

— Что ты хочешь спросить?

— В орлиное гнездо легче ударит молния, чем в голубятню.

— Я знаю. Что же?

— Если ты не хочешь этого, Ацдельпони и Маной не придут к твоему отцу.

— Я не умею говорить загадками. Я сама скажу твой вопрос: буду ли я тебе женою?

— Да.

— А я спрашиваю, будешь ли ты мне мужем?

— Ты мудрая девушка. Спрашивай дальше.

— Ты с двадцатью товарищами завтра идешь в страну Вениамина: Вениамин силен и хитер. Прошлой осенью вы неделю пропадали в земле иевуситов; моя мать уже плакала о Ягире. Будет ли Самсон, муж Карни, отец ее первенца, тоже идти по путям Самсона, вожака шакалов?

— Спрашивай дальше.

— Кто ты такой? Мы тебя знаем и не знаем. Станные идут о тебе слухи. По земле Дана, Вениамина, Иевуса ты бродишь с товарищами; но в Тимнату и в Экрон ты всегда уходишь один. Значит, это правда, что друзья твои — там?

— Это правда. Дальше?

— Странные слухи идут о тебе. Будто ты умеешь петь, плясать, шутить и смеяться — только не в Цоре. Правда ли это?

— Спрашивай дальше.

— Кто твои друзья в Тимнате? С кем тебе там весело? Правда ли...

— Что?

Сквозь покрывало Самсон видел ее взгляд, теперь такой же всезнающий, как и его.

— Правда ли, что филистимские девушки красивы и не застенчивы? Что они играют на арфе, шуршат шелком, звенят золотыми подвесками, красят губы и веки, и — и ничего не боятся?

Служанка их догнала и окликнула, но пошла сзади, напевая в доказательство, что не подслушивает.

— Это не все правда, — сказал Самсон, — но почти.

— Если ты выстроишь дом для меня, где будет твоя отрада: в нашем ли доме или за межою филистимлян? Больше нечего мне спрашивать.

Самсон долго шел молча и смотрел перед собою, но видел только ее. В ее походке, в ее поднятой голове было что-то от уверенной поступи, от царственной осанки самого надменного существа на земле, верблюда; и она была прекраснее и стройнее всех женщин в его памяти. Но, кроме того, он всей душою чувствовал в ней упругую силу воли, какой еще не встречал.

— Два вопроса, два ответа, — сказал он наконец. — Я назорей, в год землетрясения пришел посол Иеговы к моей матери и назначил мне дело, и на то мне дана сила в плечах, и сила править людьми. Нашему племени трудно живется без защитника и мстителя. Эта жизнь мне назначена; изменить это нельзя.

Она ответила с отголоском рыдания:

— Через год или два или пять, когда жена твоя

будет стоять над колыбелью, принесут ей мужа с раскроенной головой.

— Не знаю; это не мое дело, а твое — выбирай. Но выслушай второй ответ. Да, моя отрада в Тимнате, и друзья мои там; в Цоре нет у меня друзей и никогда не будет. Но если мы выстроим дом, я прощусь с Тимнатой навсегда; гостем она меня больше не увидит; если увидит, то не гостем, а истребителем — когда-нибудь; и моя каждая ночь, не проведенная в поле, будет проведена в твоём доме.

— А шутить и петь и смеяться ты будешь в моём доме?

Самсон не ответил.

— Одной войны Самсону мало, — горько сказала Карни, — ему нужны две. В горах он будет воевать с врагами, дома с самим собою.

Самсон ничего не сказал.

— На что я тебе нужна — за такой выкуп? — спросила она почти беззвучно.

— Потому что ты — ты. Это правда, что филистимские девушки — игривы, как котята или как солнечный луч на речке, — и я люблю их игру. Но то, что в тебе, слаще их игры и стоит выкупа.

— Из сладкого выйдет горькое. Скоро придет вечер, когда ты, сидя со мною, повернешь голову в сторону Тимнаты и вспомнишь обо всем, чего нет во мне.

— Когда ты будешь со мною, я больше не обернусь в сторону Тимнаты.

— Твое сердце обернется, и я это услышу. Я и теперь слышу многое, чего ты не говоришь, потому что я люблю тебя.

Она это сказала совсем просто, но Самсону показалось, что гром ударил или что-то раскаленное упало ему на голову. Он остановился и, забывая о служанке, в первый и последний раз выдал свою душу на земле Дана — он всплеснул руками и воскликнул:

— Если ты любишь, к чему же тебе эти расспросы, меры и счет, и что будет через два года?

Карни тоже остановилась; она опять откинула покрывало. Она смотрела на Самсона с бесконечной нежностью и грустью.

— Я не орлица, Самсон; и не котенок. Скажи твоей матери, что я не буду ее невесткой. Глядя на меня, я не боюсь — я много плакала и много еще буду плакать — но за себя. Я не хочу плакать за тебя; я не хочу проклинать себя за то, что отняла у Самсона его солнечный луч.

— Карни, — сказал он другим голосом, мягко и робко, — если так, то разве не можешь ты просто быть моей женою и не спрашивать, куда я иду — в землю Вениамина или в Тимнату?

Карни вздрогнула, выпрямилась, топнула ногою.

— Никогда!

Она почти побежала, служанка за нею. Самсон повернул в другую сторону и пошел куда глаза глядят.

* * *

Вечером того дня он отрывисто объявил Аццельпони и Маною:

— Я возьму себе жену из Тимнаты. Отца ее зовут Бергам; он один из начальников города. Когда вы можете пойти к нему с подарками?

Маной ничего не сказал, только потер шрам на лбу; жена, понявшая по тону Самсона, что спорить бесполезно (и она перед тем уже видела соседку, мать Карни), только спросила, подавляя слезы:

— Будет ли ей по сердцу жить с нами в Цоре?

— Она не будет жить в Цоре.

— Неужели... неужели ты хочешь поселиться в Тимнате?

— Я остаюсь жить здесь, — сказал Самсон.

— Когда вы можете спуститься в Тимнату к ее родителям с подарками?

ГЛАВА VII. БРАТ ВЕНИАМИН

Экспедиция в землю Вениамина за угнанным стадом отняла больше трех дней.

В Шаалаввиме Самсона и его друзей приняли с большим почетом, у ворот, и некоторые из старшин уже называли его "судья". Главный из них, однако, был хоть приветлив, но сдержан. Его звали Шелах бен-Иувал; это был тот беззубый старик, что на сходке в Цоре первый потребовал дела вместо слов. В разговорах он тут мало принимал участия; больше кивал головою, а икогда присматривался, щуря подслеповатые глаза, и к назорею, и к его свите.

Шайку вениаминан, которая угнала скот, здесь хорошо знали. Гнездо ее было в деревне Хереш, на полдороге от границы к Бет-Хорону. Шайку подробно описали: головорезы, богатыри, обыкновенно человек пятнадцать, но при нужде и больше — короче говоря, вся деревня разбойничья. При этом Самсона несколько удивило подробное знакомство шаалаввимцев с грабителями: каждого из них знали по имени и отчеству и вообще говорили о них так, как говорят о людях, которые нередко приходят в гости.

Самсон резко спросил:

— Вы им дань платите?

Шелах вскинул на Самсона моргающие глаза, сейчас же опустил их и продолжал кивать головою — нельзя было разобрать, утвердительно он кивает или отрицательно. Старосты засмеялись; один из них ответил:

— Дань не дань, а так — иногда подарки.

— Этак спокойнее, — объяснил другой.

Самсон сказал, подымаясь:

— Дайте мне проводников; и нужен пастух, который сможет опознать ваших овец.

Старосты переглянулись. Два здоровенных молодца, внуки Шелаха, выступили из толпы; старший сказал:

— Мы знаем дорогу и опознаем стадо.

Шелах быстро отозвался:

— Вы не пойдете. И нечего тут вам мешать собранию.

Старшины тем временем отошли в сторону и совещались; потом отрядили куда-то одного из людей попроще. Покашливая, они объяснили Самсону, что им, жителям границы, неудобно путать в это дело своих, особенно из членов более видных семей; но они дадут Самсону в проводники одного из пастухов; он безродный сирота, а потому херешане, быть может, не обратят на него внимания; он еще очень молод, но мальчик шустрый и ничего не боится.

Пастуха привели. Это был оборванец лет пятнадцати, со следами синяка под глазом, а глаза у него были редкостного цвета: темно-серые. Самсон внимательно посмотрел на него: лучше всего он распознавал людей по походке. У мальчика была походка ленивая, но упругая; увидев Самсона, его рост и плечи, он сразу подтянулся и оживился.

— Ты знаешь дорогу в Хереш? Можешь отличить своих овец?

Мальчик ответил:

— Знаю и дорогу, и свой скот, и каждого человека в Хереше.

— Овцы ведь не меченые: как ты их опознаешь?

— Овцы не похожи одна на другую; и по глазам пастуха можно видеть, его ли стадо или краденое. И вообще это не важно.

— Почему?

— Я просто отберу самых жирных овец и скажу, что это наши.

Самсон спросил:

— Далеко до Хереша?

Мальчик не сразу ответил; за него сказал один из взрослых:

— Если выйдете завтра на заре, будете там к полудню.

Мальчик подвинулся ближе к Самсону и проговорил вполголоса:

— Нет, много позже. Я тебе потом объясню, по дороге.

На рассвете они двинулись. Мальчика-пастуха звали Нехуштан. Он сначала провел их прямо к границе: но когда последние лачуги Шаалаввима скрылись за буграми, он вдруг свернул круто влево.

— Что у тебя на уме? — спросил Самсон.

— Херешане бродяги; кто-нибудь из них всегда шатается близ дороги. Может быть, это и нарочно: разведчики. Завидят нас и побегут сказать старшинам. — Нехуштан помолчал и затем добавил: — Я тебе шепнул, что мы дойдем только перед вечером. Надо сделать большой крюк. Не только из-за разведчиков. Нужно придти в Хереш с востока; тогда ты им отрежешь путь в Бет-Хорон, и они не смогут послать гонца за помощью.

— Дай мне руку, — вдруг сказал Самсон.

Мальчик, не удивившись, протянул ему правую руку. Самсон без усилия сдвинул ее двумя пальцами над кистью.

— Больно? — спросил он.

Пастух побледнел и ответил сквозь зубы:

— Не твое дело.

Самсон вдруг захватил его надкистью всей рукою и стал выворачивать кость; но пастух в ту же минуту изогнулся, весь выкрутился, вскинул ноги, обвил ими предплечье назорей и повис у него на руке лицом вниз. Самсон выпустил его; мальчик, почти не коснувшись земли свободной рукою, вскочил

на ноги, отряхнулся и сказал, задыхаясь, но со смехом:

— Оттого меня и прозвали Нехуштан: змейка.

— Брось овец, я беру тебя в шакалы, — ответил Самсон.

Солнце шло на покой, когда они с пригорка увидели вениаминово село. Самсон, заслонив глаза, взгляделся: в деревне было около полусотни домов. Херешане их тоже заметили сразу: народ высыпал за околицу, слышались призывные оклики и свистки, с окрестных холмов стали быстро сбегаться мужчины, работавшие на террасах. Когда даниты подошли, перед деревней стояло человек сто взрослых или больше, некоторые с луками, некоторые с дубинами. Но Самсон уже знал, что нападения не будет. Опыт его приучил к тому, что его рост и весь вид разом бьют на человеческое воображение, — что диковина ослабляет волю так же точно, как страх, или еще глубже.

Впереди стоял сельский голова, благообразный старичок, очень любезно кланявшийся им еще издали; по обе стороны его — два молодых здоровяка. Без предупреждения, не ускоряя шага, Самсон подошел к старосте, кивнул ему головою, внезапно рванулся вперед, схватил обоих молодцов за руки и швырнул их от себя назад, прямо в гущу шакалов. Это был в его полку, очевидно, обычный прием — начинать с захвата заложников; прежде, чем херешане поняли, в чем дело, обоим уже скрутили локти веревками. Все это сделано было в несколько мгновений. В задних рядах вениаминян слышался гневный ропот и женские вопли; но передние были подавлены неожиданностью и растерянно глазели то на Самсона, то на старосту.

После этого завязались переговоры, которые здесь будут переданы вкратце. Любезный голова начал с клятв, что никто никогда ничьих овец не трогал; Самсон ответил предложением сжечь

всю деревню. Тогда староста согласился "навести справки", а пришельцам посоветовал переночевать в домах у поселян — по одному шакалу на дом: "ибо каждая семья будет рада оказать гостеприимство соседям". Самсон ответил, что ночевать они будут все вместе, и именно в доме старосты; и что если ночью будет тревога, то первым загорится этот самый дом — причем староста, его жены и дети будут тоже спать в этом доме. Тогда оказалось, что староста уже успел навести справки и может дать проводника в то место, где, по слухам, кто-то видел какое-то неизвестно кому принадлежащее стадо. Самсон поблагодарил и согласился, прибавив, что староста и его два внука тоже пойдут с ними.

После этого голова, по-видимому, решил, что ораторский дар ему не поможет.

— Я посоветуюсь со стариками, — сказал он.

— Советуйся, — ответил Самсон. — Тут же, не уходя. Я не слушаю.

Человек десять бородачей, седых и полуседых, вышли из толпы и окружили старшину; они заговорили все сразу, но вполголоса. Самсон отошел к своим и сел на камень. Остальные херешане смотрели на него и его товарищей как замороженные. Шакалы стояли как каменные статуи: Самсон давно обучил их этому филистимскому искусству, и оно гипнотизировало скученных, толкающихся противников, может быть, не меньше, чем сверхчеловеческая фигура назорея.

Вдруг его тронул за плечо Нехуштан:

— Смотри! вон тот -- в толпе, справа — подает кому-то знаки!

Действительно, в гуще толпы кто-то усиленно махал руками; видны были только руки. Самсон встал; он был на полторы головы выше самого длинного человека в этом месте, и сразу увидел, куда обращено лицо жестикулирующего

херешанина: тот смотрел прямо вперед и вверх, в ту сторону, откуда спустились даниты. Самсон оглянулся: на склоне холма стоял другой человек и тоже делал знаки руками.

— Они его посылают в Бет-Хорон, — тревожно сказал мальчик.

Человек на холме кивнул головою, повернулся и начал быстро взбираться на гору. Теперь его заметила вся толпа; они радостно закричали, указывая на него пальцами. Среди шакалов пробежало замешательство.

— Смирно, — загремел Самсон. — Не поворачивайтесь! Не спускайте с них глаз.

Он измерил взглядом расстояние: от места, где он стоял, до вершины холма было шагов двести. Слишком далеко: нужно срезать хотя бы четверть. Быстро, но не бегом, он пошел в сторону холма; глаза его были прикованы к гонцу, который почти несясь вверх по тропинке; правая рука Самсона шарила в кожаном мешке, привешенном к поясу. Херешанин добирался до вершины: уже голова и плечи его отпечатались на предвечерней синеве. Вдруг Самсон ринулся бегом и размахнулся. В руке у него был плоский круглый камень, величиною с ладонь в поперечнике. Толпа снова замолчала и насторожилась; кто-то сказал негромко и страстно: "Не дошвырнет!" — и стало неслыханно тихо. Гонец уже был на вершине, во весь рост. Самсон на бегу пригнулся к земле и пустил камень, как будто прямо в небо. Камень полетел степенно, неспешно, вертясь на лету; описал высокую дугу, потом как будто замер в воздухе — потом понесся прямо вперед. Гонец поднял руки, упал на колени, упал совсем, перевернулся, покатился вниз и повис на уступе. Толпа херешан закричала в один голос; кто-то из них двинулся было вперед, но шакалы, как один человек, подняли дубины — и снова стало тихо.

Самсон вернулся, и переговоры быстро

закончились. Стадо было пригнано в ту же ночь; Нехуштан — немного разочарованный — подтвердил, что овцы те и счет верный. После этого между селом, Самсоном и Шаалаввимом был заключен торжественный мир на вечные времена, с великими присягами и даже с пирушкой; но шакалы, по приказу Самсона, ничего не пили.

* * *

К концу пира Нехуштан осторожно тронул Самсона за плечо:

— Выйди со мною.

Самсон отошел с ним в сторону, и там мальчик сказал ему:

— А внуков старосты и еще многих из молодых людей нет на пиру.

— И не нужно, — ответил Самсон. — Тебе они на что!

Нехуштан посмотрел на него с удивлением и сожалением, очевидно думая: такой большой — и ничего не понимает.

— Это значит, — сказал он, — что они ушли засесть в засаду. Но я знаю, где: на большой дороге есть одно только пригодное место.

— А можно его обойти?

— Можно. Только я хотел спросить тебя, что тебе больше по сердцу: обойти засаду или идти прямо на засаду? Ибо их не больше полусотни; и мне показалось, что они все тебе уже очень надоели.

Самсон потрепал его по спине.

— Надоели, — сказал он, — веди на засаду.

Так они пошли по главной дороге, и селяне их провожали с великим дружелюбием, даже не переглядываясь между собою; ибо хитер был Вениамин и умел прятать свои уловки.

О засаде не стоит подробно рассказывать. Во главе ее, конечно, оказались оба внука старосты. Оба оставлены были замертво на дне ложбины, остальные вениаминяне разбежались; но победа нелегко досталась — пришлось отдыхать в Шаалаввиме, ибо добрая половина отряда с трудом держалась на ногах.

Слух об этом подвиге быстро разнесся по всей земле Дана; люди, приходившие в Цору, передавали, что на Самсона теперь повсюду возлагают большие надежды. Самсон ничего не сказал, но про себя подивился. Раз десять уже он ходил отбивать награбленное добро и к иевуситам, и к Ефрему, и к тому же Вениамину, и никогда это не создавало такого шума; и в уме у него сложилась поговорка, текст которой не сохранился, но смысл был таков: пока ты мал, твой шекель весит осьмушку; прославься, и твоя осьмушка перевесит шекель.

Но еще больше удивил его Шелах бен-Иувал, старшина старшин Шаалаввима. Пока население благодарило Самсона и женщины целовали край его платья, старик только жевал губами и кивал головою. Но перед сном (Самсон ночевал в его доме) Шелах вдруг сказал ему:

— Великое дело — богатырь; и великое дело судья. Видел я на своем веку и героев, и судей. А вот чего не видел, и никогда, верно, не увижу: чтобы в одном теле жил и силач, и мудрец.

— Что сделал бы мудрец? — спросил Самсон.

— Мудрец отобрал бы у херешан три части стада; а про четвертую он бы забыл.

Самсон ждал объяснения. Старик пожевал, зевнул и сказал, почесывая грудь:

— Мать моя была умная женщина. Она мне всегда говорила: не наполняй тарелки до края — перельется. Ешь ровно столько, чтобы остался

кусочек голода в теле. Запомни это, если быть тебе судьей.

— Судья должен судить по правде, — ответил Самсон.

— И для правды полная тарелка — не мера. Если судить по полной правде, всех людей придется побить камнями. А хуже всего — полная победа. Это не к добру, и не по-соседски; а ведь мы соседи Хереша. Спокойной ночи.

Глава VIII. РАЗГОВОРЫ

Тем временем Ацдэльпони снарядила Махбоная в Тимнату. Она любила делать вещи как следует, даже неприятные вещи. Левиту поручено было выяснить, действительно ли согласны родители филистимской девицы Семадар на эту свадьбу; назначить день прихода родителей Самсона; установить размеры приданого с обеих сторон; и, по возможности, собрать слухи о девушке.

Махбонай вернулся еще до возвращения шакалов, с обстоятельным докладом, который длился целый вечер. В доме Бергама ему все чрезвычайно понравилось. Отец невесты — солидный, благообразный господин, с манерами знатного барина; от инородца нельзя, конечно, требовать той умственной быстроты, какою праотец Иаков одарил свое потомство, но, если принять во внимание эту оговорку, следует признать Бергама человеком рассудительным. Маной должен будет только со вниманием выслушать подробное описание родословного древа, как бергамова дома, так и дома Амтармагаи, главной жены его — она же мать невесты; если внимательно прослушать и задать два-три ловких вопроса, доказующих интерес, то дружелюбные отношения между будущими тестем и свекром можно будет считать упроченными. Госпожа Амтармагаи — несколько более сложная задача: говорит она мало, но в ее осанке есть некоторое высокомерие; однако, если бы госпожа Ацдэльпони нашла возможным не следовать ее

примеру в последнем отношении, между обеими дамами сразу установится необходимый лад — тем легче, что им, в конце концов, вряд ли часто придется встречать друг друга впоследствии. С точки зрения зажиточности дом не оставляет желать ничего лучшего; сам фараон Египта вряд ли живет в обстановке более роскошной; достаточно упомянуть, что постели их лежат не на полу, а на особых подставках с бронзовыми ножками; и внутри дома есть купальня. Для супруги Самсона будет отведена обширная комната, и за нею будут числиться две собственные рабыни. Остальное приданое будет отмерено щедрой рукою, в личной беседе с Маноем и Ацлельпони. Что касается до самой невесты, то красота ее, а также нравственность, выше всяких похвал; впрочем, по филистимскому обычаю (Махбонай выразил сожаление, что вынужден говорить об этом перед Ацлельпони), обе матери, в присутствии местной повивальной бабки, сами во всем этом убедятся накануне венчального обряда. Единственным недочетом этого дома следует признать юную сестру госпожи Семадар; мать ее — наложница из племени аввеев, народа, как известно, полудикого; девица эта, по-видимому, настроена против старшей сестры и склонна к раздорам и злословию, так что Бергам вынужден был даже велеть ее матери взять ее на двор и высечь.

Бергам, в свою очередь, с большим интересом расспрашивал о богатстве и общественном состоянии Маноя. Махбонай, конечно, представил ему самые удовлетворительные данные. Он сообщил, что Маной занимает в Цоре то же возвышенное положение, какое принадлежит отцу невесты в Тимнате. Подробно перечислил стада, поля и виноградники. Несколько сложнее был вопрос о родословной, на котором филистимлянин очень настаивал. Махбонай оказался в этом отношении неподготовленным, но все же нашел

выход из затруднения. У него был некоторый навык, ввиду того, что в семьях левитов всегда было принято вести генеалогические списки — и, в случае пробела, восполнять недостающие звенья родословных цепей при помощи догадок и умозрения. Так он поступил и в данном случае. Два звена маноевой цепи у него были: Аллон, отец Маноя — и Дан, сын праотца Иакова. Остальные имена он, Маной, взял на себя смелость восстановить умозрительно, прибавив, что все их носители, за память людскую, были лица высокопоставленные. Главные имена он запомнил и может повторить их Манойю на случай, если....

Тут Маной поднял голову и спокойно заметил:

— Деда моего звали Гихон бен-Ахер, и был он простой человек, живший среди своего народа; остальных я не знаю — и ты тоже.

— Ты этот перечень скажи лучше мне, — быстро вмешалась Ацдельпони, — я запомню.

Левит кивнул головою с выражением человека понимающего и закончил свой доклад указанием на то, что о явлении ангела он счел более удобным не рассказывать, ибо эти язычники вряд ли поняли бы всю важность события; и он советует родителям Самсона держаться того же правила.

* * *

Через несколько дней, рано утром, целое шествие двинулось из Цоры по дороге на юго-запад. Кроме Самсона, его родителей и шакалов, тут были почти все рабы и рабыни маноева дома и левит Махбонай бен-Шуни в качестве главного распорядителя. Маной и Ацдельпони ехали на ослах; еще четыре осла тащили подарки, рабы тоже; седьмой осел принадлежал левиту и был навьючен грузнее всех остальных, так как Махбонай считал этот момент чрезвычайно подходящим для установления прочных торговых связей между

Кафтором и Даном. Самсон шел большей частью рядом с Маноем, и тогда Маной слезал с осла, и оба медленно шагали в ногу, изредка и вполголоса переговариваясь. Несмотря на тщедушную фигурку Маноя и на то, что он всегда смотрел вниз, а Самсон прямо перед собою, в их повадке и даже походке было что-то странно схожее. Двадцать шакалов, принаряженные, уже оправившиеся от вывихов и ран, шли гурьбою, пели хором какие-то песни, иногда разные в одно и то же время, и на ходу играли в чехарду или швыряли камнями в коршунов.

— Когда подойдем к Цоре, я их выстрою по-филистимски; они умеют идти строем — только не любят, — сказал Самсон отцу.

Несколько минут оба молчали.

— Филистимляне — горсть, — опять сказал Самсон. — В чем их сила? В порядке. Все сосчитано, все измерено, каждый человек на своем месте. Это хорошо.

Отец, помолчав, ответил:

— Это хорошо.

По его тону Самсон понял, что "хорошо" есть только оборот речи, но по существу у отца есть возражения.

— Я иногда смотрю, — продолжал Маной, — как твоя мать готовит обед. У нее все рассчитано: сколько воды и молока, сколько мяса, сколько крупы и соли, и сколько времени котел должен стоять на огне. Получается вкусное блюдо.

Самсон понял по тону, что "вкусное" — тоже только оборот речи, и ждал дальнейшего.

— Но если в котле ржавчина, или если рабыня забыла вовремя снять его с огня, или подбавить укропу — обед испорчен.

— У хорошей хозяйки это редко бывает, — сказал Самсон.

— Твоя мать хорошая хозяйка. Но есть еще другая хорошая хозяйка: земля. У нее тоже своя

кухня; солнце дает огонь, тучи зимой дадут воду — но никто не ведет счета ни дождям, ни теплу. Придет человек и разбросает семена; тоже без точного счету — одно упадет на камень, другое ветер унесет. А потом все-таки взойдут колосья. Только надо, чтобы человек не ленился, глубоко пахал и много сеял.

— Разве не бывает неурожая?

— Бывает. Я не говорю, что земля — лучшая хозяйка, чем твоя мать. Но каждая хозяйствует по-своему. Филистия — кухня. Дан, Ефрем, Иуда и все мы — как семена в поле. Счета у нас нет, правила нет; иногда град побьет целую ниву. Но пройдешь полжизни, оглянешься — и увидишь, как мы растем. Это не то, что котел, где одна трещина — всему конец.

Самсон не удивился, что отец говорит так мудро и длинно. С ним Маной всегда был разговорчив. Но Самсон покачал головою.

— Нет, — сказал он, — это не так. Теперь в стране мир; но не вечно будет мир. Филистимляне нас раздавят, если мы у них не научимся счету и строю.

— Не научимся, — ответил отец. — И не раздавят.

Он снова сел на осла и затрусил дальше; а Самсон шел рядом, и оба молчали.

* * *

Сзади кто-то кашлянул. Самсон обернулся: это был Ягир, один из шакалов, брат девицы Карни; и по выражению лица его Самсон увидел, что дело у него тайное. Он кивнул головою и пропустил отца вперед.

— Самсон, — шепнул Ягир, — там за деревьями меня остановила женщина. Лицо ее закрыто, но видно, что она очень молода. Она хочет видеть тебя; она говорит, что у нее для тебя важные вести.

Самсон кивнул головою и пошел обратно, к масличной роще у дороги. Между деревьями стояла тонкая фигура; она была вся закутана в покрывало, но снизу было видно длинное филистимское платье. Когда Самсон подошел, она открыла лицо; он узнал Элиноар, и про себя удивился, как она выросла, хотя только месяц прошел с их последней встречи — у пруда, на заре. От этого воспоминания, и вообще от того, что терпеть ее не мог, Самсон нахмурился. Она очень волновалась и не находила слов, чтобы начать. Он спросил:

— Тебя прислала Семадар?

Она вся колыхнулась, словно он ее толкнул; выражение беспомощной робости сбежало с ее лица и заменилось какой-то сгущенной злобою; она резко ответила:

— Что я у нее — служанка на побегушках?

— Так чего тебе нужно?

Она продолжала:

— Есть у нее там другие на посылках. Например — твой друг Ахтур.

Самсон внимательно посмотрел на нее, повернулся молча и пошел было своей дорогой.

— Таиш!!

В ее возгласе было столько горя и слез, что он вдруг потерял всю волю и остановился.

— Таиш, не женись на ней. Она тебя не любит, она только хочет позабавиться. Она любит диковины. Помнишь, ты ей подарил большую ящерицу? Ты для нее тоже редкостный зверь, кабан или медведь. Она поиграет с тобою — и уйдет к Ахтуру. Поиграет с Ахтуром и уйдет к третьему.

Она говорила гадости, Самсон ее ненавидел; но в ее голосе было рыдание, по лицу текли капли — это его сковывало, и он не знал, что сказать или сделать.

— Я их подслушала недавно; это было ночью, на том самом месте, где я тогда застала ее с тобою. Ахтур ее спрашивал: неужели навсегда? А

она смеялась — ты ее знаешь, она всегда хохочет — и отвечала: кто любит, подождет. Прощаясь, они поцеловались: конца не было этому поцелую.

Гнев охватил Самсона; не на Семадар и Ахтура, а на ее донос; если бы она не плакала, он бы ее ударил. Так как она плакала, он просто ответил:

— Я тоже люблю зверей — кроме гиены. Гиена крадется ночью, высматривая, где валяется падаль. Я не подслушиваю — ни сам, ни через других.

— Ты мне не веришь!

— Я тебя не слышал. Что не для моего уха сказано, до того мне дела нет.

— Ты на ней женишься! А Ахтур останется твоим другом!

— Я не умею заглядывать в щели — нет ли засады. Иду своей дорогой, не шныряя глазами туда и сюда. Нападут на меня — тогда посчитаемся.

Она затопала ногами, сжала кулаки, закричала в последнем исступлении бешенства:

— О, я тебя знаю! Ты заснешь в ее комнате и будешь храпеть, а она проберется в сад, и там будет ждать ее Ахтур. А завтра Ахтур проиграет тебе пригоршню серебра в кости, и все трое будут довольны!

Теперь в ее голосе уже не было слез; это развязало Самсону руки. Молча, он без напряжения ткнул ее ладонью в лицо; она отлетела на десять шагов и упала между маслинами, а он пошел догонять своих.

* * *

— Что это за племя — аввейцы? — спросил он, снова поравнявшись с отцом. — В нашем краю их не видно. Скверные твари, я думаю?

Маной заерзал на осле и медленно сказал:

— Я их тоже мало знаю: живут они на побережье. Но... почему скверные?

Самсон пожал плечами: лень было объяснять.

— Был у меня, — продолжал Маной, снова ерзая, — был у меня когда-то раб из аввейцев. Давно... еще до твоего рождения. — Хороший был слуга.

В тоне его Самсону почудилось что-то особенное, как будто Маной немного взволнован. Он поднял глаза на отца и увидел, что тот, по привычке, рассеянно трет пальцами шрам у себя на лбу.

— Отец, — спросил Самсон, — что это за шрам, и откуда он у тебя?

Маной перестал ерзать, опустил пальцы и долго глядел в землю; потом сказал нерешительно и очень тихо:

— Это... меня ранил когда-то один человек.

Самсон взглянул с любопытством:

— Ты мне никогда не рассказывал. Как это было? Когда?

Отец опять помолчал и отозвался уклончиво:

— Давно... еще до твоего рождения.

Самсон остановился.

— Тоже до моего рождения? — переспросил он, и вдруг охватило его подозрительное негодование при новой мысли:

— Не раб ли тот, аввеец, поднял руку на тебя?

— Нет, нет, — торопливо сказал отец, — о, нет. Напротив, — он защитил меня. Он... Мы вместе...

Маной совсем смешался, отмахнулся от чего-то рукой и договорил:

— Он был верный слуга, тот аввеец.

Самсон внимательно слушал.

— Где он? умер?

— Я... отпустил его на волю, — пробормотал отец.

— А кто это напал на вас?

Маной не ответил.

Самсон усмехнулся и указал на Ацлельпони, которая трусила на осле далеко впереди и что-то горячо толковала Махбонаю:

— Я расспрошу ее, — сказал он, — женщина расскажет.

Маной вдруг повернулся к сыну и проговорил резко, не запинаясь, почти повелительно:

— Никогда не говори с матерью ни об этом деле, ни о том рабе, и меня не расспрашивай.

Самсон смотрел на него с удивлением; отец, смущенный непривычной своей вспышкой, опять потупился и, почти про себя, прибавил:

— У каждого человека есть своя перегородка; не надо за нее заглядывать.

Самсон кивнул головою, и больше они не говорили.

* * *

Уже в виду Тимнаты они остановились, чтобы смыть пот с лица и отряхнуть от пыли одежды; шакалы выстроились квадратом, пятеро в каждом ряду. Из Тимнаты навстречу им выехала группа всадников: впереди несколько человек на лошадях, остальные на мулах и осликах. Разноцветные перья на шапках, золотые украшения на платьях и уздечках сверкали издалека; даниты, в сравнении с этим блеском, казались серо-желтою частью серо-желтой ханаанской равнины.

Впереди филистимлян ехал Ахтур. Подскакав, он поднял коня на дыбы, соскользнул с него и пошел прямо к Маной и Ацлельпони. Он прижал правую руку к груди, ладонью наружу, низко поклонился и сказал:

— Начальники Тимнаты послали меня и товарищей встретить вас приветом у границы филистимской земли. Они велели передать вам эти слова: с запада и востока пришли в Ханаан два царственных народа, Кафтор из великого моря, Израиль из великих пустынь; и боги разделили между ними эту землю, отдали в рабство им ее племена и велели Дану и Экрону соблюдать мир навеки. В знак этого мира, пришел к нам богатырь из дома данова, сын мудрого начальника жителей

Цоры; и мы отдаем ему прекраснейшую из девиц во всей экронской тирании, дочь древнего рода, деда которой были вождями еще во дни царей на Островах и покоряли Египет на юге и Луд на далеком севере. Я кланяюсь до земли тебе, господин, и тебе, госпожа, и тебе, Самсон, друг моего сердца, и твоим храбрым сподвижникам; эти юноши, пришедшие со мною, будут вашими братьями отныне и во веки веков.

Он говорил мелодичным, шелковистым голосом, оттачивая каждое слово; интонации его были так богаты, что данитам иногда казалось, будто он напевает; и, говоря, он делал изящные движения то рукой, то головой. Кончив, он и вся его свита посмотрели на Маноя; Маной догадался, что ему полагается отвечать, и очень смутился, так как не умел говорить перед людьми. Ахтур сейчас же это понял и, с грацией тонко воспитанного человека, нашел выход из положения:

— Не затрудняй себя ответом, высокородный Маной: ты устал с дороги; позже, во время пира в доме Бергама, начальники Тимнаты выслушают твои мудрые слова. А теперь — дайте нам обнять старого друга нашего, Самсона.

Крест на крест обнялись Ахтур и Самсон, от всего сердца; и Ахтур, смеясь, прошептал ему на ухо:

— Злодей, ты забрал у нас лучшую из красавиц, и никто тебе так не завидует, как я; но таков закон — лучшая добыча лучшему стрелку! Будь счастлив.

Самсон широко и беззаботно улыбнулся. Свалки с Вениамином, разговоры с Карни, с отцом, с Элиноар — все растаяло в его памяти без следа. Здесь, на филистимской земле, он привык еще с детства играть игру жизни без вопроса и тревоги.

Глава IX. РОДОСЛОВНАЯ ФИЛИСТИИ

Пришла повивальная бабка, и женщины увели Семадар в ее комнату; она пошла с ними, краснея и смеясь. Бергам остался наедине с Маноем; он распорядился, чтобы их не беспокоили, пока он не позовет. Он был высокий, полный, рыхлый барин с окладистой рыжеватой бородою; охотно смеялся, громахая солидным басом; новые мысли соображал туго, но зато имел готовый запас округленных выражений на все случаи обыденной жизни. Разговор его с Маноем носил характер односторонности: Бергам излагал, Маной ерзал и побрякивал. Бергам знал свою тему наизусть и любил ее — это была родословная, вернее, вся летопись его рода. Здесь она приводится в сокращенном изложении.

Он родился в Газе; когда, лет двадцать тому назад, саран экронский завоевал Тимнату, он переселился в этот город с обеими женами; старшая — дама из знатного рода; вторая — из аввейских туземок; взял он ее в жены еще в Газе, не только за красоту, но и ввиду ее исключительного умения вкусно варить. Обе дочери его родились уже в Тимнате и получили хорошее воспитание: танцуют, играют на лютне и умеют вышивать разноцветными шелками.

Дальний прадед его прибыл в Ханаан еще с первой высадкой; этот прадед был один из адмиралов филистимского флота и командовал десятью галерами. Сначала они думали поселиться в Египте, но были отбиты с тяжелым уроном.

Тогда они решили попытать счастья в Ханаане; это оказалось легче, тем более, что побережье было занято дикарями, у которых не имелось даже городов. А за первым набегом последовали новые, пока все, что было лучшего на острове Кафтор, — знать, купцы, моряки, все, кроме мужичья, — не переселилось в новую отчизну.

Род его, однако, шел не из Кафтора. Кафтор — маленький островок, в неделе пути на севере от Египта; но к западу от Кафтора лежит другой остров, очень большой остров, называющийся Керэт; там и было когда-то главное царство его народа, и там предки его долго служили начальниками и советниками при могучих и мудрых царях. Они жили в мраморных дворцах, обедали на золотой посуде. В столице было громадное здание для зрелищ: там ежегодно устраивался великий бой быков, и на праздник собирались толпы со всех островов. Под царским дворцом выкопан был целый подземный город, где были тюрьмы, склады царских припасов, оружейная палата и казначейство. В те времена все народы, жившие по берегам Великого моря, платили дань царям Керэта — золотом, скотом, юношами и девушками. Столица была полна воинов и мастеров; воины учились боевому делу, мастера ткали парчу, ковали оружие и золотую утварь и волосяными кисточками писали картины по обожженной глине. Корабли Керэта доходили до конца Великого моря на севере, где по берегу волки ходят стадами и люди живут с волками вместе; один за другим завоеваны были все острова и даже на твердой земле основаны были могучие города, которые потом стали самостоятельными царствами; и предки его, Бергама, часто были капитанами на тех кораблях и наместниками тех городов.

Но во дни прадедов его прадеда положение изменилось: боги рассердились на керэтинский

народ. На твердой земле, что с запада, появилось новое племя, по имени Ион, племя хитрое и жестокое. Они понастроили тысячи лодок и стали промышлять морским разбоем. Они вырезали население самых цветущих колоний и основали на их месте свои варварские княжества. Наконец, в ряде набегов, которые повторялись почти ежегодно в течение жизни двух поколений, ионийцы разгромили сердце державы, остров Керэт. Никогда бы им это не удалось, если бы сытая жизнь и богатство не расшатали еще задолго до того былую доблесть островитян. Нет ничего хуже для простолюдин, как сытость и достаток. Так погибло царство Керэта; и только далеко на севере лидийской области, где каждую зиму снег покрывает землю настилем выше человеческого роста, сохранился последний из великих оплотов морского народа — княжество Бергамское и столица его Троя. Там, среди бедной природы и сурового климата, племя еще не успело изнежиться. Суда троян топили ионийские лодки десятками; сколько угодно могли ионийцы торговать вином и елеем, но к хлебородным равнинам севера не было им доступа — ключ от житницы был в руках у князей Бергама, и барыши от ячменя и пшеницы накапливались в подвалах Трои. Однако и этому пришел конец. Ионийские князья составили общий союз и объявили войну Трое; целое поколение родилось и возмужало за время этой войны; только хитростью прорвался неприятель в бергамскую столицу, сжег ее дотла, разбросал обгорелые развалины, выгладил почву города настолько, что соха могла пройти по ней от края до края крест-накрест, не наткнувшись на камень. Это было последним ударом, и народ никогда его не забудет; до сих пор у них поются былины о той войне, и до сих пор филистимская знать дает своим детям имена троянских царей, принцесс и героев.

После того разгрома остатками морского народа

овладело уныние; они покинули последние свои островки, еще не завоеванные разбойниками, и разбрелись по всем берегам Великого моря. С тех пор ушло много лет, связи оборвались; повсюду, верно, осколки этого племени давно уже говорят на языках туземного населения; где они, что они, владыками ли сделались или рабами, неведомо. Но выходцам из Кафтора судьба еще раз улыбнулась: они правят равниной, где растет виноград, маслина и пшеница; они опять выстроили большие города, и лодкам их иногда удается проскользнуть мимо ионийских пиратов даже до устья реки египетской; и, наряду с богами Ханаана, в Газе они чтут еще старое божество островной своей родины: это — Дагон, сын бога земли, которому поклонялись цари Керэта, и морской богини; у него голова быка и туловище, покрытое чешуей.

Это была основная ткань рассказа, но в нее Бергам подробно вплел имена своих предков; точно обозначил, как назывались виночерпии и шталмейстеры керэтинских царей, кто был первый праотец его, переселившийся на Кафтор, и последний, уплывший оттуда навсегда с десятью кораблями. Почти так же обстоятельно изложил он историю дома Амтармагаи: род ее шел из Трои, и старшие дочери в этом роде всегда носили имена троянских княжен.

— О твоих предках, высокородный Маной, — прибавил Бергам, отирая лицо полотняным рушником, — мне подробно рассказал уже твой мудрый домоправитель; он предупредил меня, что, в отличие от филистимлян, вы, знать Дана, избегаете говорить о своей родословной, так как гордость неуместна в глазах вашего бога; но если ты желаешь дополнить сведения, им сообщенные, я выслушаю их со всем вниманием, на какое имеешь право и ты, будущий свояк мой, и твои благородные предки.

Маной подергал свою бородку; хотел почесать

свой шрам, но сообразил вовремя, что это вряд ли принято в хорошем обществе, и ответил:

— У нашего народа есть поговорка: кто был твой дед, неважно, гораздо важнее, что за человек его внук.

Глава X. МЕДЬ

Перед рассветом Самсон тихонько вышел из Ахтурова дома. Его родителей и свиту устроил у себя отец невесты; но жених, по обычаю, должен был до свадьбы ночевать под другою кровлей. Самсон взял с собою на ночлег только Нехуштана — того мальчика, что был ему проводником в набеге на село вениаминян; выбрал его к большому огорчению Ягира, который до тех пор во время походов всегда был личным его оруженосцем.

Нехуштан выскользнул неизвестно откуда, как только Самсон показался на крыльце.

— Тонкий слух у тебя, — сказал ему назорей.

— Я пастух, — отозвался мальчик, — даже сквозь сон слышу змею в траве на другом конце поля; и слышу шорох зари, когда она карабкается на небо.

Самсон рылся у себя в кошельке: вынул кремень и железный осколок, кивнул головой, опустил их обратно и снова завязал ремни мешочка.

— Ты умеешь выкуривать пчел? — спросил он вдруг.

— Умею, — ответил Нехуштан, — но мне это не нужно. Меня не трогают ни комары, ни пчелы, ни змея.

Самсон не удивился. В Экроне, в капище тамошнего идола, все жрецы и вся прислуга набирались из таких людей с горькою кровью, которой боится и гад, и насекомое.

— Идем, — сказал он, и они пошли полями к той дороге, что вела мимо дома Семадар в горы.

Спиною к ним, на берегу уже просохшего пруда, стояла девушка; на голове ее была накидка, но из-под кисеи выбивались пушистые волосы, и молодая заря золотила их. По этому золотому отливу и по фигуре Самсон узнал ее. Хотя ему не полагалось говорить с нею в самый день венчания перед обрядом, он тихо окликнул:

— Семадар!

Девушка быстро обернулась, но это была Элиноар. Самсон опять заметил, как она выросла за последние недели, стала похожа на сестру и фигурой, и лицом, и даже черные волосы ее приобрели на краях медный оттенок.

— Это только я, — сказала она грустно и коротко, — Семадар еще спит.

В ее голосе и выражении лица было сегодня что-то милое, покорное; на душе у Самсона было легко и весело, и ему стало жалко, что он ее тогда в масличной роще так ударил.

— Куда так рано? — спросила Элиноар, подходя ближе. Походка у нее была, как у Нехуштана, плавная и пружинная.

— За подарком для невесты.

— Что за подарки в горах?

— Увидишь. И тебе достанется.

— Таиш, — попросила она по-детски, — можно мне пойти с вами? Мне с полночи не спится; скучно. Я не помешаю. Можно?

Все ее лицо засветилось ребяческим любопытством; она стряхнула накидку на плечи и вдруг стала похожа на мальчика. Самсон засмеялся, потрепал ее по плечу и сказал: "Можно".

Первое время они шли молча, только Нехуштан насвистывал, передразнивая жаворонков. От времени до времени он отставал или сворачивал с дороги, роясь в каких-то норах или заглядывая под мокрые камни.

— Твой шакал Ягир долго не мог заснуть от

ревности, — сказала Элиноар в одну из этих отлучек.

— Ты откуда знаешь?

— Я с ним говорила вчера. Я им всем подавала ужин и узнала его — это он позвал тебя ко мне на дороге, когда ты... когда ты так рассердился.

Она говорила об этом просто, без обиды; как ребенок с отцом, который вчера надрал ему уши, и по заслугам, а сегодня все это уже забыто.

— Я его утешила; дала ему больше сладких лепешек, чем остальным, и он весь вечер мне рассказывал о том, какой ты смелый и могучий.

Она едва не прибавила: "и как ты отказался от его сестры для Семадар", но воздержалась. Оба они, однако, думали об одном и том же; и Самсону не показалось неожиданным, когда она вдруг сказала, упрямо качая головой:

— Я бы хотела быть цоранкой. Я не люблю филистимлян.

— Это твой народ.

— Нет. Моя мать аввейка; она чужая в доме. Она всех боится; никто с нею не говорит; с тех пор, как меня стали учить игре и танцам, она даже передо мной робеет. Но когда я была маленькая, она мне часто рассказывала про старые годы. Аввеи были когда-то самым свободным племенем во всем Ханаане; даже своих князей и старост у них не было; каждая семья жила по своему закону. Филистимляне легко покорили всех остальных туземцев; но аввеи долго не хотели служить им рабами, бунтовали, убегали. В Аскалоне и Газе их держали на цепи, как собак. Еще дед моей матери носил в ухе железное кольцо, за которое его приковывали к столбу каждую ночь; и на лбу у него было выжжено тавро.

Она перевела дыхание — подъем в этом месте был крутой — и прибавила с глубокой ненавистью:

— Филистимляне самый свирепый народ на свете.

— Это все было когда-то, — сказал Самсон. — Я-то слышал эти рассказы от наших моряков. Но теперь войны давно кончились, теперь у них колесницы только для гонок, мечи для состязаний — вся жизнь их игра; поют песни, пьют вино и обедаются сладкими лепешками.

— Иногда из сладкого выходит горькое, — отозвалась Элиноар.

Самсон внимательно посмотрел на нее: ему вспомнилось, что те же слова сказала ему недавно другая. Но потом он тряхнул косицами и беззаботно воскликнул:

— У филистимлян не так: из свирепого вышло сладкое!

Девушка вдруг подняла к Самсону голову, встретила взглядом и сейчас же опустила глаза. Потом она сказала раздумчиво:

— Вот ты как о них думаешь... Кто знает?

Так они дошли до ложбины, где Самсон задушил пантеру. Скелет ее, дочиста обглоданный, лежал на том же месте, частью прикрытый клочьями шкуры, которая скорчилась, одеревенела, почернела, стала похожей на кору. Над скелетом мирно жужжали мелкие дикие пчелы.

— Это и есть мой подарок, — объяснил Самсон, — мед, можно сказать, из собственного улья.

Она поняла.

— Это ты убил пантеру? Давно?

Он лукаво, беззлобно покосился на нее.

— Помнишь утро — когда в пруду у вас еще была вода?

Она вся покраснела, потупилась, тихо проговорила:

— Я тогда была безумная. И недавно в роще тоже. Я больше не буду такою, Таиш.

Теперь она окончательно вкралась в его сердце; он весело засмеялся, сверкая ровными зубами, и опять потрепал ее плечо; все ее прошлые выходки были, очевидно, проказами подростка, а теперь

она вдруг сразу выросла и поумнела.

Нехуштан спросил:

— Давно ли тут поселился рой?

— Я нашел его здесь пол-луны назад, — ответил Самсон.

Мальчик кивнул головою:

— Хорошо, мед уже созрел. Достать?

— Берегись, — сказал назорей, — лучше выкурим их.

— Слишком долго; и мед будет пахнуть дымом.

А вот что: я разложу костер под этим спуском.

— Зачем костер так далеко от роя?

— Чтобы пчелы не гнались за мною до самой Тимнаты. Увидишь.

Они стояли над обрывом; Нехуштан соскользнул в ложбину и стал собирать сухие прутья. Элиноар спустилась за ним помогать. Он сказал ей:

— Ты нарви свежих веток, госпожа: тогда будет больше дыму.

Самсон уселся над обрывом, смотрел и не вмешивался. Мальчик разложил хворост грядкой, шагов в десять длиною; сверху насыпал тонкий слой зеленых веток и велел девушке:

— Теперь пойди, сядь рядом с Самсоном — только сбрось мне раньше его огниво и кремь.

Он поджег костер с обоих концов, убедился, что хворост будет гореть, и пошел к скелету. Сначала шел быстро; но в нескольких шагах от пчелиного жилья остановился и замер. К нему подлетел небольшой отряд пчел на разведку; он стоял, не шевелясь. Они вились вокруг его головы. Вдруг он сделал шаг вперед, и опять застыл. Пчелы метнулись прочь, но сейчас же опять вернулись, и их уже было много больше. Через минуту Нехуштан опять шагнул, и опять замер; потом опять и опять. Теперь он был уже в густой туче темно-золотистых точек; со всех сторон ложбины слетались на тревогу новые пчелы; раздраженное жужжание внятно доносилось до Самсона и Элиноар.

— Они его заедят, — тревожно шепнула девушка, прижимаясь к руке Самсона. Он не ответил, но видно было, что и он неспокоен.

Нехуштан уже стоял у самой падали. Сквозь пчелиную завесу видно было, как он сразу нагнулся, резким движением, точно переломился пополам. Вдруг жужжание стало еще громче, как шум речки; рой сгустился в одну массу, потом подался и разделился. Они опять увидели мальчика: он уже стоял лицом к обрыву, бледный, с закушенной губою; руки его с ношей были высоко подняты над головою; пчелы вились теперь над этой ношей, облепив ее со всех сторон, но видно было, что ни одна из них не касалась его пальцев, рук, лица. Тем же порядком, по шагу в минуту, он подвигался обратно. Часть пчел ринулась назад, к улью, считать убытки, но остальные провожали грабителя. Он уже был в десяти шагах от костра; сухие прутья трещали в ярком огне, а от влажных веток высоко подымался дым. Вдруг он нагнулся к земле, разбежался и перескочил через огонь; как за падучей звездою, растянулся за ним хвост отпадающих пчел. По ту сторону костра он спокойно осмотрел свою добычу и вскарабкался на обрыв. Пчелы, растерянные, в беспорядке возвращались к ограбленному своему дому.

Элиноар захлопала в ладоши:

— Кто ты — сам Вельзевул или сын его? — спросила она, обирая пахучие соты; почистив, она их завернула в свою белую накидку.

Нехуштан, все еще бледный, неловко вертел шеей и потирал затылок.

— Укусила одна, — сказал он плаксиво, — в самое последнее мгновение, когда я побежал к огню.

На обратном пути Элиноар была страшно возбуждена; все время разговаривала с Нехуштаном, расхваливая каждую подробность его подвига, но он только робел и отмалчивался.

Она оставила его, наконец, в покое; несколько минут молчала, спускаясь вприпрыжку; потом вдруг обратилась к Самсону:

— Таиш... ты не сердись, что я тебя так называю? Я привыкла.

Он кивнул головою.

— Таиш, сегодня на пиру задай нашим юношам загадку. Знаешь какую? Ты сам это раньше сказал: "Из свирепого вышло сладкое".

— Про филистимлян?

— О, нет! Про пантеру и этот мед. Ни за что не разгадают!

Самсон развел руками в некотором смущении.

— Пока тут мои родители, — сказал он, — непристойно мне задавать загадки. — Он хотел было объяснить ей настоящую причину, рассказать о назорействе, но передумал и нашел другое толкование: — У Дана не принято сыну шутить перед отцом и матерью.

Она помолчала.

— Жаль, — заговорила она опять. — Я столько слышала о том, какой ты забавник на пиру. Думала эти семь дней тоже повеселиться. У нас так скучно... А твои родители останутся в Тимнате до самого конца свадебных праздников?

— Останутся сколько захотят, — сказал он коротко.

Она опять помолчала; потом спросила о другом:

— Кто такой этот торговец, бен-Шуни, который пришел с вами из Цоры? Я его знаю — мы с Семадар его встретили когда-то на этой самой дороге. Я раньше думала, что он старший слуга; но он у твоих родителей, видно, в большом почете — особенно у твоей матери.

Самсон проворчал:

— Не у меня.

Элиноар ничего не ответила; и они уже были в виду первых домов Тимнаты.

— Прощай, — сказала она, останавливаясь, —

я проберусь домой среди виноградников, а то конца не будет расспросам, куда ходила. — И, краснея, она спросила шопотом: — Ты больше не сердишься, Таиш?

Самсон сердечно рассмеялся:

— Мы еще будем большими друзьями, Элиноар, — сказал он, глядя ее по головке.

— Будем! — ответила она особенным низким голосом, которого он не заметил, потому что, в конце концов, ему было не до нее.

Когда она скрылась в пыльной зелени, Нехуштан пошел с ним рядом; его затылок сильно распух, и вообще он казался не в духе.

— Вырастет хорошей девушкой, — сказал Самсон, говоря сам с собою.

Мальчик пробормотал: "Вырастет ехидна", — но Самсон не расслышал.

Уйдя далеко за виноградники, Элиноар вдруг бросилась лицом на тропинку и горько заплакала, царапая руками пыльную жесткую глину.

Глава XI. ЭЛИНОАР ЗА РАБОТОЙ

Так случилось, что Самсон в тот вечер задал филистимским юношам знаменитую загадку, с которой начался новый и кровавый поворот в отношениях между двумя народами — покорителями Ханаана.

Обряд венчания кончился. Самсон сидел на пиру чинно, мало ел и ничего не пил; Семадар, разносившая вино, ни разу не подала ему кубка — предусмотрительный Махбонай бен-Шуни, как-то незаметно взявший на себя должность главного распорядителя, предупредил и ее, и Бергама, и важнейших из гостей, что таков, будто бы, обычай Цоры — сыну не полагается бражничать в присутствии родителей. Но к концу обеда его приятели, охмелев, стали вызывать жениха.

— Мало ли какие в Цоре обычаи! — крикнул один.

— В Цоре, видно, есть и такой обычай — капать похлебкой на платье! — закричал сквозь икоту другой, совсем пьяный, указывая пальцем на забрызганную рубашку одного из шакалов; но Ахтур, сидевший рядом, стиснул его локоть и сказал: "Молчи".

— А у нас свой обычай, — заявил третий, — жених должен знать, что это его праздник, а не наш. Песню, Та... виноват: песню, Самсон!

— Иначе не выпустим тебя из-за стола!

— Смотри: уже темнеет — а мы тебя не отпустим к невесте!

И с хохотом они его окружили, требуя хором:

— Спой песню!

Ахтур, перегнувшись через стол, шепнул Самсону:

— Скажи им что-нибудь, а то не отвяжешься.

В это время Самсон почувствовал, что на него смотрят. Он поднял глаза и встретился взглядом с Элиноар, и она незаметно кивнула, указывая на плошку с остатками меда перед его местом. Самсон пожал плечами, засмеялся и загремел, покрывая пьяную разноголосицу:

— Петь не буду; но если хотите биться об заклад, то это можно.

Они захлопали в ладоши, замахали руками и шапками.

— Я вам задам загадку, — провозгласил Самсон, — и даю вам семь дней пира, чтобы ее отгадать.

— А зак... заклад? — спросил кто-то икающий.

Самсон посмотрел на него: это был тот самый гость, которому не понравилось, как цоране едят похлебку. Он расхохотался и крикнул:

— Тридцать плащей из лучшего расшитого шелку: будет мне во что переодеть моих нерях-шакалов после этого праздника!

И среди полустихшего гама он задал им свою загадку:

— От могучего осталось сладкое; от пожирателя — лакомство.

Потом он шутя растолкал пьяную, восторженно оравшую толпу, подхватил на руки Семадар и унес ее в быстро темневшие сумерки.

* * *

Всю ночь напролет бушевало в Тимнате веселье; и пьяные, и трезвые наперебой кричали, пели, бранились, мирились и плясали; даже Ацлельпони, даже Маной, хотя упираясь, приняли участие в большом хороводе, не вполне уже сознавая, что с ними делают — потому что их тоже заставили

выпить немало. Вообще никто — ни пьяный, ни трезвый не знали точно, что с ним происходит. Одна только Элиноар знала ясно, что делает.

Она подошла к левиту Махбонаю, когда, после пира, он сидел один за опустевшим столом и машинально взвешивал на ладони тяжелое серебро бергамовых чаш.

— Домоправитель, — шепнула ему Элиноар, — у меня к тебе дело.

Он встрепнулся, отодвинул кубок как можно дальше от себя, точно устраняя возможное подозрение, и хотя нетвердым языком, но с обычным своим красноречием выразил готовность посвятить свои лучшие силы исполнению желаний высокородной девицы.

— Это не от меня, — сказала она, — это от Самсона. Он стесняется, и просил меня намекнуть тебе осторожно: нельзя ли ускорить отъезд его родителей? Ты видишь: он при них как связанный, и в конце концов это приведет к неприятностям. Наша молодежь его знает не со вчерашнего дня, и долго разыгрывать смиренного ему не дадут.

— Понимаю, — сосредоточенно сказал Махбонай, поглаживая бороду, — но — как я могу?

— Ты можешь. Самсон говорит: бен-Шуни — мудрейший из людей; мать моя слушается его, как овечка пастуха, а отец мой идет за матерью.

— Гм... — сказал Махбонай. — Пожалуй, так было бы лучше...

Позже, в темном углу сада, Элиноар увидела под деревом силуэт юноши, сидевшего с опущенной головой. Она присела рядом и положила ему руку на руку.

— О чем ты грустишь, Ягир?

Он не ответил; но она уже знала, о чем он молчит. Карни, сестра его, плачет в эту ночь, душа свои рыдания в покрывалах; Самсон, в котором был для него весь смысл и вкус жизни, оттолкнул его и нашел другого любимца: Ягир никому не нужен,

Ягир отверженец, как его бедная сестра, — один-единешенек среди толпы; всем чужой на свете...

— И я чужая, — шепнула ему девушка, почти щекоча его ухо горячими губами, — я ненавижу филистимлян; моя мать туземка. Зачем он пришел к этому чванному племени? Они смеются над ним про себя, а над его товарищами вслух...

— Не посмеют, — сказал он запальчиво.

— Разве ты не слышал? Вы не так едите, не так сидите, не так говорите... О, я разносила блюда, я все слышала. Один сказал: "Это его воины? Похожи на наших водовозов". Другой сказал: "У меня развязался шнурок на ноге — не позвать ли кого-нибудь из воевод могучего Дана, чтобы он мне стянул ремешки сапога?" Третий... О, я их знаю! Так они всю жизнь издевались над моей матерью, так будут издеваться всю жизнь надо мною — а теперь и Самсон у них в клетке, и скоро они начнут дразнить и его — через решетку.

— Я скажу это завтра Самсону, — ответил Ягир, дрожа всем телом.

— Ему не до тебя... Как ты дрожишь! — и она обвила его руками; он повернулся к ней, встретился с нею губами — но в это мгновение Элиноар вскочила и убежала, шепнув:

— Нас увидят...

По лужайке, притоптывая, неся, выкрикивая дерзкую свадебную песню, пьяный хоровод. В хороводе был Ахтур: Элиноар отделила его от соседа сзади, крепко уцепилась за его руку и пошла, танцуя, за ним. Когда песня докатилась до припева, хоровод распался: попарно, все повернулись лицом друг к другу, сцепились в четыре руки пальцами за пальцы, откинулись назад во всю длину рук и вихрем закружились на месте. Элиноар, кружась, неприметно увлекла Ахтура в тень под деревьями. Он звонко выкрикивал непристойные слова припева — вдруг она расхохоталась так резко, что он осекся.

— Как тебе весело на свадьбе — твоей возлюбленной, Ахтур! — сказала она сквозь смех.

Он был не настолько пьян, чтобы путать слова, — но все-таки пьян. Он ухмыльнулся и ответил:

— Во-первых, Таиш мой друг.

— А во-вторых?

— Свадьба не похороны; Семадар еще жива — и я еще не умер.

— Если бы Таиш тебя слышал, он бы раздавил тебе голову между двумя пальцами, как пустой орех.

— Красавица! ты преувеличиваешь и силу его пальцев, и пустоту этой скорлупы...

— Отчего же вы все его боитесь?

— Боимся? Где ты это заметила?

— Сегодня вечером. Он всем вам плюнул в глаза; а вы захлопали в ладоши.

— Как? когда?

— Его загадка!

— Загадка? Что в этой загадке?

Элиноар повернулась, как будто уходя, и крикнула ему презрительно:

— Если ты не трус, Ахтур, то ты глуп. Со дня, когда прибыли сюда первые наши деды, еще никто не бросал в лицо филистимской молодежи таких насмешек.

— Стой, — сказал он повелительно. — Я должен знать, в чем дело.

— Спроси Семадар — если он тебе еще не запретил говорить с нею: спроси ее — она тебе объяснит.

Ахтур хотел удержать ее, но она уже исчезла в дверях бергамова дома. Ее ночная работа была кончена; оставалось утро.

Утром рано, по обычаю, новобрачная одна проскользнула в домашнюю божницу. Там на маленьком алтаре уже стояли наготове три чаши: с вином, елеем и козьим молоком. Перед алтарем,

среди пенатов, искусно выточенных из слоновой кости, возвышался белый мраморный эфод, той же формы, что в молельне у жены Маноя, только голый, без украшений. Семадар поставила перед ним три чаши, омочила в них пальцы, окропила темя символа; стала на колени, закрыла склоненное лицо покрывалом и зашептала молитву, которой, целую неделю до свадьбы, обучала ее наедине повивальная бабка. Молитва была на непонятном ей наречии островных ее дедов; но она знала содержание, и ей было неловко, жутко — и немного смешно.

Кончив, она вскочила, отряхнулась — и увидела на пороге Элиноар. Сестры никогда не были дружны, особенно в последнее время; но сегодня Семадар была очень счастлива. Она протянула к девушке руки, привлекла ее к себе и поцеловала. Элиноар шепнула:

— Знаешь, мы с Самсоном помирились, и теперь будем друзьями.

— О! — ответила Семадар, — я рада.

И тут же на пороге божницы, они сели рядом на ступеньке и зашептали; Элиноар иногда тихонько взвизгивала и отворачивалась, — и когда отворачивалась, больно закусывала губу, — а новобрачная краснела и закрывалась рукою — но обе все время хохотали.

— Только зачем они так шумели в саду? — спросила Семадар. — Я все время слышала голос Ахтура: как нарочно, он пел такие ужасные вещи под самым окном...

Элиноар вдруг стала серьезна.

— Бедный Ахтур, — сказала она. — Это он старался перекричать свое горе. На него больно было смотреть.

Семадар, однако, была слишком полна своим счастьем для жалости. Она оттопырила губки:

— Пусть потоскует. Ему полезно, а то он

чересчур гордится своей красотой. Самсон лучше его.

Элиноар покачала головою.

— Будь с ним ласкова, сестра, — сказала она настойчиво. — Он друг Самсону — единственный во всей Тимнате, кто ему действительно друг. Не надо их ссорить. Если ты резко переменишься к Ахтуру, он подумает, что тебе так велено, и обидится на Самсона.

— Самсон не боится соперников, — беззаботно ответила Семадар, — Ахтур это знает. Хорошо: нарочно, чтобы он не вообразил себя опасным, я буду с ним танцевать и говорить по-прежнему — хоть наедине, мне все равно.

Сестра погрозила ей пальцем:

— Только не разболтай ему загадку.

— Какую загадку?

— Разве ты не слышала, как они в конце обеда бились об заклад?

— Я не обратила внимания. Какой заклад?

— О, пустяки — не то плащ, не то шапка. Неужели Самсон потом тебе не рассказал?

— Мы почти не говорили, — ответила Семадар простодушно.

Элиноар отвернулась, закусив губу; но сейчас же взяла себя в руки.

— А загадка — о тебе, — продолжала она. — Только не говори Самсону, что я тебе рассказала, — иначе конец нашему примирению.

В ее передаче, дело было так. Прошлую ночь ей не спалось: на заре она вышла из дому, встретила Таиша — он был с Нехуштаном — и пошла с ним. Тут они и помирились, по дороге. И он ей сказал, что свадьба эта — символ мира навеки между филистимлянами и Даном; что Семадар — самый сладкий из всех плодов Ханаана; что доныне его племя, и все родные ему колена, считали филистимлян жестокими врагами, "пожирателями", но теперь это прошло навсегда:

вражда забыта, осталась только сладость. Семадар была очень польщена; ей никогда не приходило в голову, что Самсон умеет говорить такие милые вещи. Она опять поцеловала сестру, и обе ушли спать — обе довольные.

Глава XII. В ЧУЖОМ РАЮ

Первые дни Самсон жил в тумане счастья. В конце концов, несмотря на дружбу с Ахтуром и приятелями Ахтура, до сих пор его жизнь протекала в первобытной, грубоватой обстановке охоты, набегов, иногда полевой возни в Цоре, попоек и походов с рабынями блудницы Дергето в Тимнате. От той утонченности, от изящества, которые смутно влекли его к филистимской среде, он до сих пор по-настоящему знал только внешнюю, нижнюю сторону; да еще знал и любил их беззаботность, легкость их быта и взгляда на жизнь, по сравнению с которыми все обычаи Дана казались законами темницы. Но теперь он проводил почти все время наедине с правнучкой длинного ряда князей и сановников, и через нее дышал истинным воздухом дворцов, морских просторов, тысячелетних преданий. Он держал ее в руках осторожно, с трепетом, как простолюдин тонкую хрупкую вазу; слушал ее, как слушают соловья, и боялся спугнуть ее резким жестом или словом. Он почти всегда молчал; сидел у ее ног на полу или, во время прогулок, на земле, бережно проводил пальцами по ее маленьким ногам и вставлял только те замечания, какие нужны были, чтобы еще подстрекнуть ее сверкающую разговорчивость.

Она знала Газу и Аскалон, куда возил ее отец на большие праздники. Она рассказывала Самсону о тамошней роскоши, о мраморных залах, о золоченых престолах саранов, о блестящих

панцырях и звонком вооружении их гвардии, о ристалищах, где молодые красавцы на колесницах гнали перед собою по два и по четыре одноцветных коня; о пирах, где мужчины и женщины ели и пили рядом, целая сотня гостей и больше, а двенадцать рабов сразу, в один лад, играли на флейтах и лютнях, и филистимские и заморские девушки танцевали почти без покрывал. Она умела передавать это все ярко и живо — или, может быть, голодное воображение дикаря дорисовывало. Самое сильное впечатление произвел на Самсона рассказ о храмовом празднике в Газе: как на площади перед храмом стояли тысячи юношей и тысячи девушек, все в одинаковой белой одежде, все на одном расстоянии друг от друга; застыли как каменные, среди молчания несметной толпы, и вонзили глаза в начальника пляски, стоявшего на ступени храма; и вдруг он поднял руку — и тысячи юношей и тысячи девушек, как один человек, в одно и то же мгновение подняли руки, изогнулись, ступили вправо, ступили влево, обернувшись вокруг самих себя — как один человек! Ничто в ее рассказах не потрясло Самсона, как эта картина, не дало ему такого ощущения могущества и накопленной соборной мудрости. Он заставил ее повторить описание несколько раз и сказал ей:

— Я должен это увидеть; мы пойдем с тобой в Газу на будущий праздник.

Она ему рассказывала сказки, слышанные от нянек, от отца, от аввейки — матери Элиноар. У Ацлельпони в божнице тоже было много богов; но даниты молились, когда нужно было молиться, а в обыденной жизни, занятые суровыми делами пашни, стада, ссор и нищеты, мало думали о невидимом. Для Семадар весь мир был полон существ, которые не любят показываться людям. На заре малютки цафриры, двенадцать мальчиков и двенадцать девочек в розовых

рубашках, открывают ворота солнцу и подают знак жаворонкам, что пора начинать песню. В полдень, когда все замерло и даже кузнечикам лень стрекотать, ты слышишь иногда в поле протяжный вздох издалека, это Загарур, похожий на золотую ящерицу, купается в тепле и выражает свою радость. В сумерки, в оливковой роще, неясные тени перебегают от дерева к дереву: это Целан ищет себе новую невесту на ночь; он недобрый, особенно опасен зимою, но его царство короткое, как сумерки. Ночью заросли, речки и холмы во власти красавиц-лилит. У лесной лилиты глаза светятся и не мигают; она сидит на дереве, и по глазам ее принимают иногда за филина. Речная лилита рождается с первым дождем и умирает весною, когда ручьи пересыхают. Горная катается верхом на котятках пантеры; у ее мужа козлиные ноги и рожки, он играет на дудке, и зовут его Сеир. А в болоте живет Алука, веселый чертенок с хвостиком, похожим на пиявку; он на все руки мастер, он и мужчина, и женщина, посылает лихорадку и лечит от лихорадки — в зависимости от того, понравился ты ему или рассердил его. Если ночью тебе снится страшное — это Кацрит-коротышка, тело жирного кота и морда обезьяны, свернулся калачиком у тебя на груди и дышит тебе в ноздри. Если проснешься и услышишь в саду тихий свист — не выходи: это Агра, самая прекрасная и самая злая из ночных цариц, пляшет в одиночку между грядок и никогда не простит, что ей помешали; сама мстить не станет, но найдет на тебя своих холопов — рогатого, лохматого, одноглазого Мерири, который сосет человечью кровь, или вертлявого Темалиона, который напустит тебе мелких чертенят во все члены тела, так что руки, ноги, даже уши начнут сами собою дергаться, а изо рта пойдет пена. Гром и молнию делает Ариэль; зоркие люди видели его среди туч, но о том, каков он с виду, мнения разнятся. А когда заладит дуть

несколько дней удушливый горячий хамсин — это расчихался Решеф, великан из пустыни, что лежит за Соленым морем; а если волны выбросили на морской берег Рагаб, водяное чудо, которого боится даже древняя филистимская богиня акула...

Иногда, смеясь и ласкаясь, она его учила хорошим манерам. Мясо нельзя хватать обеими руками: надо взять его за косточку одной рукой, откусить небольшой кусочек, и, пока его жуешь, положи остальное на тарелку и спрячь руки под стол. Когда пьешь вино или похлебку, не ныряй головой к сосуду: подыми кубок или плошку на уровень губ и опусти обратно между глотками. Когда говоришь с дамой или стариком, не сиди, раздвинув колена; не начинай речи со слова "я"; и когда обнимаешь тоненькую девушку, помни, что ты силач, и не души ее больше, чем надо.

Самсон скалил зубы и проделывал все, как она учила. В награду она иногда играла для него на трехструнной лютне или пела песни.

Одна песня:

"Мой милый уплыл на лодках далеко и бросил в белую пену два поцелуя: один для его матери, второй для меня... Старая свекровь моя, на что тебе его ласка? Ты целовала его еще в колыбели. Отдай мне твою долю: у меня тоже скоро будет колыбель".

Другая:

"На Великом острове есть высокая гора, в горе пещера, и в пещере был когда-то великан. Голова его и корона были из золота, грудь и плечи медные, а ноги — рыхлая глина.

На Великом острове есть высокая гора, в горе рыбац; ничего у него не было, кроме серебряного кубка.

Рухнул великан; крыса, лисица и филин правят во дворце могучих царей; на Великом острове пируют морские вору; Троя сгорела; под волнами

Соленого озера захлебнулись порфиноносные владыки Гоморры.

Но серебряный кубок рыбака волны выплеснули на мой берег; и сегодня, как тогда, я целую край его, когда пью вино”.

Еще одна:

”Я люблю тебя, милый, когда ты со мною; когда ты уйдешь на войну, другое ложе услышит мой шепот. Но я верна тебе, вечно тебе.

Так, в часы прилива, море плещет навстречу луне. Настанут безлунные ночи, и покажется звездам, будто для них вздымается морская грудь. Глупые звезды! Светит ли месяц, скрылся ли месяц — но прилив от него, и к нему”.

Хорошо было Самсону в те дни.

Перед вечером, когда спадала жара, снова начинался пир. Теперь уже ему некого было стесняться: отец и мать, через день после свадьбы, вернулись обратно в Цору, причем Маной был явно доволен, что наконец может уйти, — а Махбонай бен-Шуни, уходя с ними вместе, зачем-то подмигнул Самсону. Шакалам он велел остаться, хотя предпочел бы их тоже усладить домой: филистимская молодежь вызвала их на состязания в беге, борьбе и метании камней. Но для них все, что делал Самсон, было свято; они без расспросов, просто и почтительно приняли на веру, что назорей в Цоре может пить вино и носить филистимскую шапку в Тимнате. Сами они тоже много пили и пели — пели свои песни, по просьбе Ахтура; впрочем, пели они только в первые дни; потом перестали. Самсон, оглушенный своим счастьем, не заметил перемены. Не обратил он внимания и на то, что теперь его шакалы уже не сидели за столами вперемежку с филистимскими юношами, а садились кучками, поближе друг к другу.

Прислуживал ему Нехуштан: чистил платье, натирал воском ремешки обуви. Как заботливый начальник, Самсон его каждое утро спрашивал,

довольны ли шакалы пищей, постелью и обращением. В первые дни мальчик отвечал: "О, очень довольны!" — а потом стал коротко отзывать: да.

Однажды Самсон сказал ему:

— Это хорошо, что вы поживете среди филистимлян. Они наши соседи; надо знать друг друга — тогда не будет вражды среди людей.

Нехуштан помолчал, потом ответил:

— Про людей я мало знаю; я пастух, больше знаю про зверей. У зверей иначе.

— Как так иначе?

— Черный пес и рыжий пес не грызутся, покуда каждый из них при своем стаде; сведи их — полетят клочья.

Самсон поднял голову, всмотрелся, хотел о чем-то спросить; но из сада послышалась лютня, и он ушел в сад, и забыл.

* * *

Однажды, в самый полдень, тесть его Бергам звал его к себе для каких-то деловых разговоров. По филистимскому праву, имущество невесты, на случай вдовства или развода, оставалось ее собственностью — или, может быть, наоборот: Самсон слушал рассеянно, его тянуло к Семадар. Битый час объяснял ему что-то Бергам, а Самсон кивал головой и соглашался. Бергам прочитал ему целый трактат о разных формулах, при помощи которых муж, по закону Пяти городов, может расторгнуть брачный союз; формулы были, по большей части, простые и короткие; Самсон усмехнулся и сказал:

— Мне это все не понадобится.

Тесть ответил поучительно:

— Знание, сын мой, подобно богатству. Богатый ест не больше бедного; но приятно и почетно иметь запасы, хотя бы они тебе никогда не понадобились.

Эта мысль Самсону понравилась, как новый урок из тайн высокоразвитого быта; но ему все-таки хотелось скорее вернуться к жене.

Когда он, наконец, освободился и пошел искать ее в саду, на крыльце встретила ему Элиноар. На вопрос, где Семадар, она почему-то очень смутилась, замялась, оглянулась в сторону беседки, стоявшей за сухим прудом среди кольца пальм, и наконец ответила:

— Я... я не знаю.

Он пошел к беседке и еще издали увидел Семадар и Ахтура. Они сидели рядом на скамье; Семадар махнула ему шарфом, вскочила и побежала навстречу. Самсон рассмеялся, поняв смущение Элиноар: глупая девочка думает, что он ревнив. Он любил Ахтура по-прежнему, хотя они теперь, конечно, почти не встречались наедине; Ахтур должен остаться и его другом, и другом его жены. Он посадил Семадар себе на плечо — она заняла почти только полплеча его — и так подошел к беседке. Ахтур ожидал их стоя.

— Как живешь, приятель? — весело крикнул Самсон. — За перезвоном струн ее лютни я, кажется, забыл твой голос.

Он ожидал, что Ахтур, как обычно, откликнется какой-нибудь любезной шуткой: у него был всегда на все готовый и приятный ответ. Но Ахтур ответил как-то странно, не по-своему:

— Только ли голос мой ты забыл, Самсон назорей?

— Самсон? Назорей? Это что за имена? Ты звал меня Таиш.

— Забывчивость — прилипчивая болезнь, — сказал Ахтур. — Но я не хочу мешать вашим секретам; мы увидимся позже, на состязании... где твои юноши покажут нам, изнеженным потомкам некогда могучего народа, образцы истинного мужества.

Он раскланялся и ушел. Самсон спустил Семадар на землю и спросил:

— Что с ним сегодня?

Она, смеясь, зашебетала:

— Он и со мною был какой-то странный. Выспрашивал... — Она не докончила и перебила сама себя: — Это он завидует твоему счастью, что тебе досталась такая жемчужина: я. Нет, еще лучше: знаешь, что значит "Семадар"? Это — зеленый брильянт, самый редкий из драгоценных камней, вот я какая!

Самсон ответил с глубокой уверенностью:

— Сами боги мне завидуют; все боги — твой, мой, боги Сидона, Моава и Египта.

— Но они завидуют молча, не приходят ко мне наводить тоску, — отозвалась она с надутыми губками. — Я его ненавижу. Или нет: он все-таки хороший, я его люблю. Я его люблю в десять раз больше, чем тебя: он бы не оставил меня на целый день для беседы с моим отцом.

Самсон рассмеялся:

— Твой отец поучал меня, как быть, когда мы с тобою захотим развестись. Это очень просто: кажется, достаточно мне сказать при свидетелях, как ты только что сказала: "Я ее ненавижу". Будь это на несколько дней раньше, я бы ушел от него посередине разговора; но кто меня учил вежливым манерам? Кто? Угадай!

Она сидела у него на руках, почти незаметная между его огромной грудью и коленями, расплетая и заплетая его косицы. Она отрезала:

— Не умею отгадывать... Ах, да: что это за трудную загадку ты загадал им всем в день нашей свадьбы?

— А ты меня не выдашь?

Она лукаво ответила:

— Не выдам... если до сих пор не выдала, — и сама захлопала в ладоши от хитрости своего ответа.

Он объяснил:

— Это про пантеру и мед. Я убил пантеру, а в ее скелете пчелы вывели соты. Пусть попробуют разгадать.

Она покачала головой:

— Ты лжешь, Самсон. — Но после беседы с Ахтуром совесть ее была немного нечиста, и ей не хотелось больше говорить именно об этом.

— Я целый век не вышивала, — воскликнула она, — ты из меня сделал ленивицу. Идем в мою комнату — будешь держать мои цветные шелка? Или хочешь, — я научу тебя вышивать?

Самсон пошел за нею; выставил торчком оба больших пальца, на которые она надела шелковые мотки; потом взял в огромные свои лапы иголку и стал терпеливо прокалывать шерстяную ткань: правой рукой втыкал иглу, левой вытаскивал ее за острие с обратной стороны и при этом слегка пыхтел; а Семадар хохотала и называла его женским именем — Самсонитой.

Глава XIII. СОСЕДИ БЕЗ МЕЖИ

Отрезвлению Самсона положили начало состязания между его шакалами и филистимской молодежью. Он и раньше знал, что даниты — не чета здешним юношам, которых обучали этим играм с самого детства; но хотел, чтобы его сподвижники поучились и присмотрелись. Насмешек он не ожидал, зная филистимский обычай: после состязания победивший должен был обнять побежденного.

Тут оказалось, однако, по-иному. Первый день состязались в бегах. На шакалов Самсона жалко было смотреть. Немногие из них, особенно Ягир, еще кое-как постояли за себя на коротком расстоянии; и тут Самсона впервые поразило, что данитам, даже когда они побеждали, никто, кроме Ахтура и бергамовой семьи, не рукоплескал. Но когда начался большой бег вокруг городской стены, от южных ворот мимо северных и дальше до южных, о рукоплесканиях данитам не могло быть речи. Самсон предупредил своих, что надо беречь силы; но для них это было ново, они волновались и не знали, какую взять меру. С самого начала они понеслись, делая длинные шаги и размахивая руками. Филистимляне прижали руки к груди и пошли как на прогулку, без усилия, почти обыкновенным ходом. Еще прежде, чем обе группы скрылись за поворотом стены, было ясно, что данитов позорно побьют. Уже у северных ворот они спотыкались и задыхались, и туземное простонародье, глазевшее там со стены, встретило

их — зная, по-видимому, о настроении господ города — свистом, мяуканьем, ругательствами. К южным воротам филистимляне пришли как один, стройной цепью, грудь в грудь — на этот раз они друг с другом не хотели состязаться, и Самсон понял умысел и нахмурился; шакалы приплелись много позже, поодиночке, потные, грязные, противные себе и зрителю. Филистимлян встретили овацией; на подбегавших данитов смотрели молча или перебрасывались негромкими замечаниями — настолько негромкими, что Самсон, хотя догадывался об их содержании, не мог их расслышать.

Тем не менее, ему еще не пришло в голову обидеться. Соблюдая правила, он громко поздравил победителей; потом велел своим растрепанным товарищам выстроиться и тут же, перед всей толпою, спокойно произнес им назидание — учиться у филистимлянских гимнастов, не торопиться, знать меру... Они слушали, понуря головы.

Чтобы подбодрить их, он в тот вечер на пиру отказался занять свое обычное место за главным столом, а сел среди шакалов, и это, действительно, подняло их настроение. Ахтур тоже сидел с ними и был очень любезен: доказывал, что они молодцы, что неудача их совсем не так велика, что они далеко пойдут. Самсон был ему искренно благодарен, пока не заметил, что Ягир, весь бледный, смотрит на сладкоречивого чужого красавца исподлобья, с явной ненавистью; и впервые Самсону пришло в голову, что Ахтур, быть может, издевается над его маленькой ратью.

Второй день состязаний был немногим лучше, если не хуже. Назначено было метание камней. Обыкновенно сначала в ход пускались легкие диски, а потом, после короткого перерыва, начиналось бросание тяжелых гирь, иногда в полталанта весом. Но на этот раз кто-то хитрый, хорошо

знавший и достоинства, и недостатки обеих сторон, распорядился переменить порядок. Начали с метания тяжестей, и тут взяли верх тугие мускулы данитов. Один из них, по прозвищу Гуш, которого Самсон иногда величал "братом", поднял, сверх программы, две самые большие гири сразу, по одной в каждой руке, повертел их с плеча полным кругом в воздухе и дошвырнул дальше, чем самый сильный из филистимлян бросил, за минуту до того, одну из этих гирь. И опять вся толпа молчала. Самсон вскочил, сорвал свою филистимскую шапку, махнул ею в воздухе и заревел уже с нескрываемым гневом:

— Что это — вы онемели от зависти?

Ахтур тоже поднялся, аплодируя, и укоризненно покачал головою в обе стороны; тогда, наконец, раздались кое-где жидкие хлопки.

Но и это впечатление стерлось во второй части — при метании легких медных дисков на далекое расстояние. Тут опять нужна была не сила, а уменье; шакалы проваливались один за другим. Несколько раз Самсону хотелось выйти на поле и показать и своим, и чужим, как надо метать камни; но это было невозможно — в состязании участвовала, по уговору, только зеленая молодежь.

Потом стало еще горше. Так как эта игра закончилась рано, кто-то предложил устроить импровизированное состязание на мечах. Тут вообще даниты были не при чем: ни один из них никогда не держал в руках меча, большинство даже не видало еще этого оружия; а на филистимской земле считалось тяжелым преступлением для кого бы то ни было, кроме природных филистимлян, взять в руку стальной клинок. Это правило распространялось и на Самсона. Все его друзья, включая Ахтура, выбежали на поле, составили пары и зазвенели сталью под аплодисменты и клики восторженной толпы; даниты сидели среди зрителей, кусая губы и стыдясь поднять глаза.

Только Нехуштан пробрался в передние ряды, смотрел во все глаза, переходил с места на место, чтобы приглядеться к каждой паре. Кто-то из бойцов, утирая пот во время передышки, спросил его насмешливо:

— Нравится, герой из Цоры?

— Очень, — ответил мальчик.

— Мало ли что кому нравится, — расхохотался другой филистимлянин. — Мне бы нравилось летать по воздуху, как вон тот коршун, да нет крыльев... и не будет.

— Крыльев не будет, — сказал Нехуштан, — а кузнецы будут когда-нибудь и у нас.

Филистимлянин замахнулся, чтобы дать ему пощечину; но Нехуштан показал ему язык и во мгновение очутился на другом конце поля.

Когда все двинулись обратно к саду Бергама, где ждали их убранные столы (это был предпоследний день пира), к Самсону подошел Ягир.

— Могу я говорить с тобой, отдельно? — спросил он, не глядя на Самсона.

Они отошли в сторону.

— Завтра борьба, — сказал Ягир.

— Да.

— Освободи меня от участия, Самсон. Я... я больше не могу.

— Трусись?

— Ты сам видел, и не раз, что я не трус.

— Трус не тот, кто боится ран или смерти, а тот, кто боится насмешки.

Ягира прорвало, он заговорил бессвязно, глотая слова, иногда слезы:

— Ты не знаешь, что тут творится. При тебе они не смеют... Над нами они издеваются на каждом шагу. Все их смешит: и слова мы произносим, как туземцы, и одеты не так, и умыты не как следует; и... и Цору пора бы присоединить к Экрону, чтобы научить тамошнее мужичье — это нас! — знать свое место. Нас мало, и мы гости, и приходится

отмалчиваться, но... Словом, я больше не могу. Освободи меня; я хочу домой.

— Если ты завтра не выйдешь на поле, — медленно сказал ему Самсон, — нет тебе места среди шакалов. Ступай.

Ягир, опустя голову, вернулся к товарищам. Самсон долго шел один и думал о пастушьей мудрости Нехуштана. Черный пес и рыжий пес: пока врозь, каждый тихо делает свое дело, а сведи их — подерутся. Может быть...

Хмурый и молчаливый сидел он в тот день на пиру, мало ел и думал думу; шапку бросил под стол и от вина отказался.

Назавтра Ягир вышел бороться, но ловкий филистимлянин положил его через несколько минут. Вообще в тот день шакалам было еще больше не по себе, чем в прежние разы. Им пришлось раздеться до пояса, при женщинах; им было стыдно. И когда они пытались обхватить противника плотно, прижать его к себе так, чтобы затрещали ребра, и швырнуть потом, как тряпку, — они наталкивались то на локти, то на голову, то на пустой воздух; а противник танцевал вокруг и внезапно зажимал в тиски разом и шею, и ногу, и все было кончено; и толпа кругом хохотала, свистала, редела по-ослиному и подбодряла своих.

Только Гуш, когда филистимлянин обвился вокруг него сзади, снял его с себя, как рубаху, почти без усилия, взял в объятия и, хотя не мог повалить на спину, помял до того, что Самсон велел им разойтись, и беднягу пришлось отливать водою; и во время этой схватки толпа мрачно молчала, хотя зато шакалы накричались до хрипоты.

Неожиданный успех, даже отчасти у филистимлян, достался на долю Нехуштана. Ему дали было противника того же возраста, но он, с комичной ужимкой, отказался и ткнул пальцем в здорового филистимлянина, который уже в тот день шутя положил двоих.

— Вот этот пусть попробует меня повалить на спину.

Хотя это было против правил, но показалось так забавно, что распорядители согласились. С первой схватки стало ясно, что Нехуштан непобедим. Он вертелся в самых невообразимых направлениях, изгибался под самыми невозможными углами, выскользал из какого угодно зажима; дважды бросился под ноги наступающему противнику, так что тот оба раза споткнулся и упал ничком, а Нехуштан вскочил ему на спину; наконец, проскользнул у филистимлянина между ног, очутился у него на плечах, стиснул ему шею ногами и еще в придачу захлопал в ладоши. Это тянулось очень долго и проделано было с таким искусством, что даже филистимские зрители залюбовались и начали издавать одобрительные возгласы.

Любопытно было на этот раз поведение туземцев. В Цоре, на сборищах, они тоже держались несколько в стороне; но здесь, в Тимнате, соблюдалась черта гораздо более резкая. Малочисленная филистимская раса берегла свою чистоту; они были завоеватели, не колонизаторы. Во время бега филистимляне стояли у южных ворот, туземцы у северных; на остальных состязаниях туземцы занимали другую сторону поля. Филистимские дамы и девицы сидели особо, и среди них не было ни одной инородческой женщины: здесь, на окраине филистимской земли, браки с туземками считались, очевидно, нежелательными; их брали только в наложницы и отсылали, вместе с приплодом, обратно в северный квартал по миновании надобности. Если у некоторых филистимлян и были туземные жены, приведенные с побережья, где правила были не так строги, то те, по-видимому, остались дома: мать Элиноар не пришла.

Туземная чернь на другом конце поля явно приноровляла свое настроение к настроению

господ: ликовала, когда те хлопали в ладоши, и вслед за ними поносила данитов. Но какая-то затаенная досада на поработителей, какой-то последний уголек бунта, видимо, еще не дотлел до конца под пеплом их отупения; и проделки Нехуштана взяли их за живое. Сначала они молчали; но когда слышали, что и на филистимской стороне иные рукоплещут молодому шакалу, туземцы осмелели и начали радостно визжать и покрикивать. А когда Нехуштан сел противнику на плечи и сам себе заплодировал, туземцы пришли в восторг, взвыли, вскочили, замахали руками, завопили что-то вроде: "Так его, данит!" Ахтур переглянулся с другими вельможами города; через минуту на ту сторону отправили бегом десяток стражников с хлыстами, и стало тихо.

Когда у филистимлянина лицо налилось кровью и он схватил Нехуштана за щиколотки с явным намерением выломать ему ступни, Самсон и Ахтур объявили схватку конченной вничью. Это и был конец последнего дня состязаний.

Глава XIV. ССОРА

На пиру в этот день даниты чувствовали себя несколько лучше. Побед они опять не одержали, но Гуш, Нехуштан, инцидент с туземцами хоть причинили филистимлянам неприятность. Шакалы все теперь сидели за одним столом и негромко, но оживленно толковали друг с другом, не обращая внимания на остальных. Самсон опять вернулся на свое прежнее почетное место и тоже был в хорошем настроении: шапки не снял и вина не отверг.

Зато какая-то связанность чувствовалась среди главной группы филистимлян. Ахтур и его ближайшие друзья казались неразговорчивыми; но и остальные гости Бергама, для которых не так ясна была перемена, произошедшая в отношениях между Самсоном и Тимнатой, были заметно расстроены наглой выходкой туземцев. Они все понимали, что это мелочь; но мелочь была неприятная, особенно в виду присутствия чужих. Они привыкли не замечать туземцев, не принимать их в расчет. Теперь даниты разнесут по всему округу всякие преувеличения, расскажут, будто вся эта губастая и горбоносая помесь периззейская, гиргасейская и бог весть какая устроила при них демонстрацию против филистимлян. Это было положительно неудобно. Но их утешило сведение, что в северном квартале уже идет порка туземных десятских; а когда появились танцовщицы, эта часть гостей и совсем успокоилась. Чтобы закончить празднества как следует, Бергам велел Дергето устроить балет; она привела свой женский

штат, усиленный на время семидневного пира двумя красавицами из Экрона, и они исполнили почти совершенно благопристойную пляску.

Филистимляне любили и умели говорить застольные речи. К концу обеда Бергам произнес приличное, радушное, хлебосольное слово; выразил радость, что видит у себя столько знатных гостей, похвалил поровну доблесть и Кафтора, и Дана; упомянул о самсоновой силе, сравнив своего зятя с каким-то богатырем из мифологии Эгейского архипелага, который голыми руками убивал львов и многоголовых драконов; пожелал ему и дочери своей такого же потомства, поклонился на все стороны и сел.

Вторым, по правилу, должен был говорить Самсон. Он сказал им:

— Благодарю тебя, высокородный Бергам, и всех вас, высокородные гости. Счастье мое велико, но об этом, по обычаю моего народа, неприлично говорить человеку даже перед друзьями; а я, хоть и рад носить вашу одежду и пить с вами вино, в важных делах жизни иду, и буду идти, по путям Дана и Цоры.

Что-то чеканное, почти вызывающее звякнуло в его голосе при этих словах. Филистимляне переглянулись между собою. Самсон продолжал:

— Но вот что можно и должно мне сказать вам: спасибо за два урока, что вы дали в эти дни мне и моим товарищам. Первое, чему они здесь научились, будет им полезно: они раньше думали, что в гонках важнее всего ноги, в борьбе и метании камней — руки; теперь они будут знать, что сила не в руках и не в ногах, а в голове. Эти мечи ваши, которых у нас — пока! — нет, режут глубоко не потому, что железо — железо, а потому, что его раньше долго ковал кузнец и долго шлифовал точильщик. Этого Дан не забудет; и когда-нибудь вы, или ваши дети, еще будете гордиться своими учениками.

Простодушный Бергам захлопал, за ним еще несколько наивных гостей; но Ахтур и его группа молчали. Ахтур облокотился и в упор смотрел на Самсона. Шакалы радостно ерзали на своих местах и подталкивали друг друга. Самсон продолжал:

— Второе, чему я здесь научился за эти дни, это — мудрость межевого знака. У туземца много идолов, но святее всех идолов для него тот камень, которым отмечена межа, отделяющая его поле от поля соседа. Он прав. Нельзя переступить межу. Межа — залог мира. Крепок лад между соседями, покуда каждый сидит у себя дома; если же начнут они ходить друг к другу в гости, быть беде. Боги создали людей разными и велели им блюсти межу; грешно человеку смешивать тех, кого боги разделили.

— А зачем даниту филистимская жена? — пробормотал кто-то вполголоса, но Самсон услышал.

— У храма Вельзевула, что в Экроне, есть пчелиное поле, — ответил он. — Ходят туда на молитву только те из жрецов, у кого от роду горькая кровь: ни пчела, ни оса, ни шмель их не тронут. Но таких мало; а для других переступить ограду пчелиного поля — значит погибнуть. Я, Тайш-Самсон, сын Маноя из Цоры дановой, рожден с горькою кровью. Я вырос среди вас; я вас люблю, и вы меня любили; мы были друзьями и, если вы хотите, останемся друзьями. Я — что рука, которую Дан протянул Кафтору из-за межи; но только одна рука, — да и ее, после пожатия, надо вовремя снова убрать за межу. А народы пусть не переходят за ограду; тогда будет мир. Мир вам, друзья мои, филистимляне!

Вызова не было на этот раз в его словах; была скорее серьезная грусть, которая многим из филистимлян проникла в душу. В конце концов, они были впечатлительные люди, склонные к чувствительности, и не злые по природе; они

поняли и невысказанный упрек в нарушении гостеприимства и правил состязательной игры, и не могли отогнать от себя сознания, что упрек заслужен. Даже друзья Ахтура потупили головы, но опять ободрились, когда увидели, что сам Ахтур остался невозмутимым и не сводил надменного недоброго взора с самсонова лица. Они закричали:

— Ахтур! Пусть говорит Ахтур!

Ахтур встал. Прежде, чем он начал, Самсон вдруг понял, что сейчас должно произойти что-то бесповоротное: конец его дружбы с этой красивой, холеной, веселой молодежью Тимнаты; и больше — конец его беззаботной юности.

Странной показалась ему новая манера Ахтура, хотя он уже знал, что связь их порвалась. Но он просто еще никогда не видел Ахтура в этой роли — озлобленного, ненавидящего, и не мог себе представить, как это будет звучать. Ахтур был всегда ровен, сдержан, полон благосклонной предупредительности; даже ирония его никогда не переходила в колючесть. Теперь он говорил по-иному, с подчеркиваниями, иногда почти грубо; видно было, что он намеренно хочет обострить столкновение. И еще видно было, что он нарочно подбирает трудные и длинные обороты речи, чтобы унизить необразованных гостей, даже Самсон не все понял.

— Как один, едва ли не младший и не последний по знатности и по уму в этом блестящем собрании гостей, и я благодарю вельможных и щедрых наших хозяев за эти семь дней изысканного гостеприимства. Здесь, на самом краю нашей земли, в маленьком городе, окруженном полудикими племенами со всех четырех сторон небосвода, они сумели перенести нас в обстановку, напомнившую нам — вовремя напомнившую! — об утонченном величии царственной древности нашего народа; о том, что даже в пустыне, и хуже того — в затхлой пещере, где ютятся бродяги,

князь остается князем; и долг его — жить по-княжески и говорить по-княжески с обитателями пещеры.

Он остановился, чтобы дать слушателям время для выражения сочувствия.

— Я был бы рад этим ограничиться, — сказал он, когда те смолкли, — ограничиться, конечно, прибавив к этим словам пожелания счастья новобрачным, — если бы друг наш Самсон не нашел нужным столь великодушно поблагодарить нас за науку, почерпнутую здесь им и его товарищами (доблестью которых мы имели счастье восхищаться три дня подряд, а изяществом обхождения — еще дольше). Как один из учителей, я обязан, конечно, соблюдать скромность; и потому выражу сомнение, действительно ли преподавание наше окажется настолько успешным, как обещает нам Самсон, — действительно ли эти замечательные ученики, или дети их, или внуки их когда-нибудь сравняются с учителями. Очень сомневаюсь; но не это главное. Главным же образом я хотел напомнить другу нашему Самсону, сыну Маноя из великого и славного города Цоры, что — если уж поминать такую мелочь, как полученные от нас уроки, — то их было не два, а три; и о самом важном, третьем, он умолчал.

Теперь Самсон смотрел на него в упор, и все остальные тоже. Даже Бергам понял, что это ссора, ссора в его доме, на его пиру, и он ничем не может ей помешать; в первый раз в жизни он растерялся и нервно дергал свою окладистую бороду.

— Третий урок был важнее других потому, что он был вами дан не только юным сподвижникам нашего друга, но и ему самому, могучему Самсону. Вы ему напомнили о чем-то, что он, очевидно, забыл, или чего не знал, — и что весьма полезно ему и всему народу его запомнить навсегда. Что он забыл эту полезную истину, доказывает одна

мелочь, — о которой, кстати, мы все чуть-чуть не забыли. Помнишь ли ты, Самсон, что еще в первый день пира ты загадал нам загадку: "Из пожирателя вышло лакомство, от свирепого осталось сладкое"? Сегодня последний срок; и я знаю разгадку. Остроумный приятель наш, филистимские вельможи, загадал нам притчу о нас самих. Он присмотрелся к нам и нашел, что мы, хотя и дети Кафтора, но недостойные дети. Были мы когда-то пожирателями, завоевателями, владыками, свирепыми с врагом; но теперь — так он думал — мы изнежились, измельчали и годимся только на лакомство: только на то, чтобы соседи из безродного племени, потомки рабов египетских и бродяг по пустыне, изредка приходили к нам бражничать, любоваться плясками — или брать в жены красивых наших сестер и дочерей!

Подавленный хрип ярости вырвался сразу из сотни глоток; каждое лицо за каждым столом повернулось к Самсону, и на каждом были морщины угрозы. Самсон хотел сказать, что это неправда, но Ахтур жестом остановил и его, и своих:

— Ты получил свой урок, Самсон; видел, измельчала ли наша молодежь по сравнению с богатырями твоего города. Затверди эту науку; и вы, друзья мои, затвердите. И нам, и им полезно помнить, кто господа Ханаана. И еще одно: самое присутствие наше здесь — порука, что мы ничего не имеем против брака одной из наших княжен с одним из правителей соседней Цоры. Это бывало и в древности: и царю Керэта или Трои случалось иногда выдавать свою дочь за князя подчиненной ему области. Это полезно; это скрепляет вассальные отношения; это увеличивает преданность вассала господину. В этом смысле — да благословят боги твой брак, Самсон, судья Дана, одной из будущих вотчин Филистии!

Тут он сел. Дьявольская ловкость этой речи была

в том, что конец ее как рукой снял всякую опасность взрыва со стороны филистимлян. Минуту назад они готовы были броситься на Самсона, но заключительный пинок Ахтура привел их в такой восторг, что гнев их растаял в ликовании и хохоте; они повскакали с мест, окружили Ахтура, жали ему руки, хлопали по плечу.

Самсон, стиснув зубы, думал тяжело и быстро. Что-то он должен сделать; сейчас. Что? Да — надо сказать, что это неправда, он не ту загадку загадал; он загадал о каком-то пустяке — мед, пчелы, дохлая пантера... Но разве в этом дело? Это теперь уже мелочь. Надо... Как Бергам, и он в первый раз на веку потерял нить своей воли. Его мысли быстро завертелись кругом да около. Откуда взял Ахтур эту притчу о сладком и свирепом? Самсон что-то вспомнил — что-то в этом роде он сказал в то утро при Элиноар...

Инстинктивно он поднял глаза и увидел прямо перед собой обеих сестер; они стояли позади гостей, с кувшинами в руках; обе смотрели на него. Элиноар вся светилась торжеством; встретя взгляд Самсона, она засмеялась и крикнула:

— Это не я рассказала Ахтуру. Я рассказала только одной Семадар — спроси ее: правда, Семадар, я рассказала только тебе, а ты — Ахтуру?

Тогда он сплелся глазами с Семадар и видел, как постепенно под его взглядом менялось ее выражение. Сначала она смотрела на него с шаловливой повинною: она, по-видимому, одна во всей толпе не поняла, что произошло; думала, что это все шутки. Но вдруг ей стало ясно, что Самсон сердится; она побледнела, открыла губы, уронила кувшин, подымая руки не то для просьбы, не то для защиты. И еще через мгновение она поняла, что Самсон не только сердится, но он глубоко потрясен, случилось что-то большое, страшное, неисцелимое... А Самсону вдруг все это стало безразлично и противно. Одна девчонка солгала,

другая выдала... грязь, ложь, предательство — к чему спорить? о чем с ними всеми говорить? Прочь!

Он поднялся и крикнул изо всей силы:

— Has!

Это грубое слово, это значит: молчать.

Редко он разворачивал свой нечеловеческий голос до полной ширины, как на этот раз; большинство из присутствующих никогда этого голоса и не слышало и не подозревало, что бывают такие объемы звука. Возглас его ударил по всей массе воздуха как бы сразу со всех сторон; за версту и дальше от бергамова дома, в городе, он прервал гомон туземной черни; сторожа, избивавшие десятских, на минуту остановились, подняв толстые хлысты и встревоженно оглядываясь; а в саду Бергама замолчали птицы в листве на мгновение и люди надолго; только шакалы шарахнулись от своего стола и стали двумя рядами за Самсоном; все остальные не шелохнулись, только повернули головы. Не одна неожиданность грохота была в этом окрике, но и другое: что-то от Самсонова роста, от его плеч, вдвое шире спины любого человека, от тяжелой шеи, на которой казалась маленькой косматая голова, от гранитных мускулов под волосатой шкурою рук — весь облик Самсона был в этом реве, напоминание о нечеловечьей, фантастической силе, против которой безумием было бы поднять руку.

— Прощай, Тимната, — спокойно сказал Самсон среди полной тишины. — Больше вы меня гостем этого города не увидите; от вас зависит, чтобы не увидели меня врагом. Кому править Ханааном — это решится не на пиру, и не словами. Пока — разойдемся за межу; ваше — ваше, мое — мое. Что мое, то я отберу, когда придет время... когда мне захочется. Что ваше, то вы получите. Заклад я уплачу. Я его не проиграл; загадка моя была совсем не та; но это не важно — моей телицей вы пахали, мне и платить за потраву. Что это было? тридцать

плащей из расшитого шелку? Вы их получите; и вышивка на них вам понравится: это будет работа не наших, а ваших искусниц. Прощай, Тимната — и помни о меже: не переступишь.

Он повернулся к тестю:

— Прощай пока, Бергам, — сказал он. — Ты хороший человек, и не твоя это вина. Вина моя: прости меня.

Семадар к нему подбежала, протянула руки, хотела что-то сказать. Он отмахнулся, как от шмеля:

— Иди прочь от меня, — проговорил он негромко, но отчетливо; все слышали. Бергам побагровел и начал было слово; но Семадар, плача, бросилась ему на грудь, и он занялся ею.

Самсон пошел, и шакалы за ним; Ягир впереди, Нехуштан, доедая сочную фигу, последним.

* * *

Дом Ахтура был тоже за городской стеною, но много дальше от города, к западу, у самой дороги в Аскалон.

Дней через десять, поутру, дворецкий его нашел на крыльце аккуратно увязанный тюк; в нем оказалось тридцать шелковых накидок, какие филистимляне надевали по праздничным случаям; не все были новые, но все хорошей работы.

У Ахтура не было сомнений, что накидки филистимские и что Самсон кого-то где-то ограбил. Но так и до самой смерти своей не узнал он, где и кого: под Аскалоном, в загородный дом местного сановника, поздно вечером, во время многолюдного званого пира, ворвалась шайка с великаном во главе; они убили несколько стражников и рабов, поколотили и раздели хозяина и гостей и пропали бесследно.

Глава XV. ВО ДНИ СУДЕЙ ИЗРАИЛЬСКИХ

Из Аскалона Самсон вернулся прямо в Цору, ко времени жатвы. После уборки, взяв с собой Ягира и Нехуштана, он ушел, как обещал, в обход селений Дана разбирать тяжбы.

В самом деле, мала и тесна была Данова земля и оттого полна раздоров. "Дан судит и рядит", насмехались соседние колена. В каждой деревне была ссора из-за того, что сосед у соседа ночью передвинул межевые знаки. На каждой десятой корове лежало обвинение в потраве. Вообще, земледельцы ненавидели скотоводов. "Для малого стада, — жаловались они, — нужно столько земли, что посеи на ней пшеницу — прокормишь целую деревню". Была округа, где человеку в шерстяной одежде опасно было показаться среди пахарей, а человеку в рубахе из льна — среди пастухов; если же забрел бы туда чужак, не знающий местной злобы, в платье, сотканном из смеси льна и шерсти¹⁶, плохо пришлось бы ему среди тех и других. Скотоводы еще были не так свирепо расположены — вероятно потому, что их было меньше, и они реже селились скопом; но у земледельцев убить тайком пастуха не считалось за грех.

Такого убийцу привели к Самсону в Айялон. На сходке вокруг судьи пастухи столпились с одной стороны, земледельцы с другой, как два лагеря. Самсон посмотрел на тех и других и сказал:

— Если затеете драку, перебыю всех без разбору. Вызывайте свидетелей.

Убийца, коренастый человек, очень спокойный, отозвался:

— Никаких свидетелей не нужно. Я его убил, точно так, как рассказали тебе эти чертовы дети, — он указал на пастухов. — И второго убью, если поймаю козу на своем винограднике. Сам Бог велел истреблять скотоводов.

Самсон усомнился в этом, но во стане земледельцев многие закивали головами. И обвиняемый, с глубочайшей и невозмутимой убежденностью, рассказал назорею предание о том, как в древности землепашец Каин убил овцевода Авеля, и другие пастухи устроили было на него облаву; но тогда сам Бог послал к ним ангела заявить, что за каждого убитого пахаря чума поразит семерых из пастушьего отродья; а если они тронут Каина, совершившего такое хорошее дело, то за него одного умрут семьдесят семь скотоводов¹⁷.

Самсон предложил семье убитого на выбор — побить виновного камнями или взять выкуп; посоветовавшись со своими, старший сын предпочел выкуп, чтобы не плодить кровавой мести в округе.

— Не дам выкупа, — упрямо сказал убийца, — Иегова запретил кормить эту саранчу.

Самсон взял его за правую руку и стиснул ее; почитатель Каина несколько минут извивался, бранился и вопил от боли, но под конец сдался и простонал:

— Дам выкуп — будьте вы прокляты с судьбою вместе!

* * *

Среди самих скотоводов было тоже неладно. Те, у которых были коровы, ненавидели тех, что разводили овец; ругали овец той же бранью — "саранча". В Шаалаввиме, где недавно Самсон

оказал услугу овцеводам, волопасы на него за это косились; но оказалось, что и овцеводы им недовольны. Как и староста их Шелах бен-Иувал, они все находили, что не следовало отбирать у херешанских грабителей все украденное стадо целиком: часть надо было оставить ворам, не то в утешение, не то в виде взятки. Теперь уже больше месяца не видно было в Шаалаввиме гостей из вениаминовой земли, а прежде они приходили часто: иногда, правда, воровать, но иногда и торговать. Словом, все были сердиты на Самсона.

Самсон выслушал эти жалобы, ничего на них не ответил и сказал:

— У меня мало времени. Вы меня звали придти к вам судить. Есть у вас тяжбы?

Оказалось, что в этом селении скотоводов вообще никто не хочет идти к нему на суд — кроме двух братьев, занимавшихся, в виде исключения, хлебопашеством и потому не имевших на него досады.

Братья были непохожи друг на друга. Старший говорил много, быстро и злобно, размахивал руками, сверкал глазами; младший держал себя скромно и молчал, покуда его не спрашивали. Первым выступил старший:

— Мы, собственно, не здешние уроженцы, — заговорил он, — покойный отец наш переселился из Баалата...

Самсон коротко прервал его:

— Начинай с конца.

Жалобщик удивился.

— Как так с конца?

— Начинай прямо с жалобы; об отце ты расскажешь, когда я тебя спрошу об отце.

— Но... ведь поле это купил наш отец...

— О чем спор?

— О дележе урожая, — ответил тот.

— Рассказывай.

— Поле мы вспахали и засеяли вместе; но во

время жатвы поссорились и порешили разделиться. Поле пополам, на это оба согласны; но как быть с урожаем?

— Почему и урожай не пополам?

Старший закричал:

— Потому что он ничего не делал; и пахал, и сеял, и жал один я. Урожай мой!

Самсон спросил у второго:

— Правда это?

— Нет, — ответил младший, — оба мы работали поровну. Половина урожая — моя.

Самсон спросил:

— Есть свидетели?

Кроме жен, свидетелей не было: братья эти были единственными земледельцами в Шаалаввиме; никто их работы не видел; а жены не в счет.

Самсон помолчал; внимательно посмотрел на обоих братьев; потом оглянулся на стариков, которые только что укоряли его за то, что не оставил вора́м подарка; и вдруг спросил у старшего:

— Ты говоришь: весь урожай твой?

— Весь. Потому что брат мой с самого детства...

— А ты что говоришь?

— Я по справедливости: половина его, половина моя.

— Значит, — сказал Самсон, — об одной половине спора нет: оба согласны, что она полагается старшему. Спор только о второй половине: ее мы и разделим поровну. Три четверти урожая — старшему, а младшему четверть. Ступайте.

Старший радостно загоготал; младший побледнел, но поклонился и хотел пойти. Тогда старики зароптали: один из них тронул руку Самсона и сказал ему тихо:

— Мы их хорошо знаем: старший лжет; он известен как человек негодный.

— Я это вижу, — громко ответил Самсон и обратился к младшему.

— Брат твой — обманщик; но ты — глупец, а это еще хуже. Сказал бы ты тоже: "Весь урожай мой", — получил бы свою половину. Когда бьют тебя дубиной, хватай тоже дубину, а не трость камышовую. Ступай; впредь будь умнее и научи этому остальных людей твоего города: им это пригодится.

Старики опустили головы, кроме желтоседого Шелаха, который смотрел на Самсона с любопытством.

— Ты судишь по-новому, — прошамкал он. — А вот есть у нас еще один случай, похожий на этот. Приведи сюда Этана и Катана, — сказал он одному из сыновей, сопровождавших его, — скажи, что это я приказал.

Этан и Катан пришли неохотно — они были скотоводы.

— Эти шли дорогой, — объяснил Шелак, — и нашли приبلудную ослицу. Пришли ко мне судиться. Я спрашиваю: "Кто первый увидел?". Каждый говорит: "Я". "А кто первый схватил?". Каждый говорит: "Я". Как быть?

Самсон спросил:

— Верно рассказал мне Шелак бен-Иувал?

Оба кивнули головою.

— Разрубите ослицу пополам, — велел Самсон, — каждому полтуши и полшкуры.

Старики засмеялись этому, как неумной шутке; но Этан поднял голову, кивнул Самсону и сказал:

— Ты мудрый судья, цоранин. Если не мне, то и не ему.

— А ты что скажешь? — спросил Самсон у Катана.

Катан был человек рассудительный.

— На что мне пол ослиной шкуры? Коли так, можете отдать ее кому угодно, хоть ему — пусть он на ней женится, если хочет.

Самсон плюнул.

— Глупая тварь осел, — сказал он, — но ты осел из ослов. Рад бы и решить это дело в твою пользу — ты, видно, добрый хозяин, умеешь жалеть скотину: но раз ты сам уступаешь, спор кончен, и судье нечего делать. Ослица за Этаном. Иди; и впредь никогда не уступай.

Старики были опять недовольны; только Шелах бен-Иувал проговорил, как бы сам себе:

— Судит он, как неуч, но человек он мудрый.

А в народе с того дня пошла поговорка: "осел из ослов" — "хамор-хаморотаим" — про каждого, кто из чремерной честности сам себе выкопал могилу.

* * *

В Модине — тогда он еще носил другое имя — пришел к Самсону туземец с молодой дочерью. Муж ее, данит, велел ей накануне забрать свою одежду и годовалого ребенка и вернуться в дом отца. Туземец утверждал, что для развода нет причины; женщина была беспорочна, и сам муж не обвинял ее ни в изменах, ни в сварливости, ни в неряшестве.

Дело это оказалось сложным. Данита вызвали, и он, хоть запинаясь, но с глубокой убежденностью объяснил, что жениться на туземке — грех.

— Зачем же ты женился?

— Я тогда не знал, что грех.

— А откуда знаешь теперь?

Оказалось, что близ Модина, в пещерах, поселилась недавно банда пророков, и они ему растолковали, что нельзя смешивать кровь израильскую (он так и выразился "израильскую", хотя слово это было неупотребительное в его скромном сословии) с кровью низких племен. Один из этих пророков сам пришел на суд и хотел было произнести речь; но Самсон и ему сказал коротко

— "начинай с конца", и тот смешался и ничего не ответил, ругаясь вполголоса.

Браков таких было много и в Модине, и повсюду. Давно прошло время, когда завоеватели селились на холмах, оставляя покоренным племенам долину, ничего не делали и отбирали у туземца лучшую половину его жатвы. С тех пор на даровых хлебах Дан расплодился, а туземцы, голодая, вымирали и разбегались — пока, уже много поколений назад, некому стало кормить завоевателя. Тогда пришлось даниту спуститься в долину, взяться за соху или за пастуший посох и учиться у захудалого туземца. Так создались смешанные деревни, некоторая сфера общей жизни — и в домах Дана стали появляться наложницы, потом и жены, с покатыми лбами, с глазами навывкате, со страстной полнотою губ; часто посвоему красивые, но всегда более послушные и всегда лучшие кухарки, чем гордые девушки из потомства Валлы¹⁸.

Суд этот принял отчасти характер богословского спора. Данит, наслушавшийся пророческих речей, привел длинный ряд заповедей и притч, по которым выходило, что сам Иегова, наместник его Моисей и славный воевода Иисус Навин запретили коленам брать ханаанских жен. О Моисее Самсон никогда не слышал, о Навине ему кто-то когда-то рассказывал; он зевнул и спросил:

— Мало ли кто что запретил, когда и деда твоего еще не было на свете; надо знать, почему?

— Это чужие девушки ввели к вам чужих богов! — кричал пророк из толпы.

Самсон повернулся к нему.

— Эй ты, бездельник, — сказал он, — вокруг меня вьются комары. Отчего ты их не отгоняешь?

— Сам отгоняй, — дерзко огрызнулся дервиш, — мало тебе твоих медвежьих лап?

— Верно, — признал Самсон. — Есть у меня свои руки; мне подмога не нужна. И Иегове не

нужна. Покуда он сам терпит Астарт и пенатов — ты чего вмешиваешься?

В толпе, где было много туземцев, засмеялись от ловкого ответа.

— Кровь наша — избранная, — говорил данит, — она — что вода из родника; нельзя лить ее в лужи на дороге.

А Самсон ответил:

— Мы не вода; мы — соль. Вода — это они; ударь по воде рукою, расступится. А брось пригоршню соли в бочку воды, не соль пропадет, а вся бочка станет соленой.

Тот опустил голову и не знал, что возразить. Самсон присмотрелся к нему: был он очень молод, из себя румяный и пухлый, со смачными губами: сам, очевидно, от туземной прабабки.

— Женщина, — сказал Самсон, — иди домой. Навари чечевицы с чесноком и тмином, прожарь на вертеле козленка, в самую меру, чтобы жирок не перестал капать, вареники посыпь шафраном и корицей и выкупай три раза в мед; и накрой стол чисто. Он вернется.

Она побежала, держа ребенка под мышкой.

— Твои пророки живут в пещерах, — сказал Самсон мужу, — не строят, не пашут, не пасут. Хочешь — поселись с ними: будешь тогда считать звезды и печалиться, что не так они размещены в небе, как тебе хочется. А кто выстроил дом, у того другие заботы. Ступай домой.

Когда они шли из Модина, Ягир сосредоточенно молчал. Как всегда, Самсон прочел его думу; он и сам с горечью думал о том же; и он отозвался ему и себе:

— Может быть, в самом деле прав тот голый пророк.

— А ты рассудил против него, — тихо и укоризненно сказал Ягир.

Самсон помолчал, потом спросил его:

— Случалось тебе тащить мешок зерна? Когда

наполнишь его, сразу не взвалишь на спину: раньше надо его утрясти, чтобы зерно осело и не болталось. Что такое город или страна? Мешок, наполненный людьми. А судья, или царь, или саран должен его трясти, пока все не приладутся друг к другу — и правые, и неправые. Шелах бен-Иувал из Шаалаввима сказал мне умное слово: и правду нельзя подавать к столу полными тарелками.

Долго они шли молча; солнце село, полевые шакалы расплакались от радости, что скоро можно будет войти ужинать на виноградники. Самсон опять заговорил:

— Периззеи, гиргасеи, хиввеи... Что же, всех перерезать?

— За что? — спросил Ягир. — Кого они обидели?

— Или торчат им среди нас навеки, словно кость поперек горла? Проглотить надо кость — благо она стала мягкая, словно хрящ у барашка.

— И филистимляне — хрящ? — шепнул Ягир.

Самсон покачал головою.

— Кафтор не кость; Кафтор железо; его не проглотить. Значит — или мы, или они.

Ягир, как и все в то время, иногда тоже умел говорить образами. Он сказал с досадой:

— Кафтор железо, Дан камень; сведи их — будет огонь, и земля загорится.

Самсон остановился, расправил могучие руки, потянулся и ответил бодро и весело:

— Так и надо!

Нехуштан, не принимавший участия в этой беседе, только весело засвистал.

* * *

После Модина стали к нему повсюду приходить туземцы, прослышав о мудром судье. Сначала он отсылал их: согласно обычаю, они по своим дразгам должны были судиться у собственных старост. Но оказалось, что у них уже и старост

иногда нет: просто забыли выбрать, живя изо дня в день. Пришельцы взяли у них землю, язык, обычай, искусство, богов, а под конец отобрали у них и самую волю жить по-своему: как воробей, заглядевшийся на змею, они без ропота, может быть, и не без охоты, дожидались поглощения.

Тяжбы их были несложны, сводились обычно к простой краже или обману, а приговоры Самсона к палкам и пене. Об одном случае, однако, сохранилось предание.

В Гимзо, на самой границе, где ханаанейское население было крупнее, потому что здесь селились иногда беженцы с филистимского побережья, была застарелая ссора между двумя соседями. Были это зажиточные люди, а потому их стычки волновали одноплеменников: туземцы охотно и грубо ругались между собою, но драк не любили. К Самсону пришло посольство просить, чтобы он помирил врагов. Враги оказались оба рослые, крепкие, без обычной тупости в глазах — может быть, с отдаленной примесью филистимского налета в крови.

— Жалуйтесь по очереди, — велел им Самсон.

Жалоб у них друг на друга было много, но все мелочи — Самсону стало скучно.

— Часто они дерутся? — спросил он у свидетелей.

— Чуть ли не каждый день приходится их разнимать, — ответили те.

— Отойдите в сторону, — сказал он свидетелям. Они расступились направо и налево; враги остались посередине. Самсон вдруг закричал:

— Бей его!

Каждый из двоих принял этот приказ на свой счет; они замолотили кулаками, лягали друг друга, катались по земле, вцепившись один другому в бороды, а Самсон их по очереди подстрекал. Постепенно увлеклись и туземцы и тоже начали подбодрять то одного, то другого. Под конец оба

выбились из сил и поплелись домой, то и дело опираясь друг на друга.

— Теперь будет у вас покой, — сказал Самсон. — Вся беда в том, что вы их разнимали. Всегда надо людям дать додраться.

Только одна группа туземцев не пришла к Самсону и вообще держалась особняком и от данитов, и от ханаанеян. В Хересе, у развалин храма, где когда-то вымершее племя поклонялось солнцу, жили в землянках аморреи. Высокие, с тонкими чертами лица, они промышляли огородничеством и охотой; женились только между собою; говорили мало, но по вечерам пели заунывные рифмованные песни; даниты их считали ворами и волшебниками, но избегали с ними ссориться, боясь неизвестно чего...

Настоящую племенную ненависть Самсон нашел только в Эштаоле. Здесь, в особом селении за городской стеною, жили переселенцы из колена Иуды, и каждый год их становилось больше. Даниты их терпеть не могли. Иудеи жили замкнуто, никого не обижали; между собою вечно о чем-то спорили и бранились; но у них были свои старосты, которых они слушались беспрекословно; и когда умирал староста, ходили судиться к его сыну. Занимались они больше всего торговлей, а женщины ткали шерсть на продажу — и шерсть получали из Иудеи, обходя местных овцеводов. И опять услышал Самсон от данитов то же бранное слово: саранча...

Месяц это продолжалось; и каждую ночь перед сном он думал и тосковал о Семадар.

* * *

Пытки Самсон почти никогда не применял — не приходилось: вид его и слава о его силе сами

по себе достаточно пугали упиравшихся. Кары его были жестоки, и трех человек он велел побить камнями.

Когда он кончал обход, влиятельные люди повсюду были им, в общем, недовольны. Он судил не по обычаю; и сам, будучи молод, обычая не знал и со стариками не хотел советоваться. Он слышал об этом недовольстве; и, вернувшись в Цору, сказал:

— Я к ним больше не пойду; если я им нужен, пусть приводят своих воров и спорщиков сюда, к воротам Цоры.

Впоследствии — хотя не сразу — так оно и было. Не проходило месяца, чтобы к воротам Цоры не приводили издалека связанного преступника или не приходили, с толпою пыльных свидетелей, истец и ответчик; и Самсон их судил по законам своей дикой мудрости и учил Дана суровой жизни волка среди волков.

Но до того еще много произошло других событий.

Глава XVI. ФОРМУЛА

Самсон провел несколько дней дома. На этот раз он не говорил даже с отцом; не показывался на улице и обыкновенно от зари до ночи, прямо через калитку в городской стене, уходил бродить. Уходил он на север, в обратную сторону от Тимнаты. Однажды, недалеко от пастбища, мимо него прошла Карни со своей служанкой, но он не заметил.

Никогда в жизни он не знал, что такое голод; а теперь он голодал по Семадар. Вся его громада мышц и нервов, от темени до пальца на ноге, изнывала и молила о ее прикосновении; но еще горше томилась его душа по ее русалочьим выходкам, по ее десятиструнному голосу; все то чужое, чудесное, необходимое, как вода в жаркий день, что было в ней, сверлило его память без перерыва. Он чувствовал у себя на шее невидимую веревку, туго натянутую; куда бы он ни повернулся, она оставалась натянута. Иногда ему казалось, что он кричит вслух; только по молчанию воздуха, или отца и матери, когда это случалось дома в бессонную ночь, Самсон догадывался, что и он молчит. Часто ему казалось, что надо изо всей силы стукнуть кулаком по стене — стена развалится и он увидит то, что ему нужно, войдет и схватит и утонет в неслыханной радости. Самсон был очень несчастен в эти дни.

Аццельпони его ни о чем не спрашивала. Но однажды она велела рабам выстроить новое крыло у дома; целую неделю она бранила и била их,

и через неделю пристройка была готова. Тогда, стиснув бледные губы, она занялась убранством нового жилища; развесила по стенам лучшие свои шелка, разложила на полу цыновки и те шкуры, что прежде когда-то сын ей приносил с охоты; устроила постель, какой никто никогда не видал, на подставках; даже принесла из божницы расписной глянцевитый кувшин и поместила его на видном месте — она помнила, что в спальне у той проклятой чванной барыни, где повивальная бабка при ней так бесстыдно поворачивала во все стороны голую Семадар, был такой кувшин и в нем зеленые ветки с цветами. Когда все было готово, она ничего не сказала Самсону; он тоже ничего не сказал, но взял ее на мгновение за руку и посмотрел ей в глаза взглядом малого ребенка, который заблудился в лесу, натерпелся страхов и холода, проголодался — и теперь мать его нашла, умыла и ведет в теплую комнату накормить.

В ту же ночь он ушел, на этот раз по южной дороге. Он поклялся, что не придет больше гостем в Тимнату, но дом Бергама был за стенами Тимнаты. Он далеко обогнул город; в холмах, перед зарей, ему попала серна с детенышем. Обе от него побежали; маленькая козочка показалась ему тоненькой и беспомощной, как — как девушка, к которой протянул руки в первый раз великан жених. Он сбил старую лань камнем, догнал и подобрал младшую и осторожно понес ее живую на руках, заглядывая в детские, испуганно-доверчивые глаза. Так лучше, идти мириться надо с подарком; и Семадар любила малых зверят.

Рассветало, когда он постучался у дверей Бергама. Плана, что сказать и сделать, у него не было.

— Разбуди мою жену, — велел он оторопелому рабу.

Тот дрожал и не находил слов.

— Я... я позову господина, — проговорил он наконец.

— Не нужен мне твой господин, — ответил Самсон, — я за женою.

Мимо отшатнувшегося раба он прошел в переднюю, направляясь к ее комнате — к их комнате. Он откинул занавеску и заглянул с порога. На постели спала девушка с черными волосами: не Семадар. Больше никого не было.

— Где теперь комната Семадар? — спросил он нетерпеливо.

— Госпожа Семадар... госпожи Семадар нет, — бормотал раб, — она не здесь... Я скажу господину.

И он со всех ног бросился куда-то во внутренние покои. Самсон стоял посреди широкой передней, постукивая ногою по плитам; он сам не заметил, что стиснул козочку, и она жалобно закричала. На той двери шевельнулась занавеска, выглянула Элиноар и опять опустила тяжелую ткань. Он не заметил и обернулся только на шлепанье босых пят Бергама.

Бергам не успел обуться, но это был единственный недочет в его внешности. Борода его была в таком порядке, как будто он и во сне ее поглаживал; волосы тоже; купальный плащ, поверх ночной одежды, падал ровными складками. Он был одет точно так, как полагается быть одетым на заре тестю, когда зять неожиданно врывается в дом через месяц и больше после ссоры; по-видимому, в неписаном тысячелетнем кодексе его было ясное правило и на этот случай, как и на все другие случаи. И манера его была такая, как полагалось при подобных обстоятельствах; нисколько не удивлен; не сердит, но нельзя сказать, чтобы радовался; приветлив, несколько сдержан и вообще спокоен. Самсон заметил только одно: что тесть на него не хмурится. Улыбнувшись до ушей, он просто сказал:

— Здравствуй, Бергам. Где Семадар? Я пришел

взять ее в Цору. Моя мать выстроила для нее дом; маленький, но точь-в-точь такой, как у тебя.

Бергам пожал ему руку, что было несколько неудобно из-за маленькой серны, и ответил:

— Очень рад тебя видеть в добром здоровье, Самсон. Не отдашь ли свою ношу Пелегу? Возьми козленка на двор, Пелег, и дай ему молока; травы не давай — он еще маленький. И вели подать в мою спальню вино, мед и пряники. Милости просим ко мне, дорогой гость.

"Гость?" — подумал Самсон, но не высказал. Его, как всегда, победила круглая законченность этого обхождения; кроме того, ему было не до пустяков.

— Где Семадар? — спросил он, идя за Бергамом.

— Прежде всего, — ответил Бергам, — сделай мне честь и присядь. Вино сейчас подадут. Не хочешь ли умыться? Ты, по-видимому, провел всю ночь в дороге.

Самсон потерял терпение; повел плечами, чтобы снять с себя обаяние чужого обычая, и сказал резко:

— Это все потом. Я спрашиваю, где Семадар; и ты отвечай, где Семадар.

Бергам и к этому слогу беседы оказался подготовлен. Он ничем не показал, что резкость ему не нравится; на деловой вопрос он деловито ответил:

— Она не в моем доме.

— Где она? Я пойду за нею. Здесь, или в Экроне, или опять у твоих родственников в Газе? Я пойду за нею. Моя мать выстроила для нее дом; ей будет там так же хорошо, как у вас.

Они смотрели прямо друг на друга; Самсон заметил, что в лице Бергама выразилась некоторая степень умеренного удивления. Ему вдруг стало жутко: сейчас произойдет что-то непонятное, невероятное, невозможное.

— Я, должно быть, не так расслышал, — сказал Бергам, разводя руками, — но мне кажется, что

ты уже во второй раз упоминаешь о намерении пригласить мою старшую дочь в Цору, в дом твоей матери?

Самсон нагнулся, крепко взял себя обеими руками за колени и проговорил негромко и отчетливо:

— Ты перестань шутить, старик. Не в дом моей матери, а в мой дом; не твоя старшая дочь, а моя жена.

При слове "старик" Бергам заметно нахмурился. Грубость недопустима; раз дошло до грубости, то разговор, по его правилам, должен впредь вестись — если он неизбежен — без обиняков, принятых только в беседе между одинаково благовоспитанными людьми. Так же отчетливо он ответил:

— Около месяца тому назад, в этом самом доме, при сотне полноправных свидетелей, ты сказал моей дочери: "Поди прочь".

У Самсона проступила поперек лба темно-синяя жила, глаза ушли глубоко под брови, скулы и подбородок напряжились; но он ничего не сказал, потому что в эту минуту вошел раб с подносом.

Слуга ушел. Бергам сделал было движение передать Самсону кубок, но тот не шевельнулся и ждал. Бергам продолжал:

— За несколько дней до того я счел долгом познакомить тебя с основными началами, по которым определяются права и взаимоотношения супругов на филистимской земле. Я тогда же точно и сполна перечислил тебе все восемь формул, какие могут быть произнесены для расторжения брака. Седьмая формула именно гласит: "Поди прочь".

Лицо Самсона постепенно изменилось. Жила побледнела; брови поднялись, глаза округлились и немного выкатились; натянутые мышцы от висков до молодой бороды разомкнулись; и вдруг он расхохотался совершенно искренне и беззаботно.

— Что же, — спросил он сквозь смех, — значит, по-вашему, я с нею развелся?

Бергам ответил:

— Я бы не назвал этого "разводом" в собственном смысле слова. Развод учиняется со взаимного согласия; при этом применяется одна из первых четырех формул. Последние четыре формулы употребляются при одностороннем акте отвержения, когда муж по собственной воле изгоняет жену. Я оставляю пока в стороне оскорбительный, и в данном случае совершенно незаслуженный, характер того способа расторжения вашего брака, который ты избрал; но брак ваш расторгнут.

Самсон перестал смеяться, но глядел на Бергама ласково, как старший на ребенка.

— Полно, тесть, — сказал он, — все это мелочи. Поведи меня к ней, мы помиримся; и у тебя, если хочешь, я прошу прощения. Ты хороший человек, я хочу остаться твоим другом.

— Поверь мне, — ответил Бергам, — и я дорожу твоею дружбой; но я боюсь, что ты не понял сути вещей. Тимната живет по законам Кафтора. Расторгнутый брак расторгнут.

Самсон вскочил:

— Веди меня к ней, — сказал он коротко, тоном приказа.

— Ты не можешь пойти к ней. По нашему закону, да, верно, и по вашему, отвергнутая жена не лишается права вступить в новый брак. Семадар живет в доме своего мужа.

— Мужа?! — заревел Самсон.

— Она вышла замуж за твоего приятеля Ахтура.

Самсон поднял оба кулака и хрипя двинулся на Бергама.

Это было тоже предусмотрено в кодексе его бывшего тестя. Бергам не двинулся с места, не бросился к стене, где висело разное оружие — знал, что это бесполезно; не позвал на помощь. Он

скрестил руки; его лицо вдруг приняло выражение надменного отвращения; и он сказал:

— Ты меня называл "стариком"; и ты в моем доме. Самсон остановился, тяжело дыша.

— Станный обычай у Дана, — продолжал Бергам, глядя на него сквозь прищуренные ресницы, — и я не жалею, что мы снова чужие.

Самсон уже не слышал. Ветер выл со всех сторон вокруг него, ливень хлестал по лицу, горы валились, одна за другой, ему на голову; одна за другой совершались над ним дикие, сумасшедшие вещи, которых никогда не бывает в жизни; сто человек держали его за горло и душили, еще сто рвали волосы, еще сто колотили по голове. Никто его на деле не бил, и сам он стоял, почти не шевелясь, только мотал головою и сжимал и разжимал пальцы; но буря его и метания чувствовались так ясно, что Бергам, дожидаясь, чем это кончится, дивился несдержанности простого люда, который выставляет напоказ переживания, подлежащие сокрытию.

В дверь заглянула Амтармагаи, за нею два встревоженных раба; Бергам сделал им знак — не беспокоиться и оставить его с гостем наедине. Самсон ничего не видел. Постепенно припадок его прошел; он сел на высокую постель и задумался, не обращая внимания на хозяина. Дума у него была одна: это неправдоподобно, таких вещей не бывает. В его жизни до сих пор не было ни одного горя, в его среде тоже; никто близкий не болел, не умирал, не знал лишений. Самсон никогда и вблизи не видел страдания; правда, только недавно люди перед ним плакали на суде, но то было не в его кругу, то все было как-то за оградой. Раз он видел человека, у которого болели зубы, и не мог понять, что с ним. Теперь боль торчала в его собственном мозгу; сколько ни отпрыгивала мысль, останавливаясь на пустяках, на цвете подушек, на стенной живописи, — она сейчас же возвращалась обратно к его

потере. Вдруг он сообразил, что Бергам уже давно стоит над ним и говорит что-то утешительное, держа руку у него на плече; но в то, о чем он толкует, еще нельзя было вслушаться. Самсон прервал его посередине и спросил тоном не обиды, а жалобы, тоном побежденного:

— Разве это справедливо — схватить неосторожное слово, на пиру? Я иноземец, ничего не знаю о вашем законе; я не запомнил твоей науки о мужьях и женах. Это несправедливо.

Бергаму пришло в голову, что он прав; но в кодексе Бергама был другой готовый ответ — его он и произнес:

— При этом было сто человек. Слово есть не то, что сказал говорящий: слово есть то, что услышали слушатели. Брошу я камень в небо: упадет на землю — я пошутил; упадет человеку на голову — я убийца. Обмолвка наедине — обмолвка; обмолвка на людях — приговор.

Самсон его не слушал; Бергам принял его безучастие за согласие, был этим искренно удовлетворен и охотно и широко распахнул перед юным варваром уютные, плоскодонные заводи своей мудрости. Он говорил долго, благоразумно, толково. Нельзя так огорчаться из-за женщины; вообще ни из-за чего нельзя огорчаться. Мир, в сущности, есть большая детская, полная разных игрушек; они называются — поцелуй, богатство, почести, здоровье, жизнь. Надо учиться у детей: сломалась одна игрушка — поплачь минуту, если хочется, а потом возьми другую и успокойся. А придет вечер — бросай все и ложись спать, не брыкаясь: сон, то есть смерть, тоже игрушка, вероятно, не хуже других. Главное одно: чтобы дети всегда были чисто умыты и не кричали слишком громко.

Не самые слова его, но журчанье их стало понемногу проникать в сознание Самсона. Что-то в этом роде он знал и любил; ради этой мудрости

он и ходил к ним в Тимнату; это самое он говорил тогда Карни, сестре Ягира, или, если не говорил, то думал.

А Бергам продолжал журчать. Конечно, любовь — упрямая прихоть; человеку иногда чудится, будто нет для него на свете другой женщины. Но это только чудится. Так иногда проголодаешься в пути, и кажется тебе: хорошо бы теперь полакомиться бараниной. Дошел до постоянного двора. Есть баранина? Нет. Ужасно жаль. А что есть? Только вареное просо. Делаешь гримасу. Но — так и быть, подавай просо. Начинаешь есть — оказывается, и просо вкусно; и поев — ты уже и забыл о баранине. Суть в аппетите; то блюдо или иное — это только прихоти. Молодости свойственна и прилична страсть; но выбор велик...

После этой притчи Бергаму вдруг пришла в голову гениальная мысль; пришла, точнее говоря, не "вдруг", а по самой законной связи представлений. Баранина и просо; кухня; вторая жена его, аввейка, превосходно стряпает; она мать Элиноар; Элиноар! Продолжая утешать Самсона, он в порядке спешности обдумал эту идею со всех сторон, то есть с тех сторон, с которых она могла касаться его самого и его дома. Девица подросла; характер у нее неудобный; выдать ее замуж в кругу филистимского дворянства, здесь, на окраине, где все они так помешаны на чистоте расы, будет нелегко; с другой стороны, именно ввиду ее происхождения, брак ее с иноземцем не вызовет тех недоразумений, которые получились из первого опыта; тем более, что родители Самсона ведь построили в Цоре дом для его жены, что с их стороны чрезвычайно разумно. Во всех отношениях отличный план. И, над понуренной головой Самсона, он осторожно и деликатно коснулся этой новой мысли. Отцу, конечно, непристойно выступать сватом собственной дочери; но ввиду

их дружбы, и... кхм... создавшихся обстоятельств, некоторое отступление от правил может быть допущено. Он, Бергам, не знает, заметил ли его друг, что в этом доме есть еще одно юное женское сердце, плененное его доблестями; но от отцовского глаза это не укрылось. Это чувство однажды — кажется, по случаю прихода Маноева домоправителя — выразилось даже в таком сильном припадке ревности, что ему, Бергаму, пришлось распорядиться о применении строжайших воспитательных мер. Вместе с тем, он, без особого хвастовства, может сказать, что когда-то в молодости считался знатоком женских очарований и не совсем еще забыл ту науку; и он, Бергам, берет на себя смелость утверждать, что младшая дочь его по красоте вскоре далеко превзойдет старшую. Для опытного взора уже и теперь в этом нет сомнений. Быть может, плечам ее недостает той мягкой покатости, напоминающей изгибы лучшего кувшина критской работы; но бюст ее выше поставлен и дольше продержится на желательной высоте, а бедра и лядвеи, когда созреют...

Самсон по-прежнему не слушал; его мысли вообще стали неясны. Вдруг он сделал неожиданную вещь: сразу, как будто сломавшись, свалил голову на подушку, поднял ноги на постель и прежде, чем успел их уложить, заснул; не зевнув, не потянувшись, заснул, как будто сквозь землю провалился. Бергам, конечно, не обиделся, но плечами пожал; все это было для него ново, отчасти даже любопытно, как если бы довелось близко наблюдать, скажем, случку медведей. Он вспомнил, что в детстве у него была любимая собака; она сломала ногу, и раб-костоправ долго возился над починкой; собачка все время выла, но как только врач затянул последний узелок, она тоже сразу уснула, на половине последнего визга.

Бергам тихонько вышел. В передней были обе его

жены и целый отряд рабов, на случай опасности. Он распустил челядь, а с женами устроил совет. После совета Элиноар было приказано часто наведываться к спящему и, когда проснется, прислуживать ему.

* * *

Самсон проспал утро, день и вечер. Ему ничего не снилось; но от времени до времени где-то на окраинах его мозга отпечатывались физические ощущения. Мягкая рука гладила его лоб, отстраняя косицы, упавшие на глаза. Потом стало свободнее ногам; потом что-то теплое нежно и влажно обласкало его ноги. Однажды к его губам прижались открытые жаркие губы, а рука на короткий миг опять ощутила горячее, шелковистое упругое прикосновение, которое он привык сознавать, не просыпаясь, за те семь ночей. Он что-то пробормотал и не проснулся.

Проснулся он так же внезапно, как заснул, и сразу сел на кровати. Была темная ночь; в углу тускло горел ночничок. Первое, что он увидел, был поднос с хлебом, мясом, медом и вином, на табурете у самой постели. Он стал есть и пить; быстро съел и выпил все, что было на подносе. Тогда ему послышался шорох, и он увидел в тени фигуру.

— Это кто?

Она ответила, не подымаясь:

— Элиноар.

— Что тебе нужно?

— Отец велел мне ходить за тобою. Я сняла твою обувь и умыла твои ноги, и приготовила эту еду.

— Поздно теперь?

— Недалеко до полночи; в доме все уже спят.

— Дай сюда мои башмаки, — сказал он.

Не вставая, она протянула к нему руки вдоль постели и грустно проговорила:

— Ты говоришь со мною так, как будто опять ненавидишь меня.

— Где мои башмаки? — повторил он, оглядывая пол.

— Не сердись на меня, Тайш, — прошептала она и вдруг расплакалась.

Очень сильные люди больше всего на свете боятся женского плача; это и на суде всегда сбивало Самсона с толку. Он не знал, что сказать.

— Не сердись на меня, — говорила она сквозь рыдание, — может быть, я виновата, но я люблю тебя. Я не хочу жить, если ты на меня сердишься.

— Оставь, — сказал Самсон досадливо, — ни на кого я не сержусь, и мне не до тебя. Где мои башмаки? Не могу же я уйти босиком.

— Куда тебе идти ночью?

— К Семадар, — ответил он очень просто.

Сразу ее всхлипывания перешли в смех, ее покорность в мятеж.

— Нечего торопиться, — сказала она звонко, — они оба до зари не заснут.

Прежде, чем он понял, она бросилась вперед ничком, обхватила его ноги руками, обвила их волосами. Она взмолилась к нему скороговоркой, бессвязно:

— Я тебе тогда сказала, под маслинами, а ты не поверил; ты ударил меня. Она гадкая; ей все равно, кто ее целует, ты, или Ахтур, или третий. Она тебя не любила даже в те дни. Тебя никто здесь не любит; ты это знаешь. Я одна тебя люблю; в ту неделю я по ночам металась, как птица, которой на кухне перерезали горло. Если бы не случилось это все, я бы сама ее убила. Возьми меня, Тайш; я пойду за тобой в Цору; я пойду за тобой на войну, среди твоих шакалов; я научу вас владеть мечами, я сманю из Тимнаты кузнеца. Моя мать

будет служанкой твоей матери. Я тебя люблю, Самсон...

— Отпусти мои ноги, — сказал Самсон, — и дай мне найти башмаки.

Она закричала в исступлении:

— Ведь Семадар лежит теперь, обвинившись вокруг Ахтура, — шепчет ему, что его ласка слаще твоей!

Он высвободил ногу и босой пяткой ткнул ее в лицо, опять как тогда под маслинами, только не ладонью, а пяткой. Она откатилась по полу. Самсон поднялся, взял светильник и с его помощью нашел свои башмаки; надел их, завязал и ушел.

Глава XVII. КАК БЕРГАМ ВЫШЕЛ ИЗ ЗАТРУДНИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Было уже совсем около полуночи, когда Бергама разбудила его жена аввейка. Она, единственная в доме, видела, что Самсон ушел; тревожась за дочь, она не легла спать, а просидела несколько часов в темном углу передней. Когда мимо нее тихо прошла громадная тень данита и исчезла на крыльце, она пробралась в ту комнату и застала Элиноар на полу, в припадке безмолвной истерики. У девушки стучали зубы, и вся она тряслась мелкой дрожью. Много времени прошло, пока она в состоянии была говорить; и еще больше, пока мать от нее добилась толку — что Самсон ушел за Семадар. Тогда она решила разбудить хозяина дома.

Бергам серьезно встревожился. Быстро одевшись, он позвал раба, велел ему захватить меч и поспешил с ним к Ахтурову дому. Ночь была темная, идти через поля и виноградники было невозможно: пришлось идти по дороге, а это был длинный крюк. Бергам шел со всей быстротою, на какую была согласна его рыхловатая полнота, и обдумывал положение. Положение казалось ему затруднительным, особенно потому, что он начинал сомневаться, поступил ли он сам по всем правилам благоразумия. Во-первых, рассудительно ли было с его стороны лечь спать, не приняв никаких мер к предупреждению этой выходки Самсона? Но на это он сам себе ответил, что вся его дворня, вместе взятая, не в силах

была бы, да и не решилась бы, помешать таковой выходке. Серьезнее было другое самообвинение: еще рано утром он запретил рабам рассказывать кому бы то ни было, что у него за гость; и рабы его, на беду, отличались примерным послушанием. Отсюда следует, что Семадар и Ахтур ни о чем не подозревают и будут застигнуты врасплох. С другой стороны, Ахтур ему говорил накануне, что в этот вечер у него собираются друзья, кажется, по поводу предстоящих скачек в Асдоте, куда на днях отправлены были лошади из всех конюшен города. Значит, можно надеяться, что беседа затянулась, и будет кому вмешаться, если бы дело приняло совсем непристойный оборот. Но опять же — "вмешаться"... В каком смысле они "вмешаются"? Друзья Ахтура — все молодежь; степенных, рассудительных людей среди них мало. Все это может кончиться неприятно; очень неприятно. Бергам терпеть не мог проявлений беспорядочного насилия. В молодости и он раза два принял участие в набегах, которыми сопровождалось покорение долины Сорека и округа Тимнаты; но по природе он был магистрат, правитель, а не воин, и самая мысль о драке, о боли, о грубом безобразии свалки была ему противна. Словом, положение создалось затруднительное.

— Еще далеко? — спросил он раба.

— Скоро будет старая смоковница, что у перепутья; а оттуда уже близко, господин, — три или четыре оклика.

Дворяне считали на выстрел из лука, простонародье на человеческий оклик — шагов двести или около того. Оклик? Бергаму иногда казалось, что он и отсюда слышит, в той стороне, какие-то крики; но кругом так стонали шакалы, так гудел ветер в рощах и виноградниках, что разобрать было трудно. Где эта проклятая смоковница? Он так и подумал "проклятая", хотя не в его обычае было браниться. С перепутья одна дорога вела

к южным воротам (по этой они и шли теперь), одна в горы, одна прямо к границе Дана, огибая Тимнату, четвертая в Аскалон мимо дома Ахтура. С перепутья уже можно будет расслышать, нет ли там беспорядка.

Вдруг прямо перед ними послышались торопливые шаги, из темноты бегом вынырнула белая фигура и, завидев их, метнулась в сторону.

— Кто это? — крикнул Бергам.

Она с криком бросилась к нему. Семадар была в ночном платье, едва дышала от волнения и бега; она обхватила отца руками и повторяла, дрожа, прерывающимся голосом:

— Уведи меня домой. Не ходи туда. Уведи меня. Не ходи туда. Уведи...

Сомнений больше не было: беспорядок, очевидно, разразился, и Бергам почувствовал, что создалось положение, требующее от него не колебаний, а распорядительности. Он строго приказал:

— Успокойся. Говори ясно и кратко: что случилось?

— Они его убивают... Самсона убивают...

— За что?

— Он размозжил голову Ханошу. Кубком. Наповал. Но Ханош первый бросил кубок, я сама видела... И он ударил по лицу Ахтура; Самсон ударил. О! Какой ужас — ничего не видно, ни глаза, ни уха; кровь... А теперь они его убивают. Я хочу домой...

— Веди ее домой, — сказал Бергам. — Меч отдай мне.

— Отец, не ходи туда, — закричала Семадар.

— Ступай, — повторил он рабу и кинулся бегом дальше.

Раб повел ее обратно, поддерживая и успокаивая. Это был Пелег, старый слуга; Семадар выросла у него на глазах и считала родным. Почти на бегу она рассказала ему, что видела. У Ахтура была

вечеринка, а она легла спать. Разбудил ее шум, и вдруг она услышала голос Самсона и выглянула из своей спальни. Самсон стоял в дверях. Он говорил громко, но спокойно: "Я пришел за моей женою. Отдай мне мою жену". Ахтур поднялся, остальные сидели. Ахтур тоже говорил, не подымая голоса, но что говорил — она не помнит. Вдруг Ханош, Ханош из Экрона, закричал пьяным голосом: "Гони прочь этого бродягу!" и швырнул в Самсона кубком; и кубок ударился в лицо, и все испугались и замолчали. А Самсон поднял кубок с пола и бросил его обратно — прямо в голову Ханошу. И тут что-то хряснуло, затрещало — какой ужас — что-то брызнуло во все стороны, и Ханош сел на пол, качнулся вперед и назад и упал. Тогда все закричали, вскочили; а Ахтур заревел: "В моем доме? Моего гостя?!" и схватил со стены меч, и кинулся на Самсона, и все остальные, человек двенадцать их было, схватили ножи, табуреты, кувшины и тоже бросились к Самсону. А Самсон — это ужаснее всего — схватил Ахтура за руку, что с мечом, схватил левой рукой, а правой ударил его по щеке, и с лица Ахтура сразу полилась кровь, и Ахтура больше нельзя было узнать. Тут вбежали рабы, сколько могло втиснуться в комнату — двадцать, тридцать, больше, все с дубинами в руках, и все, гости и рабы, окружили Самсона, и от крика у нее все завертелось в голове, и она бросилась бежать, сама не зная куда; а теперь они убивают Самсона...

В эту минуту Бергам, отец ее, уже знал, что они не убили Самсона. Когда он, пыхтя, добежал до перепутья и действительно услышал далекий гул множества голосов, навстречу ему неслась громадная черная тень. Она промчалась бы мимо, но Бергам окликнул:

— Самсон! Что ты сделал?

Самсон узнал его по голосу, остановился и ответил звучным, веселым шопотом:

— Сам еще не знаю. Пусть они сосчитают свою пададь и скажут тебе точно.

Он повернул голову назад, прислушиваясь.

— Еще не погнались, — сказал он громко и так же радостно. — Ищут, верно, по комнатам и в саду. Но мне пора — их там полсотни и больше; и мечи, и копья. Прощай опять, тесть: спасибо, что дал мне выпаться под своей кровлей и велел накормить.

Бергам показал на свой меч.

— Если бы ты не спал нынче под моей кровлей и не пил моего вина, я бы сам попытался тебя убить, хоть я и не молод, и не силен, — твердо и сурово сказал он.

Самсон протянул руку:

— Дай сюда меч, — проговорил он тоном приказа.

Бергам отшатнулся:

— Не дам. Это — измена по закону Пяти городов.

— Отдай добром, не то возьму силой.

Бергам не смутился: на подобный случай имелись правила — очевидно, в его родословной были примеры более или менее похожие и на такое положение. Одним движением он повернул меч рукоятью вниз, упер его о камень и слегка налег грудью на острие.

— Двинься ко мне, — сказал он Самсону, — и я тоже буду падалью, как ты выражаешься. Пока я жив, мой меч не достанется инородцу; это против закона.

В темноте он видел, что Самсон наклоняется и хочет прыгнуть; а острие кольнуло его между ребрами чрезвычайно неудобно, хотя он сам не заметил, что начинает разжимать кулак, которым прикрыл его. Вдруг Самсон выпрямился и сказал тем же веселым тоном, как и сначала:

— Смелый ты старик. Хорошо, будь по-твоему. Меч за тобою; но Семадар — моя. Приведи ее в

Цору, иначе я вернусь за нею — и не один.

И, осмотревшись во все стороны, он исчез по дороге, ведущей в холмы. Бергам отер холодный пот с лица, постоял, подумал и побрел обратно, к своему дому. Строго рассуждая, следовало бы ему пойти в другую сторону, разобраться, что случилось; но, в конце концов, помочь он больше ничему не может — и, право, на одни сутки с него довольно беспокойства. Самсон его дважды назвал стариком — и, пожалуй, это похоже на правду. Бергам очень устал.

Еще издали он увидел факелы и фигуры на крыльце своего дома; в ту же минуту позади он услышал характерный топот, еще редкостный в этом округе. Когда он дошел до крыльца, его нагнали два всадника; один проскакал дальше, к воротам, другой остановился. При отсвете факела он узнал Бергама, и Бергам его: это был Гаммад, богатый горожанин, из близких друзей Ахтура.

— У тебя в доме, я вижу, тревога, — сказал верховой, — значит, ты уже знаешь. Страшное дело. Нас послали за лошадьми для погони. Он вырвался и бежал; твоя дочь, Бергам, тоже исчезла, еще в начале свалки. Мы опасаемся, что он ее нагнал и унес. Вели оседлать твоих коней; брат мой сейчас подымет на ноги все конюшни в городе; жаль, лошадей осталось немного — но не печалься, мы их нагоним!..

— Семадар у меня в доме, — ответил Бергам, — он ее не настиг. Скачи назад и скажи Ахтуру, что жена его в безопасности.

В эту минуту с крыльца соскользнула женская фигура и подбежала к ним, спрашивая:

— Что с ним?

— Муж твой... ранен, но он на ногах — он и остальные ждут коней у перепутья. Таиш вырвался и бежал. Мы сейчас пошлем погоню.

Семадар всплеснула руками и засмеялась от всего сердца.

— Вырвался! Из такой толпы, с мечами и дубинами! Перебил вас всех и бежал!

Гаммад смотрел на нее, хмурясь.

— Я рад, что ты спаслась, Семадар, — сказал он сухо, — но веселости твоей не понимаю. И Ахтур не поймет, зачем ты ушла из его дома.

Она ответила сквозь смех:

— Не убеги я, о н унес бы меня у вас на глазах. Я сама теперь жалею, что убежала.

Бергам прервал ее:

— Не говори глупостей, Семадар. У тебя горячка; ступай к матери.

— Подожди, — вдруг сказал всадник. — Ты — ты не встретила его на дороге? не видела, в какую сторону он скрылся?

— Если бы и видела, — звонко ответила она, уходя, — то вам бы не сказала.

— Семадар!! — закричал Бергам в большой тревоге; но она уже была на крыльце, а Гаммад, не говоря ни слова, повернул коня обратно и поскакал опять в сторону Аскалона.

Бергам понял, что бурные сутки его не кончены. Его положение становилось все более затруднительным. Он пошел на крыльцо, опустив голову, и старался что-то сообразить, но сам не знал, что именно. Он велел женщинам идти спать, но они отказались, и он промолчал. Решительно, он был очень утомлен и очень уж немолод. Раб подал ему табурет, он сел; привлек к себе, сам того не сознавая, Семадар, потрепал ее по руке и опять отстранился. Женщины оживленно переговаривались, рабы перешептывались. Слышно было, что город начинает пробуждаться, за стеною засветились огни, заржали выведенные лошади. В то же время с аскалонской дороги донесся нарастающий гул голосов; показались факелы. Толпа шла прямо на дом Бергама; навстречу ей, из города, сюда же вели коней. Вскоре все место перед домом стало

похоже на площадь военного сбора.

Бергам, глядя бороду, спустился с крыльца и пошел навстречу Ахтуру. При свете факелов он узнал его только потому, что узнать его было невозможно. Левая половина лица была нечеловеческая; но и правая была страшно искажена болью и бешенством. Гаммад, ведя лошадь под уздцы, шел с ним рядом.

— Мне нужна Семадар, — сказал Бергаму Ахтур, трудно и, видимо, с мукой, ворочая исковерканной челюстью.

— Семадар ничего не знает и ни в чем не виновата, — ответил Бергам, обводя глазами освещенные лица; все, как одно, мечены были тем же зловещим выражением злобы, стыда и еще непрветренного похмелья. — Семадар ни при чем: виноват я, вижу, что виноват, и хочу вам рассказать все, как было.

Они смотрели на него и ждали.

— Я мог предупредить вас и не предупредил, — говорил Бергам спокойно, степенно, без униженного смирения, но и без вызова; говорил именно так, как полагается вельможе, который совершил оплошность и вслух признает свою вину; ибо и это бывает в его родословной. — Самсон провел весь день в моем доме. Пришел на заре; очень гневался вначале, но потом успокоился и лег спать. Я был уверен, что все окончилось мирно; и, не желая тревожить Семадар и Ахтура и весь город, я велел своим домашним сохранить это посещение в тайне. А поздно ночью он проснулся, ушел — и остальное вы знаете. Я глубоко провинился пред вами, господа. Я слагаю с себя все мои звания, чины и должности; передайте меня суду по законам Пяти городов...

Гневный ропот слышался в толпе во время его слов. Ахтур, глядя на него боком, сделал ему рукою знак замолчать.

— Это мы после разберем, — произнес он

довольно отчетливо. — Теперь не до тебя. Мне нужна Семадар, позови ее.

Бергам хотел возразить, но было поздно: легкая рука оперлась на его плечо — Семадар стояла с ним рядом. Некому было в этой толпе примечать такие вещи; но они были в ту минуту величаявая пара, без испуга и без надменности, оба простые, сдержанные, серьезные, учтивые и на все готовые.

Ахтур указал на Гаммада.

— Он говорит, что ты видела, по какой дороге Таиш убежал.

Она покачала головой:

— О, нет, Ахтур, я не видела.

Гаммад проговорил угрюмо:

— А мне сказала, что да, — и еще со смехом.

Семадар посмотрела на него, на Ахтура, на других, опять покачала головой и ответила:

— Я не так тебе сказала; ты перевернул мои слова. Но это мелочь; а видеть я не видела.

Кто-то сзади грубо крикнул:

— Скрути ей хорошенько руку за спиной, тогда узнаешь правду!

Бергам знал закон. По закону, муж имел у них над женою почти безграничные права — в некоторых случаях право казни и во всех случаях право пытки. Медлить было опасно.

— Она не могла видеть Самсона по дороге, — сказал он. — Я встретил ее в двух выстрелах из лука по сю сторону перепутья и отправил ее домой в сопровождении раба. Но сам я пошел дальше и наткнулся на Самсона, как раз у смоковницы. Я знаю, по какой дороге он ушел.

Рука Семадар обвилась вокруг него теснее. Гаммад обернулся и закричал: "На коней!" — а Ахтур смотрел на Бергама единственным глазом, ожидая.

Бергам кашлянул.

— По какой? — спросил Ахтур.

У Бергама вдруг явилось такое чувство, как

будто у него тоже свернуты челюсти и говорить ужасно трудно.

— Отвечай, старая корова! — неуклюже завопил Ахтур, подымая оба кулака и делая шаг вперед.

В голове Бергама что-то работало помимо его сознания и воли. Сегодня на рассвете было то же самое: поднятые кулаки и слово "старый". Он ответил: да, я стар, и ты в моем доме. И тот дикарь его не тронул. И после — только что — не отнял меча. И он спал в доме Бергама и ел его хлеб.

Бергам открыл рот; Ахтур опустил кулаки, — но Бергам, крикнув, сказал только вот что:

— Я... я в очень затруднительном положении. Дело в том, что он спал под моей кровлей и...

Вдруг с ним заговорила Семадар, по-детски, вкрадчиво и просительно, как будто они были наедине и она выпрашивала игрушку:

— Отец, милый, не говори им; не надо говорить.

— Да, — ответил Бергам, тоже словно беседуя наедине, — я, действительно, полагаю, что это было бы неправильно.

Ахтур изо всей силы пнул его ногою в живот. Бергам отлетел на несколько шагов назад и упал навзничь. Семадар его выпустила, потому что Ахтур удержал ее за волосы, швырнул на землю и стал топтать ногами в грудь и в лицо. С крыльца раздался крик женщин и рабов; Амтармагаи быстро сошла по ступеням и побежала, придерживая платье, к дочери. Кто-то из друзей схватил Ахтура за руку; Семадар этим воспользовалась, поднялась, зарыдала, засмеялась и крикнула:

— За это он сдерет с тебя кожу — он, Самсон, мой муж!

— Не говори так, — бормотал Бергам, сидя на земле, — это против закона; у нее горячка, господа...

Но уже все это было поздно. Ахтур вытащил короткий меч и ткнул им Семадар прямо

под голову, которую она подняла для последней насмешки, прямо в горло; меч вошел до половины, и Амтармагаи едва успела подхватить ее.

В толпе стало тихо — потом прокатилось по ней подавленное волнение, женские возгласы, мужские раздраженные голоса; но Гаммад вскочил на коня и, размахивая факелом во все стороны, закричал:

— Безумцы! Если мы не догоним Таиша, он приведет сюда свою шайку — и подымет туземный квартал, как тогда!

Это были правильно рассчитанные слова: единственная угроза, с которой считались филистимляне в округе, завоеванном всего двадцать лет тому назад. И из той же толпы, вероятно, из тех же глоток, раздались крики:

— Заставьте старика сказать!

Несколько человек обступили Бергама. Они его подняли, усадили на камень; кто-то тряс его за плечи; кто-то хватал за горло, все о чем-то спрашивали. Он мотал головою во все стороны и бормотал:

— Но поймите...

Потом, среди общего затишья, один из них взял его руку и стал вкладывать между пальцами какие-то палочки; затем обвинил ему концы пальцев ремешком и затянул ремешок очень крепко. Остальные держали Бергама за шиворот, за ноги, за свободную руку. "Очень затруднительное положение", подумал он. Бергам никогда не подозревал, что бывает на свете такая боль; болели не только пальцы, но грудь, голова, колени; рвались и лопались какие-то жилы; и кто-то мерно задавал над ним один и тот же вопрос; но Бергаму было не до разговоров: он сознавал одно — что ему очень больно, и хотелось бы застонать, но не полагается.

К этому времени уже стоял кругом всеобщий крик. На крыльце и в саду избивали бергамовых рабов — они, по-видимому, хотели было заступиться за своих господ. Женщины голосили.

Вокруг Ахтура шло совещание: кто-то советовал разбиться на несколько партий и искать по всем дорогам; другие возражали, что из-за скачек в Асдоте коней осталось мало, а посылать на Таиша малый отряд — бессмысленно; тем более, что, быть может, и его шакалы недалеко, где-нибудь в засаде. И от времени до времени эта группа окликала ту, что возилась с Бергамом, и оттуда отвечали:

— Молчит...

Пальцы Бергама уже были сломаны; он тупо смотрел на тыл своей ладони — она стала шире, косточки были растянуты врозь. Его палачи советовались между собою, что делать дальше. Он воспользовался передышкой, понатужил память и вспомнил, что Семадар умерла... Где она? В просвете между обступившими его людьми он увидел ее; Амтармагаи сидела над нею, положив голову дочери к себе на колени; Пелег держал над ними факел, освещая обеих женщин и темно-красную лужу. Бергам встретился глазами со взором жены. У нее было всегдашнее лицо, надменное, холодное, без выражения. Она кивнула ему головой и ясно произнесла губами, хотя слышать он не мог:

— Молчи.

* * *

Так и не ушла в ту ночь погоня; но до зари творились в Тимнате страшные вещи. От стыда и бессильной злобы, от вида чудовищной багровой маски Ахтура, от криков и крови люди озверели до конца, особенно когда принесены были на носилках мертвые тела — Ханош из Экрона и еще трое с разможженными головами, а из бергамовых подвалов кто-то, взломав затворы, догадался вытащить несколько запечатанных кувшинов. Дом Бергама, по невысказанному уговору всех, уже был вне закона. Рабы, мальчишки, даже несколько

туземцев из более смелых сновали по комнатам, ломали мебель, грабили утварь, насильовали служанок поочередно, друг перед другом; Бергам, сквозь последние сумерки сознания, корча босые пятки над огнем, слышал сверлящий вопль Элиноар. С ним самим они бились уже безо всякой надежды что-нибудь узнать, а просто так, для утешения.

Перед рассветом, уже спускаясь с холмов, Самсон увидел в стороне Тимнаты зарево; изумился, но не понял, — пока, в полпути от Цоры, не перехватил беглеца-раба и не узнал от него о гибели бергамова дома, с женами, дочерьми и челядью.

Но во много раз ярче и выше было то зарево, что взвивалось над Тимнатой три ночи спустя. С десяти сторон разом запылали виноградники, копны сена и амбары зерна. Люди потом рассказывали, будто стаи шакалов, с пучками горячей пакли на хвостах, воя от ужаса и боли, разносили пожар по полям и садам; но, должно быть, это была выдумка, из-за прозвища, которое давно кто-то дал товарищам Самсона. В ту ночь опять дул сильный ветер; скоро вспыхнули загородные дачи вельмож, начиная с дома Ахтура; потом и в городе загорелся филистимский квартал, где было больше дерева, чем в глиняных лачугах инородцев. Горожане толпились у южных ворот и повторяли слухи о резне, что идет теперь по усадьбам; кто-то крикнул, будто из северной части двинулись туземцы, грабят городские дома и охотятся на детей и женщин... Давно, еще со времен египетской войны, не помнила Филистия такого погрома. За десятки верст в Экроне, Гезере, Гате, в Эштаоле и Модине жители, разбуженные ночными сторожами, стояли на крышах и глядели в сторону Тимнаты; далеко за Айялоном, в высоких ущельях толпились полуголые, пахнущие козлом иевуситы, любовались на редкую забаву и гадали,

что случилось; с южных гор вытягивали тощие шеи предусмотрительные дети Иуды и встревоженно обсуждали вопрос о том, не произойдут ли из этого странного события неприятности для их собственного колена, хоть и живет оно в стороне и ни во что не вмешивается. В Цоре, во дворе у городской стены, в тесной божнице сидели на полу две женщины; старшая шептала заклинания и била себя в грудь, младшая, почти вся прикрытая распущенными черными волосами, бледная, грустная, закусив губу, молча смотрела перед собою никуда.

Глава XVIII. В ПУСТЫНЕ

Долго, чуть не до самых дождей, расплачивалась Филистия за смерть Семадар и Бергама. По всей восточной полосе экронской тирании начались волнения среди туземцев. Их вешали на придорожных деревьях с вывернутыми ногами, иногда с содранной кожей, болтавшейся лохмотьями. Конные и пешие отряды бродили по окраине, избивая инородцев и докучая своим, и молодые офицеры злобно косились в сторону Цоры. Погорельцы Тимнаты пошли скопом в Экрон и требовали похода в землю Дана; но среди них уже не было красноречивого Ахтура, и убедить народное собрание им не удалось. В Гате все же состоялся по этому поводу съезд всех пяти саранов: но, потолковав между собою, они решили, по соображениям общей политики, что война теперь нежелательна. Лишь через месяц после пожара собрались они отправить в Цору посольство, которое потребовало выдачи Самсона. Цоране ответили, что Самсона в их земле нет — он ушел далеко на юг, за пределы Иуды, за пределы Симеона, в скалистую пустыню аморреев и амалекитян.

— Если вы его там изловите, — прибавили старейшины, среди которых не было Маноя, — мы только будем рады. Он и нам надоел.

Послы возразили:

— Тогда выдайте нам его товарищей, которых зовут шакалами.

Старосты переглянулись. Им было известно, что

Самсон, уходя, велел своим юнакам рассыпаться по всей земле, пока он их не позовет опять. Одного Нехуштана взял с собою; и только Ягир, после десяти дней отсутствия, и широкоплечий Гуш еще раньше, вернулись в Цору. Старейшины ответили так:

— Большое дерево легко найти; но как разыскать травинку на лугу? Они разбежались, и люди они малоизвестные.

Послы нахмурились и отошли в сторону совещаться.

В этом собрании был левит Махбонай бен-Шуни. Хотя не домовладелец и не уроженец города, он как-то успел стать необходимейшим человеком в управлении: все знал, всюду бывал и все делал умнее и скорее других. Он сказал вполголоса:

— Если отпустить послов ни с чем, будет плохо. Гневный человек — как голодный волк: не найдет зайца в поле — бросится на человека.

Все они поняли, что он советует. Один из старейшин, качая головою, ответил:

— Гнев подобен огню; а ты говоришь — дайте огню клоч соломы.

— Нет, — возразил Махбонай, — я говорю: дайте ему воды.

Они оглянулись на послов: у тех были мрачные, раздраженные лица. Старейшины вздохнули и решили выдать Ягира и Гуша.

Когда за ними пошли, они не стали бороться. У данитов еще была, в те ранние времена, пчелиная спайка, сознание, что в крайности лучше пропадать одному, чем всем. И о том, что за потеху Самсона придется платить, давно говорила вся Цора; имена Самсона и шакалов произносились с ненавистью. Ягир, увидя стражу, сказал: "Мне все равно", — и пошел за ними; а Гуш ничего не сказал и пошел.

Послы посмотрели на них и заметили:

— Они не связаны.

— Свяжите сами, — хмуро отвечали старейшины.

— Вяжите, — сказал Ягир, — мне все равно.

Гуш ничего не сказал.

Карни, рыдая, бросилась к брату.

— Если ты когда-нибудь увидишь Самсона, — приказал он ей, — передай ему, что я не жалею. Весело было в ту ночь у Тимнаты; а жить среди этой мошкары, на болоте Дана, — что за радость.

Гуш был бобыль, никто его не обнял.

Когда их уводили, старейшины и народ от стыда закрыли лица плащами, и женщины плакали навзрыд.

Через несколько дней об этом слышали жители Эштаола, а от них узнали проживавшие там иудеи. Они рассказали разносчикам, у которых покупали вифлеемскую шерсть. Через купцов это стало известно по всей земле Иуды; и другие купцы донесли эту повесть до берега Соленого моря. Нехуштан однажды спустился в Эн-Геди, отчасти за припасами, отчасти из охоты к путешествиям; и оттуда он принес весть о судьбе Гуша и Ягира в пещеру среди Этамских утесов, где ждал его Самсон.

Это было безлюдное место. Соседи еще называли тот край землею Симеона, по старой памяти; но колено это давно рассосалось почти целиком, разбрелось к Иуде, к аморреям или совсем куда-то за озеро, к народам безымянным, и лишь изредка попадались кочевья, называвшие себя детьми Яхина, сына Симеонова; жили они, по-видимому, грабежом и поборами с караванов. С юга тоже редко забредали сюда инородческие таборы; край был дикий и пустынный, от источника до другого день и два и три пути. Это был издавна приют беглых; в Ханаане ходило много поговорок с игрою слов на созвучии: вор — "ганнав", а имя того округа "Негев". Сказать человеку: не из Этамских ли утесов ты пришел? — значило назвать

его разбойником. Самсон, уходя в эту землю, знал, что это поставит на нем печать. Впрочем, он и беглых тут не застал и был рад: затем он и ушел сюда, чтобы уйти от людей и сосчитаться самому с собою.

Нехуштан приволок из Эн-Геди немного муки и сушеных фиг и рассказал ему, что случилось в Цоре. Самсон задумался. Тому, что его товарищей выдали, он не удивился; это было одно в одно с мудростью Шехала бен-Иувала, это было в натуре Дана. Но зачем ослушались его эти двое и не скрылись? Грузный Гуш, вероятно, просто по лености; а Ягира подточила тоска. С тех пор, как Самсон отстранил его ради Нехуштана, юноша был уже не тот. Но как мог Самсон его оставить? Те же глаза, что у сестры его Карни, и тот же укор в глазах... Смелый юноша, крепкий юноша, лучший во всем племени; но и с ним та же беда, что со всеми людьми Дана, и Ефрема, и Иуды — не умеют забывать, не хотят отказываться, впиваются когтями в то, что было вчера, и подай им то же на завтра. Ни за что не выбросят игрушки, хоть она и сломалась... Где он это слышал — об игрушке? Это кто-то сказал — или так ему приснилось — о нем самом, о Самсоне. И правда: он такой же, как и все даниты, пошел в Тимнату за игрушкой — сломалась — и он сделал из этого ссору между большими народами, а сам бродит по скалам и горюет...

Что дальше? Переждать бурю, вернуться, позвать к себе Карни? Она пойдет, несмотря на гибель Ягира; пойдет и никогда словом не напомним ему ни о Ягире, ни о Семадар. Но в ее памяти вечно останется и Семадар, и Ягир; и... и она не игрушка. Верно; и он, Самсон, тоже цепляется за свои игрушки, топает ногами, когда они сломались; но это должны быть именно игрушки, легкие, веселые, которые звенят, пока у тебя в руке, и тихонько лежат под скамьей, когда ты бросил их

под скамью... Кто это, где и когда, говорил ему об игрушках, и о детях, которые брыкаются, когда пора спать?

Можно быть судьей всю жизнь; можно возиться со скучными тяжбами, ставить под палки воров, отбивать овец у хищника и не ждать ни благодарности, ни доверия; это можно, это нетрудно. Это все проделывает другой, чужой человек; до него настоящему Самсону, в сущности, никакого дела нет; назорей, для которого Иегова послал ангела к колодцу. Но тому человеку не нужна ни улыбка, ни вино, ни песня, ни пляска, ни рыжая, ни черноволосая девушка. Этот чужой Самсон не возьмет жены, ни из Дана, ниоткуда — ему не о чем с ней говорить. А настоящий Самсон, — тому Карни не пара; слишком хороша для него, и она сама это знает.

Два Самсона, две жизни; так решено, так велел, должно быть, тот ангел. Хмурый судья, без друга и радости; шут и гуляка, для которого из каждой камышины готова новая дудка — посвистел и бросил. Таким он рожден и таким останется.

Судья... Захочет ли Дан опять его суда и управы? Даниты его не любят, не понимают его обычая, сторонятся, косятся, как на чужого. И теперь они, в придачу, говорят, что он им опасен. Может быть, конечно — больше он им не нужен? Сам того не замечая, он облегченно вздохнул, во всю бездонную пропасть своей мохнатой груди, с таким шумом, что оглянулся на него Нехуштан, занятый им же устроенной дракой между тремя скорпионами. — Пусть! Как Ягир тогда у ворот Цоры, Самсон проговорил вслух: мне все равно.

А куда пойдет тот, настоящий Самсон, остряк и забавник? Тимната сгорела; не закрыт ли пред ним отныне и Экрон, и Гезер, и вся эта пьющая, танцующая беззаботная филистимская равнина? — Он засмеялся, открыв широко рот и закинув голову. Нечего тревожиться! Широка равнина; как вода на

столе, так не держится на ней ни вражда, ни клятва, ни месть. Там не помнят ни добра, ни зла; нет грани между приятелем и предателем; невестой и блудницей; сегодня свадьба, завтра свалка; вчера ты жег, через месяц ты гость на пиру. Игорный дом Филистия: входи, кому любо; мечи, пока есть серебро, — а когда вышло, не засиживайся. Филистия за ним.

* * *

У южного берега Мертвого моря семь дней и ночей он прожил в палатке рехавита. Звали его Элион; просто Элион, без отчества — по их обычаю не принято было поминать имя отца без особой надобности; лучше всем наравне именоваться детьми Рехава. С Элионом жило шесть его сыновей, все женатые и многодетные, и две дочери девицы. Это и был весь табор. Они пасли коз, добывали соль и изготовляли глиняную посуду — тарелки, светильники, все, кроме кувшинов для вина; кувшинов не делали, чтобы не плодить греха, запрещенного пророком их Ионадавом¹⁹.

Самсон и Нехуштан встретили их у солеломни. Рослый старик и половина мужчин его кочевья били каменными заступами серый известковый пласт; под ним лежала голубоватая соль, которую они ломали и кусками складывали на распластанные шкуры. Неподалеку стоял черный шатер; вокруг него ослы и верблюды жевали что-то из мешков. Кругом не было ни куста, ни травинки.

Увидя пешеходов, сам старик оставил работу и пошел к ним навстречу. Он сказал Самсону:

— Мир тебе, назорей Иеговы.

Самсон удивился, что бедуин, вдали от жилья, знает его призвание: в немногих шатрах сиемонитов, где он останавливался во время скитания, люди всегда расспрашивали, почему у него косицы.

— Мы про этот обычай слыхали, — объяснил ему старик, — мы — рехавиты; знаем, что среди племен Иеговы, живущих городами, есть люди правой веры, и они, чтобы отличаться от нечистых, не стригут волос и заплетают их, как ты. Но ты — первый назорей, которого я вижу на своем веку; милости просим, побудь с нами, сколько хочешь; послезавтра мы кончим работу и вернемся в кочевье, где у нас вода и пальмы, жены и палатки; все тебе будут рады.

Самсон остался; сделал себе заступ из двухпудового острого камня и за час работы наколот больше известняка, чем они все вместе за день. Им осталось только выкапывать и очищать комья соли. Они ему ничего не сказали: у них грехом считалось хвалить человека, потому что все люди равны; но заметно было, что они довольны и благодарны.

Старик, видя, что труд их облегчен, позвал Самсона в тень побеседовать. Они сели на берегу под нависшей скалою; Самсон, никогда не выдавший столько воды, с любопытством глядел на небольшие ровные волны и мелкое плоское дно, где камни у берега были желтые, дальше — зеленые, а еще дальше — сливались с цветом моря.

Самсон никогда не слыхал о рехавитах. Он спросил:

— Твое колено — Симеон или Иуда?

— Ни тот, ни другой, — объяснил Элион. — Мы не из сынов Израиля; но Бог у нас тот же. Мы — дети Каина, который был первым земледельцем на свете; он согрешил, а мы искупаем его грех.

— Каин? — сказал Самсон. — Чудной человек был, видно, этот Каин; разные люди говорят о нем по-разному. Было у меня дело на суде в нашем краю: там говорили, что Каин был великий праведник.

— Грешник он был, — ответил старик. — Хотел разделить землю на участки; насильовал ее, чтобы

рожала не то, что Бог велел, а что нарочно посеял человек. Отсюда пошло все горе и зло среди людей. Оттого и велел нам пророк наш Ионадав, сын Рехава, жить так, чтобы стерлась память о безумствах нашего деда.

Долго и хорошо рассказывал он Самсону об этой вере. Им запрещено пахать. Им не позволено загромождать землю каменными постройками. Живут они на одном месте, пока земля терпит — пока она кормит верблюда, овцу и козу; кончилась трава — значит, земля говорит: "Я устала, иди дальше". А строже всего запрещена им кровь: кровь человека, которую нельзя проливать даже в самозащите; кровь животного, которой нужно дать вытечь до последней капли, прежде чем коснется до мяса огонь; и особенно кровь земли, которая называется вином; кто ее напьется, будет один час подобен богу — и зато всю жизнь потом подобен ублюдку от кабана и гиены.

— Мы, назореи, тоже не должны пить вина, — сказал Самсон, — но вспахивать поле и строить города нам разрешено. Почему это грех — возделывать пашню?

— Грех, — ответил старик, — насиловать землю. Она мать наша; не может сын властвовать над матерью. Это не к добру. Пашня — только начало греха. После Каина пришел Тувалкаин, разорвал грудь земли, выломал оттуда ее кости, назвал их медью, железом, золотом и стал ковать из них образы волшебства, орудия убийства, приманки для жадности. Идти по этой дороге — не будет конца; умрет все верное, что есть в человеческом сердце, и останется одна кривая хитрость, яд, унаследованный от змея, первого любовника первой женщины на свете. Что прячет земля, то не твое. Что твое, то она сама приносит. Она царица; других владык не нужно — ни князей, ни судей, — все это грех.

Старик говорил труднопонятные вещи, и его

наречие и говор несколько отличались от речи Ханаана; но его мысли, обдуманые в долгой тишине одиночества, были так прочны и точны, его слова так спаяны с этими думами, что Самсон все понял.

— У нас, — сказал он, — в земле Дана, видел я людей, которых называют сынами пророческими. У них — та же вера, что и твоя, только еще строже: не хотят ни стад, ни шатров; живут в пещерах, едят.. не знаю, что они едят; в города приходят редко, но когда приходят, то влезают на камень перед воротами и проклинают народ за то, что есть у нас поля, и дома, и старосты...

Элион с большим любопытством, долго и подробно расспрашивал о пророках, и как они живут; но Самсон мало знал.

— Я слышал и о них, — сказал старик, помолчав. — Слышал я, что у отца нашего Рехавы был, кроме Ионадава, другой сын, по имени Невуэль; и спорили Ионадав с Невуэлем, какой путь лучше для искупления каинова греха. Невуэль говорил: "Надо нам рассыпаться среди людей и учить их словом"; а Ионадав говорил: "Надо уйти от людей и учить их примером". Не поладили они и разошлись, каждый своей дорогой. Мы от Ионадава; может быть, ваши пророки и ты, назорей, — от Невуэля. Чей путь вернее, не нам судить; может быть, оба верны.

Много еще они беседовали в тот день, и назавтра, и потом на пути к оазису, когда Самсон и Нехуштан в первый раз в жизни ехали на верблюдах. Самсон рассказал старику о себе — о той его жизни, которая протекала на земле Дана; о Маное, о матери — но, по чутью, умолчал о ее божнице. Старик умел слушать. Но больше рассказывал ему старик: от него Самсон услышал подробно о Содоме и Гоморре, о Моисее, о родителях и дедах Иакова; и Самсон дивился его знанию и просил его:

— В городах у нас толпятся тысячи, и все время что-то рассказывают друг другу; ты живешь один, и говорить тебе не с кем; почему же ты знаешь и помнишь имена и дела, о которых нам ничего неведомо или мало?

Старик рассмеялся и в ответ рассказал еще одну притчу: был однажды народ, весьма мудрый; и, возгордясь этой мудростью, люди те решили выстроить высокую башню, чтобы с ее верхушки сосчитать звезды и услышать Божью думу. И вот, одни пошли рубить дрова, другие тесали камни, третьи месили известь. Но чем выше росла башня, тем больше они глупели; потому что одни весь день думали о балках, другие о столбах, третьи о замазке, а о звездах уже не думал никто. И, когда башня была готова и уперлась в облака, оказалось, что они забыли, к чему им эта башня, и разучились понимать друг друга; и они разбрелись по всем странам света, а на верхушке башни поселился коршун.

К полудню доехали они до кочевья; оно стояло среди пальмовой рощи, у тихого глубокого ручья, и далеко вокруг паслись стада Элиона и его сыновей. Навстречу им вышел весь табор, мужчины, жены, девушки и дети. Лучшую палатку дали Самсону, и там он прожил с ними семь дней, покоя себя в их безмятежности. За семь дней он не слышал между ними ни спора, ни просьбы, ни приказа, ни вопроса. В их быту не было неожиданностей; немногие нужды улаживались по заведенному порядку, сами собою. Элион был глава, но и его главенство казалось ненужным, потому что все думали так же, как он, и делали, что надо, без его слова. У них не было алтаря; они никогда не молились; малые дети знали, что Иегова — Бог, ему все подвластно и все известно, и не о чем ему напоминать.

В первую ночь, когда Самсон вошел в свой шатер, он увидел там девушку. Ее звали Эдна; это была старшая дочь Элиона. Она сказала ему:

— Отец велел мне быть с тобою, если ты пожелаешь.

Самсон этого не ожидал; но уже так успела захватить его та жизнь, несложная и торжественная, что он не удивился. Ночь их прошла так, как будто и он родился и вырос в святости пустыни: оба первые, оба робкие и серьезные, оба счастливые.

На заре он проснулся оттого, что она поднялась.

— Ты придешь сегодня вечером? — спросил он.

— Если ты пожелаешь.

Он хотел было, по-городскому, лукаво откликнуться: "А ты?", вырвать у нее смущенное признание; но передумал. Зачем спрашивать, играть, мутить ручей илом? Он просто ответил: "Приди".

Самсон даже не знал до конца, любит ли она его, что и кто он в ее жизни. У нее была жаркая кровь и бесконечная простая покорность, не знавшая, когда они были вдвоем, ни стыда, ни робости. Но никогда она ничего ему не шептала, даже в невольном стоне. Только раз она, может быть, проговорилась. Самсон спросил:

— Если это будет сын, как ты назовешь его?

Она ответила:

— Элеавани.

Это значит: Бог полюбил меня. Но, возможно, это было просто одно из странных имен, обычных в ее племени.

Так прошла неделя, и на седьмой день он сказал Элиону:

— Завтра я уйду.

— Мы тебе рады, — ответил Элион, — но по нашему обычаю нельзя просить гостя остаться. Что решил человек, то есть обет; нельзя бороться против обета ни в великом деле, ни в малом.

В самом деле, Самсон заметил, что они никогда ничего не повторяли дважды. Даже за обедом его не потчевали: все твое, бери или не бери, как хочешь.

И Эдна не просила его остаться; в последнюю ночь была такая же, как в остальные. У них была поговорка: лето проходит, осень приходит, а ты молчи.

У Самсона не было никакого обета, и некуда и незачем идти, и с ними было ему хорошо; но еще хотелось одиночества.

* * *

Так много месяцев он прожил в пустыне, пробавляясь охотой, иногда гостеприимством кочевников, иногда грабежом караванов. Ему даже не приходилось нападать: он просто становился на дороге, и купцы ему давали все, чего он требовал, пугаясь его роста. И прошел почти целый год.

Глава XIX. РЕМИДОР И МЕРИДОР

— Путники на ослах, — сказал однажды Нехуштан, сидя на верхушке утеса.

На ослах — значит, не здешние.

— Трое, — продолжал Нехуштан свой доклад, с перерывами, пока вглядывался. — Четвертый осел с поклажей. — Потом, еще вглядевшись, он спустился к Самсону и тронул его за плечо:

— По-моему, это твой отец и домоправитель твоей матери.

Самсон обрадовался отцу и вышел ему далеко навстречу. Сильно поседел и согнулся Маной за эти месяцы; но и у Самсона выросла борода, сдвинулись брови, ранняя складка легла между бровей, и все лицо потеряло молодость. Они долго держались за руки и смотрели друг на друга. Потом Самсон обернулся к Махбонаю бен-Шуни. Левит пополнил, приобрел что-то барское в осанке; но глаза его остались те же, щупали сто вещей разом, как будто ему необходимо было спешно сосчитать все дыры на плаще Самсона, оценить добротность каменной породы этамских утесов, прикинуть, сколько в пустыне песка. Самсон вдруг весело расхохотался; отец, никогда не слыхавший его смеха, посмотрел на него удивленно; Махбонай нашел удобным счесть это за привет, улыбнулся с достоинством и еще раз поклонился.

Аццельпони была здорова и прислала поклон, одежду и разные лакомства; дом в порядке, приплод и урожаи удались. Но остальные вести были у них невеселые; только прежде, чем

заговорить об этом, левит подробно рассказал, как они его нашли. Это было не так трудно: уже за Хевроном все знали, что на юге бродит длинноволосый великан; купцы из ограбленных караванов сказали коробейникам, а коробейники были все из колена Махбоная. Так, от одного к другому, они и дошли. Трудно было только ослам; в Эн-Геди им советовали купить верблюдов, но Маноя стошнило от качки.

После этого, помолчав, они рассказали Самсону, что творится в земле Дана. Говорил, конечно, Махбонай; Самсон слушал его, а смотрел на отца и, таким образом, по выражению лица его, знал, когда левит умалчивает и когда преувеличивает.

Дело было так: когда Самсон ушел, все люди постарше вздохнули облегченно. Хоть и недолго был он у них на виду (кроме Цоры, где он еще ребенком колачивал больших мальчиков), но и за короткое время они поняли, что опасно иметь в стране такого человека. А теперь оказалось, что еще опаснее — потерять такого человека.

— Такова природа людская, — сказал Махбонай. — Можно прожить и без палки; но если раз уже видели тебя с дубиной — больше не выходи на дорогу с пустыми руками: не вернешься.

Словно забор какой-то был и свалился. Соседей узнать нельзя. Иевуситы, которые прежде и воровать не решались, приходят теперь таборами в Айялон и даже дальше в глубь страны, с самками и приплодом, днюют и ночуют у самых ворот; одежды на них почти никакой нет, срам и соблазн, а от козлиного запаха невозможно в такие дни горожанам собираться у ворот на беседу. (Маной заморгал неуверенно.) Вениамин обнаглел до неслыханных пределов. В Шаалаввиме почти не осталось овец; а во время весеннего праздника шайка богатой молодежи из Бет-Хорона, пришедшая будто бы в гости, окружила девичий хоровод и угнала почти всех девушек к

себе, а мужчин перебила или покалечила.

Но это мелочи; гораздо серьезнее положение на границе Филистии (Маной кивнул). Выдача Гуша и Ягира не помогла, хотя некоторые из старейшин, люди недалёковидные, думали, что она успокоит обиженную Тимнату. (Маной поднял брови и вздохнул: он, хотя не был в том собрании, но помнил, каков был совет левита, когда филистимские послы пришли в Цору.) Поразительна слепота человеческая, неумение понять жадную душу необрезанного народа: уступки только разжигают ее; страшная казнь, которая тянулась с утра до заката, на которую сошлись глазеть и вельможи, и простой люд, и туземцы со всех концов побережья, никого не насытила. На филистимских заставах обыскивают данитских купцов и берут с них тройные пошлины; в Яффе учинили погром данитских моряков; в Гимзо пришла филистимская стража из Лудда с конным офицером требовать выдачи беглого раба, которого никто не видел — решительно никто не видел этого беглого раба. (Маной опять заморгал.) Так и стоят они по сей день постоем в Гимзо, и уже даниты начали разбегаться из города. А завершилось тем, что в Цору опять явились послы из Экрона и поставили странное требование: так как даниты, не имея своих ковачей, приносят железные заступы для починки в филистимские кузницы, то саран требует, чтобы ему за это все селения Дана платили ежегодную подать.

— Кроме богатых людей, все мы пашем деревянными гвоздями, — возразили старосты. — Много ли у нас железа?

— С каждым годом больше, — ответили послы, — мы ведем счет. Оттого и подать должна быть чем дальше, тем больше.

— Но ведь мы платим кузнецам.

— Не платите, если не хотите.

— Так они же не станут починять!

— Это ваше дело, не наше.

Послали гонцов во все стороны, и собралась великая сходка старейшин; такой многолюдной давно уже не было. И особо к Маною отправили посольство горожан: с самого пожара Тимнаты он не ходил к воротам, и никто по нем не тосковал, а теперь все нашли, что без него нельзя совещаться. Сходка была шумная. Все понимали, что кузнецы — только предлог, а речь идет о том, чтобы стать данниками Экрона. Никогда, за память отцов и дедов, никому племя не платило дани. Иуда платит Газе, Нафтали, говорят, посылает какие-то подарки Дору; но Дан — земля свободная, с первых дней заселения, когда еще пашню пахали туземцы. Два и три дня говорили: наконец, приняли два решения. Первое...

— Первое я сам знаю, — прервал Самсон, — платить дань.

— Пока, — дополнил Махбонай; а Маной вздохнул, дергая бородку, и потер шрам у себя на лбу.

— А второе решение?

Левит указал на Маноя, как бы передавая ему право слова. Старик низко опустил голову и сказал:

— Послали нас обоих разыскать тебя и просить, чтобы ты возвратился.

После этого Махбонай бен-Шуни рассказал еще много других новостей. Главная была о том, что ходоки, посланные на север, год тому назад, по совету Самсона, вернулись с удовлетворительным докладом. Есть свободная земля, на крайнем севере, за пределами Нафтали; почва хорошая, среди трех рек, так что и воды много. Земля эта свободная в том смысле, что живут там, главным образом, аморреи, народ бессмысленный, певучий и ленивый. Край этот далек и от Сидона, и от Тира, власти нет, и поселенцам никто мешать не будет. Это хорошо. Но вот что плохо: так тесно и тяжело стало жить в старой земле Дана, что чуть

ли не все простонародье заговорило о выселении, особенно кто помоложе; и старейшины боятся, что некому будет пахать и некому пасти...

— Не бойтесь, — сказал Самсон. — Первые пойдут, и скоро застонут, и из каждого десятка один вернется, ругая ходоков и старост и меня. Тогда многие, уже навьючившие ослов, снимут поклажу и останутся дома. На словах любит новизну тысяча, а на деле один.

* * *

Раб, с ними прибывший, разбил палатку, и в первый раз за девять месяцев Самсон заснул на мягкой постели; а на заре они отправились в путь. Как всегда, Самсон шел пешком: осла, который выдержал бы такую ношу, не было в природе.

К вечеру нагнал их бедуин на верблюде. Опять Нехуштан узнал его издали: это был один из младших сыновей Элиона рехавита, брат Эдны. Самсон подождал его; тот спешился, и пошли они рядом, далеко позади остальных.

— Сестра моя родила двух мальчиков, — сказал юноша. — Отец слышал от кочевников, что ты еще в Этамских горах, и прислал меня к тебе. Он спрашивает: как назвать сыновей? Ибо, может быть, есть у тебя на этот случай какой-нибудь обет.

— Назовите одного Ремидор, а второго Меридор, — сказал Самсон.

Это значит: Поколение обмана, Поколение раздора.

Молодой человек приложил руку к груди и ко лбу, сел на верблюда и уехал на восток.

Но, когда он вернулся в оазис рехавитов, Элион покачал головою и решил:

— Грех давать невинным младенцам имена проклятия.

Тогда Эдна сама назвала старшего, как еще Самсону сказала, Элеавани, а младшего Адалори.

Никто не понял, почему такое имя: "Доколе свет мой не погаснет". Может быть, она подумала, не забуду, пока светит мне солнце; но ее не расспрашивали. Имя ребенка тоже есть обет отца или матери: нельзя допытываться, почему.

Глава XX. КОЛЕНА

Есть пещера недалеко от Артуфа, уже в отрогах верхней Иудеи; до сих пор ее называют пещерой Самсона. В то время еще не было Артуфа, и те горы принадлежали не Иуде, и даже не Дану, а иевуситам, но иевуситы редко туда забредали. Место считалось нечистым, и ту пещеру тогда называли Чертова дыра.

В этой пещере Самсон назначил свидание трем важным своим современникам. Еще в Эн-Геди, куда они свернули потому, что прямая дорога на Маон была не под силу Маною, привел к нему бен-Шуни трех юрких левитов, скупщиков шерсти, фиников и соли. Махбонай за них поручился.

— Они из моего города, — сказал он. — Если придут они к тебе с товаром, не верь ни одному слову: но тайного дела не выдадут.

В Иуде самым смелым человеком тогда считался бен-Калев из Текоа: Иорам, сын Калева, сына Амминедера, сына Бохри, сына Мархешека. Махбонай знал всю цепь его предков до десятого рода и отзывался о нем с особенной почтительностью. Род его был один из самых богатых в стране; старший брат его был начальником города, и отец, и дед, и десятый прадед тоже — по иудейскому обычаю должности не зависели от прихоти народной, а переходили от первенца к первенцу. Иорам считался грозой волков, медведей и скотокрадов; самые именитые грабители обходили его пастбища; и в народе шептались, будто он придумал такую военную

хитрость, при помощи которой можно будет взять неприступный Иевус; а это был бы мудрый шаг, ибо в Иевус три раза в год приходят племена со всех берегов Соленого моря и приносят несметные дары козлоному, рогатому, косматому Сиону, богу пустыни.

Из богатырей Вениамина славился одноглазый Мерав, по прозвищу Хаш-Баз, краса и гордость Гивы; славился и силой, и тем, что не давал проходу ни одной крутобедрой девушке и ни одному пухлому мальчику. Туземцы в долине Иордана были не те, что в Ханаане: там у них были свои села и свои князья, и они метко стреляли из лука; но когда не вовремя поступала от них подать, к ним на усмирение посылали Мерава, и это они его прозвали Хаш-Баз: спорый грабитель. У него, говорили, прекрасный голос, и он сам сочинял песни о разных способах и разных предметах любви; Земер, кудрявая служанка из харчевни госпожи Дергето в Тимнате, прежде изучавшая основы своего ремесла в вениаминовой Гиве, часто забавляла филистимлян отрывками из этих песен, закрывая лицо при некоторых строфах. Он был сам небогат, ростовщики давно забрали у него родовые поля и стада, но как-то всегда в кошельке у него звенели серебряные кольца.

Тавриммон, по прозвищу ха-Шилони, то есть уроженец города Силома, проживал, однако, в Галгале ефремовом, что когда-то назывался "Галгал разноплеменный": это в горах, ровно полдороги между Иевусом и Сихемом. Жил он там широко: вымостил площадь вокруг своего дворца каменными плитами (он видел такие мощеные площади в Доре), и горожане называли его "князь". О нем рассказывали, будто он умел править колесницей и будто несколько раз одержал победу на гонках в Доре; или будто однажды, в земле Нафтали, он переплыл озеро Генисаретское в самом широком месте.

К этим трем вождям отправил Самсон своих гонцов из Эн-Геди. Чтобы придать им больше посольской важности, Махбонай каждому из них вручил по свитку из тонкой, чисто выглаженной козьей шкуры, на которой он нарисовал ровными строками очень много палочек, крестиков и крючков; но, предвидя, что ни один из вельмож не умеет читать, посоветовал Самсону в то же время растолковать посланцам устно, в чем их задание. Это было приглашение бен-Калеву, Хаш-Базу и Тавриммону тайно встретиться с Самсоном в Чертовой пещере в первое новолуние от сего дня по делу исключительной важности. Какое дело, сразу не надо говорить; но если те будут настаивать, то можно намекнуть.

Самсон выбрал это место с расчетом, обличавшим уже тогда, несмотря на его молодость, большое чутье людских предрассудков. Это земля иевуситов: не Дан, не Иуда, не Вениамин, не Ефрем; никому не обидно. И название пещеры — Хор ха-Шедим²⁰ — окажется, может быть, добавочной приманкой для людей, дорожащих своей репутацией бесстрашия; ибо Самсон далеко еще не был уверен, что они придут на его зов без других приманок, хотя Махбонай и уверял, что слава о нем уже успела прокатиться по всему Ханаану.

Они, однако, пришли; не из-за приманки, а из-за славы Самсона и еще больше из страха перед тем замыслом, который шепотом и обиняками передали им левиты. Не пришел только Тавриммон ха-Шилони, князь Галгала ефремова, который вместо себя прислал чистенько одетого молодого человека, лет тридцати, правда, широкоплечего, но глуповатого на вид.

— Меня зовут Ярив, — сказал он, и переливы голоса его несколько напомнили Самсону изысканный говор его прежних филистимских друзей, — я сын кормилицы князя и вырос

в его доме. Князь просит тебя и остальных князей извинить его, но он занят именно теперь неотложными делами.

Самсон нахмурился: и эти "князья", и выложенная речь, явно заученная, не понравилась ему; и не понравилось то, что ха-Шилони отказался прийти. Мерав из Гивы усмехнулся и пробормотал завистливую поговорку:

— Пышно расцвел Иосиф, словно куст у ручья.

Ярив даже не покосился на него, как будто не слышал.

Самсон коротко спросил:

— Дал ли тебе право Тавриммон ответить за него да или нет?

Про себя он решил — если не дал, он скажет этому щеголю: "Уходи". Ярив замаялся: вопроса он не предвидел, ответа на него не приготовил. Но потом он сообразил, что на главный вопрос, по которому их созвали, ответ "князя" уже готов заранее и ему известен; поэтому он закивал головой и поспешно сказал, даже забыв второпях свои переливы:

— Конечно, конечно; я уполномочен.

Привели их сюда те же левиты: в качестве бродячих торговцев, они умели найти любое место, даже такое, где нечего продать. Они, с Нехуштаном, с чернокожим слугою Иорама из Текоа, с пухлым и томным юношей, сопровождавшим Мерава из Гивы, и с тремя оруженосцами Ярива остались у порога пещеры на страже. В глубине пещеры, при свете одного факела, Самсон изложил перед воеводами Иуды и Вениамина и пред сыном кормилицы воеводы Ефрема свой план союза против филистимлян.

Он обдумал давно все подробности. Поход надо начать сразу в четырех направлениях; первая задача — забрать склады медного и железного оружия и угнать к себе кузнецов; вторая — поднять туземцев. Говорил он спокойно и разумно; его голос, как

всегда в этих случаях, располагал к нему людей, шевеля все, что было в их сердце хорошего. Собеседники его знали, что он много моложе своей внешности; пришли они, должно быть, с намерением напомнить ему об этом, и о бедности Дана тоже — хотя все-таки пришли, потому что силу уважали; но, слушая его, они потеряли охоту портить отношения с ним лично, и, может быть, не только из-за того, что он был ростом выше их на голову и еще на полголовы, а от плеча до плеча на плечо шире.

”Хороший человек, нам бы такого”, — подумал Иорам из Текоа, когда Самсон кончил и никто еще не собрался отвечать.

Он же, Иорам, и заговорил первый.

— Подумал ли ты, — спросил он, — о разнице в вооружении? Каждый воин у них выходит на битву с двумя мечами, кроме копья и щита. Конечно, ты предлагаешь с самого начала забрать у них арсеналы и кузнецов. Но главные склады у них не в пограничных селениях, ибо филистимляне осторожны, а в пяти столицах. Как добраться до столиц? И что будут ковать те кузнецы, даже когда мы их уведем к себе и заставим работать? В наших землях меди не хватит на одну тысячу, а железа на десять десятков.

— Посмотри кругом, — сказал Самсон. — От Сихема до Эйн-Геди, все это склад оружия, которое бьет дальше меча и даже копья. Это — камень. За два месяца до похода пошлите рабов и туземцев колоть каменный щебень. А Филистия — глина да песок; метать они умеют, я сам это видел, да нечего метать. И их мало, а нас много; можем завалить целое поле, пока первый из них добежит на копейный перелет. Все дело в том, чтобы нас было много; для того и нужен союз.

— А кони в медных сапогах? а колесницы с железными кольцами вокруг колес? — продолжал Иорам, качая головою.

Хаш-Баз, богатырь из Гивы, подмигнул единственным глазом и вмешался:

— Брат наш Иуда, к сожалению, не пожелал в свое время придти на зов пророчицы Деборы, а потому нет у него и опыта. У Сисары на Киссоне тоже были колесницы, но Дебора и Варак побили его. Почему? Прав данит: потому что был союз; на одну колесницу сотня наших. Пятерых она раздавила, кони запутались и стали — бери их руками.

Но Ярив ему ответил:

— Я видел колесницы в Доре; князь, мой брат, сам умеет править парой. Трудно устоять против колесницы; даже на ристалище, когда чудится, что летит она прямо на тебя (хотя сам знаешь, что сейчас она свернет по кругу), — и тогда страшно, и хочется отступить в толпу. Велика сила колесницы, а ужас еще больше: кто встретит ее стоя и не побежит?

Хаш-Баз пробормотал, сохраняя напев, отрывок из собственной песни:

— "Повернись, дружок, и беги подобно серне на горах"... ефремовых.

Ярив и это пропустил, не моргнув, как из родового презрения к Вениамину, так и из личного благоразумия.

— И кто знает, — заговорил опять Иорам, обращаясь к Самсону, — кто сосчитал их колесницы — и наши полчища? Может быть, тех не так мало, этих не так много.

Хаш-Баз опять подмигнул и сказал хотя и громко, но сам себе:

— Иуда — что лев, только лежащий; кто его подымет? никто.

Бен-Калев к нему повернулся и спросил без всякого раздражения в голосе, как будто просто желая выяснить мнение каждого:

— Очевидно, брат наш от Вениамина склонен

пойти с братом нашим данитом? Мы хотели бы услышать его веское слово.

Глаз Мерава из Гивы вдруг загорелся в полутьме насмешливой злобой.

— Вениамин — младенец, — сказал он, — последний по счету среди колен; не дорос он решать дела перед старшими. Старший из нас Иуда. Глубок Иуда, не разглядишь. Виноградники у него, и стада у него. Посмотришь в очи его — пылают гневом, как от вина; а раскроет белые зубы, заговорит — молоко, сладкое молоко. С чем пришел ты сегодня, бен-Калев бен-Бохри бен-Хишки бен-Нишки, бен-Иуда, — что в меху твоём — вино или молоко? Ты старший, ты и начинай.

Иорам сказал спокойно:

— Иногда пей вино, иногда молоко: что ко времени. Много отваги в делах твоих, Самсон, и не по летам много мудрости в словах. Но время еще не пришло. Мерав напомнил о Сисаре; но не приравнивай пса ко льву. Кто был Явин, царь Хацора, и воеводы его, и народ его? Сброд ханаанский, те же наши туземцы, данники Сидона — да и Сидон немногим лучше. Совсем не то филистимляне: кровь их одна, без примеси; они дети своих отцов. Пусть и смеется над этим наш родич из Гивы, измышляя имена моих дедов; но кто помнит прадеда, в том есть наука и сила четырех поколений. Газа не Хацор; еще не родился Варак для саронской долины, хоть ты сам и сильнее Варака.

— Нынче ты славишь Варака, — сказал одноглазый, — а когда звал он вас на гору Фавор, вы не пришли. Кстати: а Дан-то пришел? Не помню; надо будет расспросить стариков.

— И теперь не придем, — твердо ответил бен-Калев. — Не стригут овец, пока не обросли; не доят козы, пока не наполнилось вымя; не собирают винограда, пока не созрел. Прав молочный брат Тавриммона ха-Шилони: много ли таких, кто не

побежит от колесницы, кто бросится под ноги коням? Сегодня мало. А будет много. Зреет виноград и в свое время созреет; тогда будет вино.

— А покуда, — спросил Самсон, тяжело дыша, — Иуда согласен платить дань, и стража его ждет приказов из Гата?

— Невместно Дану говорить языком Вениамина, — сказал Иорам укоризненно. — Не дань, а подарки; не приказ это был, а просьба о выдаче беглого — как сосед у соседа, когда забредет овца в чужое стадо. Да, мы посылаем дары в Газу и воров из Гата возвращаем Гату; и вы поступайте так же, если придется. А что решат наши внуки, дело внуков.

Мерав засмеялся и хлопнул себя по животу.

— Вот он, Иуда! — крикнул он, обращаясь к Самсону. — Ты их не знаешь, а я знаю. Их и спрашивать не стоит. Хуже того: если и пойдут они с тобою, не иди: пересчитают, передумают и оставят тебя одного на дороге. Если бы он сказал: "Иду", я бы из-за этого одного сказал: "Нет".

Самсон спросил его:

— Иуда не идет. Пойдешь без Иуды?

Одноглазый опять подмигнул:

— Ефрем старше нас; мы что? волчата, а они "князья". Спроси раньше княжьего брата.

Посол Тавриммона оправил одежду и сказал с выражением учтивой усталости:

— Хотя и сожалею о горячности, с какою вы ведете эту беседу, но вполне понимаю причины ее. Дело это для вас — близкое дело. Но ведь мы иначе стоим. Между нами и филистимлянами лежит полоса земли, еще не занятой ни нами, ни ими, никем, кроме туземцев. Столкновений у нас не было. Дани мы не платим и даже подарков не посылаем — хотя я признаюсь, что разница между этими двумя видами подати мне темна. Для нас со стороны Кафтора опасности нет.

— А Бет-Шан? — спросил Самсон. — Разве не

вторглись филистимляне в Бет-Шан к востоку от вашей страны и не стерегут вас теперь и с заката, и с восхода?

Ярив пожал плечами.

— Бет-Шан не Ефрем. Это дело Манассии или Иссахара — я не помню, чей это край.

Самсон усмехнулся.

— Справа горит, слева горит, — сказал он, — твой дом посередине; а тушить — не твое дело. Разве слеп Ефрем? разве не отец ваш Иосиф учил: в год урожая готовься к засухе?²¹

Это предание он слышал от Элиона рехавита.

— Хорошо, — ответил Ярив, — что ты сам произнес это слово: пожар. Мне поручено князем поговорить именно об этом; ради того он меня и прислал, но я колебался начать. Пожар, говорит князь, был, и был он в Тимнате. На этот раз он потух сам собою; потухнет до конца, если Дан не покусится на подарки. Во второй раз это может кончиться хуже. Мы не слепы, уважаемый князь из Цоры дановой: мы знаем, что огонь у соседа — опасная вещь. Оттого мы и просим: не умножать огня. Ни князь мой, ни я не хотим никого упрекать; но правду сказать надо.

— Каково? — вставил Хаш-Баз. — Жаль, что вытащили Иосифа из ямы, жаль.

— Бет-Шан, — повторил Самсон упрямо, — ты забыл о Бет-Шане. Там ведь я не поджигал. Этот огонь — из земли.

— Бет-Шан да Бет-Шан, — ответил Ярив с нетерпением, и даже привзвизгнул, — я тебе говорю разумные доводы, а ты повторяешь одно слово.

— Это не слово, а крепость. Крепости строят тогда, когда есть умысел. Если одна в Экроне, а другая в Бет-Шане, значит, хотят овладеть всей областью между Экроном и Бет-Шаном. Это — не только Дан; это и Ефрем, и Манассия.

Ярив был очень недоволен; что-то забормотал, даже совсем неожиданно для всех поскреб затылок

— очевидно в большой забывчивости; наконец, угрюмо заявил:

— Князь говорит: не пойдем, — и отвернулся.

— Сколь прекрасны два языка твои, Ефрем! — воскликнул Хаш-Баз. — Слышали вы этого посла? То он поет величаво, как царедворец из Сидона; то визжит, как туземная торговка на рынке. Два языка у Иосифа, два и больше. Когда ефремлянка Дебора прислала гонцов к Вениамину за помощью, старосты наши тоже спросили: что за дело Вениамину до Хацора? Тогда ефремляне говорили совершенно как ты, Самсон, — точь-в-точь, как ты теперь. А при дележе добычи, когда нас обсчитали, язык уже был другой. А сегодня — третий.

Самсон обратился к нему:

— Может быть, у Вениамина зато один язык: что говорит Вениамин?

Мерав из Мицпы раскрыл рот, поднял брови, выпучил глаз, развел руками:

— О чем?

— Пойдете?

— Куда?

— С Даном, на филистимлян.

— Это что за новизна? Зачем?

У Самсона лицо вдруг налилось кровью; он сказал медленно, негромко и настойчиво:

— Ты мой гость; но худо будет, если я подумаю, что ты смеешься. Отвечай по-людски.

Одноглазый внимательно посмотрел на него, прицениваясь; сообразил, что издеваться дальше опасно, это не Ярив и не Иорам; но язвить можно. Он ответил:

— Непонятно вы судите в земле Дана; и память у вас дырявая. На филистимлян? С Даном? Почему? Не из Экрона филистимского пришли, год тому назад, разбойники в наше село Хереш, угнали овец и перебили народ: пришли они из Шаалаввима и назвались цоранами. Экрон нас не трогал. А

затронет — сами справимся. Волком вы прозвали Вениамина, и пускай. Волк сам себя защищает; не пойдем кланяться за помощью ни к козлам, ни к ослам, ни к баранам.

Страстно захотелось Самсону схватить их всех за бороды, пачкой, в одну руку, и стукнуть головами об утес; но они пришли по его приглашению. Молча он встал, поклонился и вышел.

У входа в пещеру жирный юноша, слуга Хаш-База, причесывал гребнем волосы и зевал. Увидя Самсона, он сказал томно и тягуче:

— Благодарение Молоху, кончили. Где ты, Мерав? Мне скучно.

* * *

Так остался Дан, среди всех колен, один лицом к лицу с могучим соседом.

— Хорошо, — подумал Самсон, когда прошел его гнев. — И еще лучше: один Самсон, из всего Дана.

Еще накануне он думал собрать войско, превратить весь край в военный лагерь. Но теперь это не имело смысла. Все — это сила; часть — только помеха. А сильнейшая сила — один. Ангел, пришедший к его матери, знал это. "Назорей" значит отшельник: рожден не как все, живет не как все, творит суд не по обычаю, веселится по-чужому, воюет в одиночку и умирает по-своему.

Большинство шакалов, услышав о его приходе, вернулись к нему в Цору; но не все.

— А где Мевуннай? Где Нимши, Цалаф, Азур?

Мевуннай женился; Цалаф получил наследство; Азур обиделся за то, что выдали Гуша и Ягира, и сказал: "Это не мой народ"; Нимши просто передумал.

— И вы ступайте все по домам, — сказал Самсон.

— За прошлое спасибо, а дальше нам не по пути.

Они разошлись; только Нехуштан не тронулся.

— Ты не слышал моего приказа? — спросил Самсон.

Нехуштан ответил вопросом, очень спокойно:

— Разве я раб твой?

— Нет.

— Что же мне за дело до твоих приказов? Я остаюсь.

Глава XXI. ДОМ И ЧУЖБИНА

Десять лет или больше был Самсон судьей и пугалом у Дана, грозой и любимцем у Филистии.

В земле Дана произошли за это время большие перемены. Стало просторнее, много народу ушло на север, и ежегодно уходили новые. Там они сожгли город Лаиш и потом сами жалели, что сожгли: пришлось строить заново. И с туземцами поступили на первых порах нерассудительно: перебили не только аморреев, от которых, в самом деле, не могло быть никакой пользы, но и хиввейцев, которые, при хорошей хозяйской палке, давали прилежных рабов. Потом пришлось учинить большой набег на соседние земли Ашера и Нафтали и угнать оттуда гуртом несколько деревень туземцев с женами, детьми и скотом. Из-за этого была война с Ашером — впрочем, небольшая. Но пока все это улаживалось, жить на выселках было трудно; как предвидел Самсон, многие вернулись, обзывая глупцами встречных, которые плелись с поклажей на север. Самсону это надоело.

— Сам буду отбирать, кому идти, а кому оставаться, — объявил он однажды.

Права на это он не имел; но Дан уже стал привыкать к парадоксальности его решений: к тому, что из них часто все-таки выходила какая-то польза. И люди, думавшие о переселении на север, стали приходить к нему за спросом. Присмотревшись несколько раз, кого он отбирает, старики Цоры, по обыкновению, покачали

головами. Когда приходил человек толковый, расторопный, явно добрый хозяин, Самсон ему по большей части приказывал остаться; а бессмысленный сброд, таких, что уже три раза начинали разные дела и бросали, не доделав, отпускал охотно.

— Для нас-то здесь оно лучше, — сказали ему старосты, — но честно ли это перед северянами?

— Честно, — ответил Самсон. — Хорошие люди разборчивы. Новая страна — как песок: пшеницу на нем не посеешь, а репейник можно.

Около того времени пригнали к нему много народу на суд. Были среди них воры и один убийца. Обыкновенно Самсон тут же производил расправу. На этот раз он велел всех осужденных связать и бросить в яму. Когда суды кончились, их опять к нему вывели. Самсон им сказал:

— Выбирайте: или палки — а тебе камни, — или ступайте на север; и если вернетесь — смерть.

Они предпочли, конечно, север. И опять возмутились старики.

В конце концов, оказался прав Самсон: суровая жизнь и короткая расправа нового края скоро отучила воров от проказ, а ловкость рук и энергия осталась и пошла впрок — у тех, которые выжили.

Из люда честного он отпускал охотно или холостых или давно женатых, но молодоженам запрещал трогаться с места.

— Дозволь нам уйти, судья, — просил один из них и при этом указал пальцем на жену, задорно скалившую зубы. — Смотри, что за грудь и бока — она выносливая. Ты отошальных старух отпускал, а ее не отпустишь?

— Не отпущу, — сказал Самсон. — Она тебя загрызет. Куда не ходят коробейники, там не житье мужу молодежи.

Только одному цоранину с молодой женою разрешил Самсон уйти на север; женщину звали Карни.

Легче стало жить на границе вениаминовой. В Хереше, главном гнезде овечьих воров, вообще не осталось ни вора, ни честного. Произошло это совсем просто. Однажды, вскоре после совета в Чертовой пещере, Самсон пришел в Хереш один, сел у ворот и ничего никому не сказал — но через минуту собрались перед ним старосты, а народ столпился вокруг и подавленно перешептывался.

Самсон посмотрел на стариков пристально и сказал:

— Отныне вот вам закон: если пропадет одна овца на границе — деревню сожгу, а вас, старейшин, повешу на деревьях.

И здесь тоже никому не пришло в голову спросить, по какому праву, или усомниться, может ли он исполнить угрозу. Как деловитые люди, которым не до пустых разговоров, они стали торговаться.

— Разве мы одни на границе? — спросили они.
— А если придут воры из другого села — мы чем виноваты?

— Некогда мне ходить по вашим селам, — ответил Самсон. — Пропала овца — пропал Хереш.

Они развели руками:

— Нам ли сторожить всю границу?

— А то кому же? Вам расплачиваться — вы и сторожите.

— Господин, — заговорил один из них, — ты человек мудрый, с тобой хитрить нельзя. Это правда — херешане живут чужими стадами. Так ведется у нас со времени дедов. Без этого мы — как земледелец без сохи. Сам посуди, чем прожить нам после твоего приказа?

— Разве не обещал я вам помочь? — спросил Самсон.

— Помочь?

— Село сожгу, вас повешу: вот и не останется больше забот, чем прожить.

Сказав это, Самсон поднялся и ушел обратно, а старики и весь народ начали совещаться в великом замешательстве.

Около полудня проехали через их село богатые молодые люди из Бет-Хорона. Это была вещь обычная: несмотря на уводы девушек и другие бесчинства, их еще все-таки ласково принимали в Шаалаввиме, угощали и пускали на пляску. На молодых людях были праздничные платья, и ослы их были разубраны по-праздничному.

Херешане рассказали им про самсонов приказ. Те их высмеяли и уехали дальше по дороге в Шаалаввим, а сходка у ворот разошлась, ничего не решив.

Но на рассвете молодые люди из Бет-Хорона опять показались на околице деревни. Теперь они шли пешком, совершенно голые; и у всех до одного были острижены бороды, а это считалось наибольшим срамом, какой может постигнуть человека.

Вскоре после этого Хереш начал пустеть, пока совсем не опустел. Часть ушла в глубину Вениамина, часть на Иордан, остальные к Иуде или Ефрему. Потому и не осталось памяти от села Хереш, что на полдороге между Шаалаввимом и Бет-Хороном, — ни слова в книгах, ни развалин на земле.

* * *

И иевуситов раз навсегда отучил Самсон от непрошенных посещений Айялона. Бить их он не хотел: они его любили, всегда выслеживали для него пантер и медведей и, очевидно, считали богом. Он для них придумал совсем небывалую острастку. Пришли они раз толпою к воротам Айялона и расположились на ночлег, рассчитывая

на поживу утром, когда откроется рынок. Но на заре их окружили, отобрали каждого десятого, потащили в купальню и, несмотря на их отчаянные вопли, с головы до ног вымыли щелоком и горячей водой. Такого погрома никогда еще не переживал иевуситский народ. В земле их было так мало источников, что тратить воду на пустяки считалось смертным грехом; только жрецам их при капище бога Сиона-Азазеля в Иевусе предписывалась эта роскошь три раза в году. Табор в ужасе разбежался; опозоренные жертвы расправы поплелись к себе в горы с опущенными головами; семь недель после этого считались они у своего народа нечистыми, спали на голой земле, и никто с ними не хотел иметь дела; только жены их, воротя носы, каждый день натирали их козьими следами, чтобы опять вытравить неприятный человеческий запах, по которому иевуситы в темноте издали опознавали чужеземца.

* * *

Судил Самсон только у себя в Цоре; к нему приходило много народу, хотя не по сердцу людям были его приговоры. Кривды он не допускал и с дурными людьми расправлялся жестоко, но почти всегда было в его решении что-то неожиданное, раздражающее. У людей поумнее сложилось смутное чувство, что он издевается и над сторонами, и надо всею сходкой вокруг; издевается, не улыбаясь, сохраняя черствую суровость на лице, роняя слова скупно и резко; резче и скупее с каждым годом. И все-таки ходили к нему на суд.

Неплохо жилось Дану в годы судьи Самсона. Ему верили, без его совета не начинали никакого дела; повторяли его поговорки; тревожились, когда он долго не возвращался из Филистии; и терпеть его не могли.

Зато обожала Самсона Филистия. О туземцах нечего говорить: они были все у него на посылках, шли за него под кнут и пытку, прятали его, шпионили для него, с радостью давали ему на ночь не только дочерей, но и жен; говорят, делали себе идолов с семью рожками и приносили им жертвы трижды в году или особо в случае беды. Это и была, конечно, главная причина его неуловимости, всезнания, вездесущности.

Но страннее всего (если только вообще это странно) было отношение самих филистимлян. По закону их он был разбойник, свирепый и коварный; за его голову была назначена цена (которой, впрочем, уже никто не помнил), за приют, ему оказанный, плети и смерть; среди стражи на пограничных и внутренних заставах мечтою каждого очень молодого сотника было привести Самсона в Газу или в Экрон на веревке. И вместе с тем уже давно, или еще никогда, не было у филистимлян такого общего любимца.

Однажды в Газу прибыл важный гость из Египта, и друзья повели его смотреть красоты города. Показали ему свою гавань, называвшуюся "Маим"; показали мощеную площадь перед храмом, на которой было, говорят, десять тысяч квадратных каменных плит; показали внутри храма истукан Дагона и шепнули гостю на ухо (он был человек свободомыслящий) любимую в Газе остроту о своем боге — "помесь осла и скумбрии"; показали последнюю свою гордость, Железные ворота, знаменитые во всем Ханаане; но при этом все время, наперебой, с возмущением и восхищением, перечисляли ему проделки Таиша. В конце концов египтянин написал домой такое письмо:

"... Строения здесь небольшие и бедные, хотя для этой грубой страны и они, бесспорно, являются достопримечательными. Пресловутый

идол во храме здешнем вытесан из цельного камня, величиною с быка или больше, и стоит на золоченой подставке, под навесом, опирающимся на четыре столба; каждый столб из другой каменной породы. Все это довольно убого. По мнению жрецов, идол изображает рогатую акулу с туловищем быка; ибо Дагон, согласно преданию, родился от очень странного брака. Отцом его был наш собственный золотой телец, которому некогда поклонялись и на Крите, ибо глупость легко переплывает моря; а мать его — морское чудище, божество рыбаков на малых островах. Образованная молодежь Газы, однако, смеется над этим: истукан очень стар, привезен еще с Кафтора, весь обтерся и похож на что угодно.

Вообще вельможи здешние сами сознают захудалость своей роскоши и, показывая иноземцу свои дворцы, укрепления и капища, подтрунивают над ними, над собою и вообще надо всем, что на земле и в небесах, не хуже, чем мы с вами в Мемфисе.

Единственное, чем они, по-моему, действительно гордятся, это некий разбойник из дикого племени, живущего на востоке от Филистии”.

* * *

Как-то назначили в Асдоте нового начальника стражи. Он был очень юн, мечтал об отличии и служил до тех пор только в сельских округах, надзирая за тем, чтобы туземцы работали и не бунтовали. К своей новой должности он отнесся добросовестно. Город был полон притонов, где каждую ночь игроки спаивали и обирали корабельщиков, и каждую ночь это кончалось поножовщиной. Молодой офицер начал лично с отрядом обходить по вечерам харчевни.

На третью ночь он остановился у забора одного из крупнейших постоянных дворов: еще издали

поразил его шум, доносившийся оттуда. Большое общество пировало там на открытом воздухе; лиц он не видел, но по выговору понял, что это не сброд, а молодежь из богатого круга. Один из них изображал в лицах обряды газского храма. Сотник, подслушивая, сам начал смеяться: рассказчик удивительно похоже передавал гнусавую молитву старшего священника на древнем языке Кафтора; сам он, как и все остальные, конечно, этого языка не знал, но уморительно подхватил его свистящую и шипящую скороговорку. Особенно смешно было то, что в молитву, через каждые два-три слова, врывалось тоскливое бление жертвенного барана, и минутами казалось, что это баран молится, а жрец ему только вторит. Компания помирала от хохота, причем некоторые гудели тем важным басом, который дается только лицам большого чина.

Офицер хотел идти дальше, как вдруг его остановила знакомая кличка. Кто-то из веселой гурьбы закричал:

— Таиш! Когда ты сдержишь обещание — "по шапке на косицу"?

Сотник сдвинул брови, бесшумно вошел во двор и увидел Самсона. Тот сидел на дальнем конце стола, а на ближайшем к калитке возлежал, держась за бока, главный судья Асдота. Молодой офицер растерялся. С огромными предосторожностями удалось ему вызвать сановника из-за стола в неосвещенный угол, и там он, стоя навытяжку, заявил вежливо, но твердо:

— Судья, у меня строгий наказ — захватить этого разбойника живым или мертвым.

Судья потрепал его по плечу:

— Ты недавно в Асдоте, — сказал он.

И, взяв под руку молодого человека, он усадил его рядом с собою и велел подать еще вина. Так и просидел там сотник далеко за полночь, смеясь до икоты самсоновым остротам; и Самсон

действительно сдержал то обещание, о котором напомнил ему один из пировавших, и поборол семерых разом — это и называлось у них: по одной филистимской шапке на каждую его косицу. А в конце попойки судья снова потрепал сотника по плечу и сказал ему довольно отчетливо:

— Что ты знаешь наказ, это хорошо; но надо знать также и обычай.

* * *

В конце концов, сложился неписанный закон, честно соблюдавшийся обеими сторонами. Если Самсон приходил к туземцам — значит, беда: берегите дома, караваны, заставы; двойная стража, обыски, облавы — и тут, если бы его нашли — и если бы одолели — был бы ему конец; но, конечно, трудная была задача — изловить человека среди тысяч туземных хуторов, где каждый батрак охотнее умрет, чем выдаст. Если же являлся он открыто сразу к филистимлянам — тогда был он гость, и желанный. С ним пировали тогда лучшие люди страны, судьи, начальники, придворные саранов; пировали бы сараны, если бы не запрещал им обычай ходить по харчевням. Но и дома богатейших открыты были Самсону, только сам он их избегал: там были женщины.

Много заглядывалось на Самсона филистимлянок, и блудницы, и мужние жены, и барышни; но он на них не глядел. Однажды в Аскалоне жена казначея, первая красавица города, подослала к нему вернейшую из молодых своих рабынь.

— Госпожа моя ждет тебя в горнице, — шепнула ему девушка, — я тебя провожу.

Самсон ответил:

— Не хочу я твоей госпожи; ты лучше. Остаюсь со мною.

Она осталась, хоть знала, что утром, вернувшись во дворец, дорого расплатится.

* * *

Самсон тоже любил Филистию. Знал он ее теперь вдоль и поперек и вглубь, и в душе судил о ней трезво. Это было государство красивых пьявок. Труд у них даже не считался позором: он просто был вне поля зрения. Бедных было много, особенно разоряла их игра: обедневшие кормились подачками вельмож или опять игрою в кости, или уходили в Египет, или кидались на меч: мысль о труде руками не могла им придти в голову, как мысль о ходьбе на руках вместо ног.

Все, что носит имя работы, — кроме женского рукоделья, — все, до чего дотрагивается рука и от чего рождаются вещи, делал у них туземец. Трудно было сказать, у кого хуже было жить обломкам прежних племен Ханаана — у колен израильских или в стране Пяти городов. Они тут не вымирали и не растворялись: напротив, их было много, по меньшей мере впятеро против филистимлян. Но каждый час их жизни принадлежал господам; и филистимляне, между собою ветреные и нерасчетливые, умели в отношении к туземцу следить, чтобы ни одна минута из этого часа не пропала даром. Они были прекрасные хозяева и любили порядок.

Их порядку Самсон дивился больше всего. Их строя понять он не мог: точная, разработанная, многоветвистая иерархия, разграничение функций, твердые правила для каждой стороны управления — все это было ему недоступно, казалось путаницей. Но он ясно видел, что выходит из этого не путаница, а великий лад. Были какие-то заведенные пути, по которым стройно текли дела от заставы до сарана; были незыблемые обряды для взаимодействия между пятью саранами — им

не приходилось созывать друг друга тайком на советы в Чертовой пещере! Жизнь бежала ровно, как по воде круги от брошенного камня.

Однажды в Газе он видел зрелище, о котором когда-то рассказывала ему Семадар.

На площади перед храмом собрались на праздничную пляску юноши и девушки. Их было несколько тысяч — по одному на каждой плите. Все они были одеты одинаково, все в белом; на юношах были короткие опоясанные рубашки, на девушках — платья с оборками до самой земли, в талию, с длинными рукавами, как обычно, только с голым вырезом во всю ширину и глубину груди. Выстроили их по росту, двумя лагерями: справа молодые люди, а девушки слева. Управлял танцем безбородый жрец; он стоял на верхней ступени паперти, и в руках у него была палочка из слоновой кости.

Когда началась музыка, все застыли — и участники пляски на плитах, и громадная толпа кругом, на деревянных подмостках, на крышах домов, на немощенных обочинах площади; слышен был рев прибоя с набережной далекого Маима, порта Газы. На танцующих не колыхнулась ни одна складка; даже у оголенных девушек трудно было заметить дыхание. Безбородый жрец побледнел и ушел глазами в них, они в него; он бледнел все больше — казалось, что весь задержанный порыв этих тысяч сгустился в его груди и сейчас его задушит насмерть. Самсон и сам чувствовал, что кровь прилила к его сердцу, и если это продлится еще несколько мгновений, он захлебнется. Вдруг этот жрец быстро, почти незаметно, едва-едва поднял палочку, и все белые фигуры на площади упали на левое колено и выбросили к небу правую руку — одним движением, с одним отрывистым аккордом шороха, точь-в-точь. У десятитысячной толпы вырвался вздох или стон; Самсон пошатнулся и заметил, что облизывает

кровь — так он закусил перед этим губу.

Вся пляска состояла из таких поворотов по мановению палочки, то резких, то плавных, и тянулась она недолго. Но Самсон ушел с праздника в глубокой задумчивости. Еще в передаче Семадар его поразила эта картина единой воли, стройно движущей тысячами. Теперь она его подавила своим колдовством. Он не мог бы высказать эту мысль, но смутно чувствовал, что тут ему показали главную тайну народов, создающих государства.

Глава XXII. В ОДИНОЧКУ

О разбоях и проделках Самсона ходило по стране много легенд. Большинство были вымышленные; остальные чаще всего сводились к одному превосходству мускулов, и рассказывать о них не стоит. Он просто был сильнее всех людей, живших на свете до него и после; в расцвете зрелости мог повалить кулаком буйвола, перетянуть четырех лошадей; и все это знали. Потому действительно бывали случаи, когда он ходил в одиночку, с дубиной, может быть, и вправду с тут же подобранной большой костью, на вооруженную толпу: еще до стычки передние теряли бодрость и веру в себя, он их давил, как муравьев, а остальные разбегались. Однажды в харчевне он нарочно дал себя сковать, потом связать, и разорвал не только медные кандалы, что не такое уж чудо, но и путы из сыромятной кожи, чего люди никогда не видали и не увидят. А кровь в нем была такая терпкая и здоровая, что сейчас же створаживалась, закрывая самую глубокую рану: и порезы его заживали с быстротой, о которой филистимские лекаря посылали доклады египетским.

Но, кроме силы мышц, у него были и другие преимущества. Главное было дано ему с детства и до смерти, само по себе не редкое, но в редкой степени: он читал человеческие мысли безошибочно. Против него не помогала никакая военная хитрость. Большинство офицеров он знал лично: довольно было ему раз увидеть человека,

услышать его голос, чтобы понять его насквозь, знать, что тот замыслит, как ухитрится в любом случае. Но и о человеке, никогда не виданном, по двум-трем отзывам он умел составить живой образ и уже дальше знал его наизусть.

Об этой его черте филистимляне рассказывали такую басню: на правом берегу Яркона, недалеко от устья, был пригорок, на котором еще первые филистимские завоеватели выстроили сторожевую башню. Они ее прозвали по-своему, башня царя Миноса, — и до сих пор то место носит похожее название. Это был у них главный военный пост северного побережья.

Однажды Самсон кутил со старым знакомым из Аскалона; звали его, как и большинство знатных филистимлян, Ахиш. Он сказал Самсону:

— Беда тебе готовится, Таиш. Скоро переведут начальником на холме царя Миноса земляка моего Таргила, а он давно поклялся, что поймает тебя, как только попадет поближе к Цоре.

— Я его не видал, — ответил Самсон. — Что за человек?

— Опасный человек. Вспыльчивый, смелый и хитрый. Солдаты его боятся, как грома. Но мы его любим: гостеприимный хозяин, а лучшего обеда, чем в его доме, не найдешь во всем Аскалоне.

— И он побожился, что поймает меня?

— Об заклад побился!

— А ты ему скажи: прежде, чем он доедет до башни царя Миноса, я на дороге сниму с него меч и отберу всю поклажу.

— Передам, — сказал аскалонец.

Через несколько времени после того ехали к Яркону два всадника, а за ними рысцой бежал нагруженный осел. Всадники были одеты в дорожное платье египетских купцов. Доехали они до пустого, ровного места, где на утопанной глинистой земле, уже окаменелой от жары, только рос одинокий пыльный кактусовый куст. Когда они

поравнялись с кустом, из-за него поднялся человек огромного роста и сказал:

— Здравствуй, Таргил. Я пришел за твоим мечом и поклажей.

Когда оба уже были связаны и офицер увидел, что Самсон собирается уйти со своей добычей, не сделав им лично никакого увечья, он спросил:

— Кто тебе сказал, что это я? Ведь я нарочно поехал без свиты и переодетый.

— Никто не сказал, — ответил Самсон, — а что ты поедешь без свиты и в другой одежде, это я сам знал.

— Откуда?

— Друг твой Ахиш предупредил меня, что ты человек смелый и хитрый. Смелый — значит, постыдится взять с собой великую стражу. Хитрый — значит, оденется так, чтобы его не приняли за начальника.

— Но неужели ты целый месяц сидел тут за кустом? И мало ли ездит по дороге людей, похожих на офицера? А в лицо меня ты не знаешь.

— Сегодня утром, — объяснил Самсон, — проходил я мимо харчевни. Слышу, пахнет не бараниной, как всегда, а жареной рыбой со всякими приправами. Смотрю в дверь — у одного раба свежий синяк под глазом. Я ничего не спросил и прямо полями пошел сюда. Мне еще Ахиш говорил, что ты человек раздражительный и любишь вкусно поесть.

* * *

Первое из походов, которое сделало его любимцем Филистии, относится к тому времени, когда он вернулся из Этамских ущелий и только что распустил навсегда своих шакалов. Тогда его, кроме Тимнаты, в других углах Филистии в лицо еще не знали; и он еще был молод и, хотя высок и широк, еще не так громаден,

чтобы чужие догадались, кто он такой. В это время филистимская стража занимала Гимзо; почти все даниты ушли оттуда, и городок считался потерянным.

Однажды ночью Самсон бродил вокруг Гимзо, придумывая, что бы сделать, — и так, чтобы не навлечь новую злобу на все колено. Иначе он просто напал бы на стражу. Нужна была тут уловка. Так, занятый мыслями, он обогнул филистимскую заставу и полями вышел на дорогу из Гезера в Лудд и услышал топот. Два всадника неслись во весь опор с юга на север; Самсон увидел, что это военные гонцы; передний был мужчина большой и грузный. Самсона осенила мысль.

Он остановил коней, оглушил кулаком по скуле обоих всадников, связал их, набил травой рты и отнес подальше от дороги; сам оделся в платье толстого и привесил к поясу его меч. Он столько жил с филистимлянами в Тимнате и был так приглядчив, что никакой ошибки в одежде, в манерах, в посадке верхом не боялся. И он умел подражать их выговору в совершенстве и вообще подражал кому угодно: совы его принимали за сову, волчица раз убежала от ослиной туши на его жалобный вой испуганного волчонка.

К седлу второго коня был привязан тугой кожаный мешок, тщательно запечатанный, — судя по звону, деньги. Самсон взял мешок с собою, сел на коня и поскакал в Лудд, держа вторую лошадь за уздечку.

Было уже за полночь, когда он явился к начальнику тамошнего полка.

— Я прибыл из Экро́на, — сказал он, — и мне велено еще до зари вручить эту казну начальнику нашей стражи в Гимзо. Но то чужая земля, могут меня ограбить: и у нас по дороге моего солдата убили разбойники; дай мне конный отряд провожатых.

— Я тебя не знаю, — сказал офицер, дивясь его мощности, — кто ты такой?

Самсон объяснил, что его на днях перевели с египетской границы и сам он родом из южной пустыни (по выговору собеседника он понял, что тот из Яффы). На юге, действительно, жили остатки племени анацитов, славившиеся огромным ростом; филистимляне считали их, как и амалекитян, почти людьми и охотно принимали в солдаты, хотя своих, местных туземцев из саронской равнины в войско не пускали.

Самсон, кроме того, небрежно упомянул несколько имен экронской знати и мимоходом изобразил старшего военного писаря из Экрона так похоже, что начальник не только уверовал, но и возлюбил его. Подействовал и мешок — его печати, тяжесть и звон.

Поэтому Самсон явился в Гимзо уже во главе взвода конницы, и тамошний сотник принял его с почетом. По выговору он был из Газы, а потому Самсон — оставив свой отряд шагов на тридцать — говорил с ним сюсюкая, как уроженец Яффы.

— Приказ тебе идти с отрядом в Баал-Салиса. Немедленно; и вот мешок с деньгами.

— Баал-Шалиша? — спросил сотник. — Неужели у нас война с Дором?

Самсон внушительно промолчал: не дело гонца из столицы рассказывать мелкому офицеру государственные тайны, хотя ему-то они, конечно, ведомы.

— А кто останется в Гимзо?

— Я, — сказал Самсон, — и эта конница.

Через час сотник увел свою стражу по северной дороге. Тогда Самсон приказал десятнику своей конницы:

— Скачите во весь опор назад; и скажи начальнику Лудда, что все исполнено и что я в Экроне доложу о его расторопности и неутомимости его солдат.

Вот как он освободил Гимзо, никого не убив и даже никого не ограбив на земле Дана, так что филистимляне и придаться не могли. А жители Гимзо вернулись и построили укрепления, и город остался у Дана, и только после смерти Самсона филистимляне его заняли опять.

* * *

— Вы твердо решили послать в Экрон кузнецкую подать? — спросил Самсон у старейшин.

И они снарядили стражу, навьючили ослов, отсчитали, сколько нужно было, овец, и отправили это посольство в Экрон.

Но на филистимской земле, в нескольких часах пути от Экрона, Самсон их нагнал; всех избил, хотя не до смерти, но настолько тщательно, чтобы не было ни у кого сомнений в их неповинности — в самом деле, филистимляне потом их подобрали замертво; а ослов с подарками и стадо он угнал обратно в Цору.

Старосты переглянулись, покачали головами, но потом улыбнулись и послали Махбоная в Экрон жаловаться:

— В вашей земле нет порядка: мы вам послали подать, а ваши разбойники смотрите, что натворили, — стражу нашу искалечили, а добро увезли неведомо куда.

На это нечего было возразить.

— Ладно, — сказал саран, — в будущем году мы примем вашу подать на границе.

* * *

Когда пришло время, Самсон приказал старейшинам:

— Смотрите, чтобы ваш обоз дошел до границы не раньше заката.

Филистимский конвой прибыл в назначенное

место еще в полдень; но никого там не застал, кроме грязного, лохматого калеки, скрюченного корчей в один огромный комок; под мешком, надетым на него, трудно было разобрать, где плечи, где ноги; у него, очевидно, была водянка, таким большим он казался, ползая по земле. Он подполз к офицеру просить милостыни; тот швырнул ему подачку и, от нечего делать, стал над ним подтрунивать. Солдаты тоже. А нищий жалобно ныл, клянчил и все к чему-то прислушивался; и еще была у него странность — он почти каждого спрашивал:

— Как тебя зовут?

Наконец он уполз, бормоча не то слова благодарности, не то бранные.

Только на закате запылила дорога и показался караван из Цоры. Офицер обругал их за промедление, принял мешки, сосчитал стадо, выдал начальнику обоза казенную печать в качестве расписки и погнал овец и ослов по дороге в Экрон; а даниты, исполнив свой долг, побрели домой.

Ночью, на полпути между границей и Экроном, солдаты стали: дорога между холмами была завалена утесами. В ту же минуту где-то в темноте зарычала пантера, откликнулась ей другая, раздался отчаянный храп зарезанного осла — и все ослы бросились врассыпную, толкая солдат и валя на землю сбившихся овец. Солдаты смешались. Вдруг они услышали голос своего офицера, кричавшего откуда-то справа: на помощь! На самом деле офицер уже был убит, а кричал за него Самсон; и обе пантеры, и храпевший осел — все это был Самсон. Часть отряда кинулась на голос начальника; но тут поднялось что-то невообразимое — в темноте и суматохе они ясно слышали голоса товарищей, вопивших: погибаю, спасайте! Где ты, Харон? Сюда, Гехази! — Так перебил их Самсон, двадцать пять человек до одного; собрал ослов и стадо и погнал обратно; и еще хуже — забрал мечи и копья и унес их тоже

в Цору и роздал верным людям по своему выбору.

С тех пор, по преданию, перестали филистимляне требовать кузнецкую подать от Дана. Вместо того они обложили своих же кузнецов, а те стали брать дороже с данитов; это гораздо проще и для казны столь же доходно.

А у Самсона, после этого случая, появилась новая забава, охота за медью и железом; и почти все сказания о проделках его говорят об этой охоте.

* * *

Однажды Самсон пришел к филистимлянам в Гезер с большой поклажей сошников и заступов для починки. Отнес их в кузницу, передал точильщикам, а сам присел отдохнуть на улице. Вокруг него собралась, по обыкновению, толпа ребятишек и взрослых, и он их забавлял прибаутками и фокусами. В толпе этой был смуглый юноша лет восемнадцати; голова у него была бритая, как у жителей Синайской пустыни, и лохмотья кочевых народов. Почему-то он Самсону не понравился, и Самсон ему. Юноша сказал назорею что-то грубое на своем ломаном языке; Самсон ударил его, тот отлетел прямо на кузницу, едва не упал в огонь; и когда пришел в себя, то стал проклинать Самсона по-своему, а потом прибавил по-ханаански, неуклюже коверкая слова: "Я тебе отомщу!"

На другой день Самсон пришел забрать свою поклажу. Когда он расплачивался, вдруг из-за угла выскочил этот юноша и закричал:

— Он украл пять топоров, я сам видел!

Надзиратель кузницы велел развязать тюки, и там действительно оказалось пять топоров, Самсону не принадлежавших. Самсон очень смутился; запустил камнем в юношу, но тот увернулся, спрятался позади толпы и издали дразнил данита срамными телодвижениями.

Другого на месте Самсона за эту кражу бросили бы в тюрьму; но Самсона уже знали, а потому отпустили с суровым наставлением.

Надзиратель кузницы был филистимский чиновник, а рабочие все из уроженцев северного побережья — из Дора, из Тира, даже из Сидона. Надзиратель подозвал юношу и хотел дать ему денег за услугу.

— Лучше возьми меня на работу, — сказал тот.

— А кто ты родом?

— Я из шатров Амалека в пустыне; убил там одного и бежал.

Амалекитян брали даже в солдаты. Надзиратель принял его в кузницу. Юноша оказался понятливый: начал с раздувания печи, скоро перешел в точильщики, а потом научился ковать и стал хорошим мастером. И тут он вдруг исчез.

Юноша этот был Нехуштан. Еще задолго до того послал его Самсон в пустыню, учиться говорить по-амалекитянски и коверкать ханаанскую речь на ихний лад.

Так появился у Дана первый кузнец, а потом и ученики его. Они работали потайно в пещерах; потому что старейшины, боясь войны, были против этого новшества.

* * *

У Самсона было правило: после разбоя на филистимской земле — не оставлять таких следов, которые вели бы в области Дана. Если за ним снаряжали большую погоню с луками и стрелами — редкое оружие, и единственное, которого он боялся, — то он уходил от нее или в пустыню, или в землю иевуситов. Дикари эти его любили; а филистимляне, привыкнув жить на равнине, карабкаться по горам не хотели.

Один раз, отчасти по нужде, а главным образом из умысла, он миновал землю иевуситов и

скрылся по дороге в Гивеон. Гивеон принадлежал Вениамину. Из-за этого стали филистимляне придирааться к Вениамину. "Хорошо", подумал Самсон; и в следующий раз повел за собою погоню прямо в область Иуды.

* * *

В земле Иуды, впрочем, были у Самсона друзья. Там подрастала хорошая молодежь вокруг Вифлеема; они ловко метали камни из гнезда, пришитого к короткому ремню, и почтительно слушали рассказы Самсона, когда он останавливался там по пути.

Был он желанный гость и в Хевроне, но по другой причине. Там было главное ко^дло левитов. Они упрямо величали себя "коленом"; может быть, и вправду был у них особый родоначальник с непобедимой душой бродяги. Почти все левиты, шатавшиеся по стране с товаром или колдовавшие в божницах от побережья до Эн-Геди, были родом из Хеврона или окрестностей.

Они сказали Самсону:

— Если нужно сбыть краденое добро так, чтобы следа не осталось, — помни о нас.

— Всякое? — спросил он. — И мягкое, и твердое?

Они сразу поняли. В то время уже зародился в горах спрос на боевое железо.

— Твердое добро тяжело развозить, — сказали они, — мы тебе за него меньше заплатим. Но товар всегда товар.

— Хорошо, — сказал Самсон. — Когда пришлю вам сказать: готово, соберите большой караван и ждите меня к югу от Вирсавии.

Около того времени он опять услал Нехуштана, — в Яффу, пожить среди моряков и грузчиков. Там данитов брали на суда охотно. Нехуштан был и проворен, и пронырлив; хозяевам он понравился и через месяц уже с бичом в руках покрикивал

на грузчиков, а еще через несколько месяцев был допущен к кормовому веслу.

Однажды он разыскал Самсона в хижине туземца близ Бет-Дагона и шепнул ему:

— Скоро должен прийти корабль с острова Куффи с грузом меди и железа.

В темную ночь они встретились на набережной Яффы. Там стоял часовой, но труп его назавтра выбросили волны. Самсон и Нехуштан сели в одну из лодок; Самсон разорвал ржавую цепь, и лодка ушла в открытое море.

Около полудня завидели они сидонскую бирему. На палубе ее сидело двадцать гребцов, а еще двадцать весел работали снизу, сквозь отверстия во чреве корабля.

Лодка пошла навстречу биреме, а Нехуштан закричал в сложенные руки:

— Эй, капитан! Мы слуги Махона из Яффы: он шлет тебе важные вести.

Махон из Яффы был тот купец, которому предназначался груз; и корабельщики уже знали Нехуштана. Они остановили гребцов и бросили канат; юноша вскарабкался на палубу; за ним Самсон, и моряки и гребцы, разинув рот, смотрели на великана.

Юноша сказал капитану:

— У берега Яффы рыщут разбойничьи барки; они уже потопили Бен-Шиммуна, нубийца Баголу и две лодки из нашего флота. Говорят, они подстерегают тебя. Поэтому велел тебе Махон держать на Газу.

— А это кто? — спросил капитан, дивясь на Самсона.

— Это новый десятник береговой стражи в Яффе; я приказал ему ехать со мной, — важно сказал Нехуштан, — на случай, если бы мы повстречались с теми барками.

Бирема повернула на юг, держась открытого моря вне вида берега. По расчету капитана, сутки

с половиной надо было идти на полдень, а тогда можно будет свернуть к востоку, пока не покажется Маим, порт филистимской Газы.

По дороге Самсон подружился с корабельщиками, заучил их имена и голоса. На вторую ночь капитан, оставив своего помощника на вахте, ушел в каюту спать. В полночь он услышал голос помощника, звавший его на палубу. Еще через несколько минут боцман услышал голос капитана, звавший его на палубу. И так до конца. Все они поодиночке вылезли наверх по узкой лесенке; ни один не успел крикнуть, а всплеска воды нельзя было расслышать из-за ударов весел. Наружные гребцы сами точно не знали, что творится в темноте, но смутно видели, что происходит нечто грозное; матрос-понукало, отбивавший для них такт, свалился первым, и за него молотом стучал Нехуштан.

Когда все кончилось, Нехуштан пошел к кормовому веслу (кормчий был выброшен в воду сейчас же за понукалой), а Самсон остановил гребцов и сказал им:

— Если будете слушаться, отпущу вас на волю.

И дал им по тройному пайку еды, и велел не торопиться: ему нужно было, чтобы они подкормились и отдохнули.

Так они шли на юг всю ночь, и день, и еще ночь; а на восходе солнца выбросились на песчаный берег далеко южнее Газы, в самом сердце пустыни.

Здесь Самсон нагрузил ящики с медью и железом на гребцов, сколько хватило плеч и силы; а их было восемьдесят человек. Этот караван и погнал он через пустыню Амалека в Вирсавию²²; Нехуштан, уже бывавший в тех местах, указывал дорогу от колодца к колодцу. А у Вирсавии ждали их левиты с вереницей верблюдов; и тут Самсон отпустил гребцов на волю и каждому дал по монете серебра.

Глава XXIII. ТОВАР — МЯГКИЙ И ТВЕРДЫЙ

Еще и в другой раз доставил Самсон левитам Хеврона большую поклажу твердого товара: такую, что по сей день живет о ней предание среди всех народов мира. Случилось это через много лет после пожара Тимнаты; и было в этом деле то новое, что в первый раз за десять лет он коснулся филистимской женщины; правда, не по собственной воле, а так сложились обстоятельства.

Самсон чуждался всех филистимлянок без различия — и мужних жен, и блудниц; впрочем, и различие было невелико — оба сословия пользовались одинаковым почетом. Филистимляне называли блудницу словом древнего островного языка; в переделке на ханаанейский лад оно произносилось "пиллегеш" и в старину означало жрицу. Те из блудниц, у кого был хороший голос, и теперь пели по праздникам в храме наряду с дочерьми начальников города; в праздничном хороводе тоже блудницы и мужние жены плясали наравне и, встречаясь на улице, говорили между собой приветливо. Некоторые блудницы были очень богаты, владели землями, что замужним и вдовам не разрешалось, или давали деньги в рост. Некоторые славилась умом и тонкостью обращения; те, что были похуже и победнее, содержали харчевни в городах и по дорогам.

Женщина, о которой будет речь, появилась в Газе недавно. Приятели Самсона по выпивкам очень ее хвалили: она долго жила в Египте и знала все искусства тамошней любви. Однажды

на улице ее показали Самсону. Она была рыжая, напомнила ему Семадар, и его сердце сжалось. Как и все женщины, она благосклонно оглянулась на него: глаза у нее были тоже, как у Семадар — зеленоватые.

— Ты ей понравился, — сказал один из его спутников, рассмеявшись.

— Таиш не любит наших красавиц, — ответил другой и рассказал первому, который этого не знал, случай с женой казначея в Аскалоне.

— Ваши слишком тоненькие, — отшутился Самсон, — они пьют уксус для стройности. — И в противовес он перечислил преимущества аввейских женщин, но повторить это нельзя.

Через несколько месяцев после того Самсон опять пришел в Газу, но не открыто, а к туземцам, то есть на разбой. В этот раз он натворил такое, что саран вышел из себя и приказал его изловить во что бы то ни стало.

Дело было так: незадолго до того произошел бунт среди туземцев. Филистимляне, дорожившие рабочей силой, всегда по возможности избегали того способа укрощения, который называется: утопить восстание в крови. Но они отобрали двенадцать коноводов и распяли их живьем на пригорке у большой дороги, близ самой Газы, и оставили их там издыхать под сильной стражей. А среди туземцев этих было трое, у которых Самсон часто прятался от облав.

Так они провисели на пригорке, пока не стемнело. Что произошло, когда стемнело, точно никто не знал; но позже ночью прибежали в Газу два солдата, оба раненные, с вестью, что все туземцы сняты с виселиц и на их месте повешены стражники с офицером посредине; спаслись только они двое; за ними тоже гнался Таиш до самой Газы, и они едва ускользнули от него по извилинам туземного предместья.

Это было чересчур. Еще до полуночи войско

оцепило весь город и предместья. Даже простые горожане схватили мечи и присоединились к обходам; и начался повальный обыск во всех лачугах туземного квартала.

— Господин, — шепнул аввеец, у которого Самсон укрылся на ночь, — он идет сюда.

Это был зажиточный плотник, по имени Анкор; хижина его была просторнее других, и Самсона в его доме принимали всегда с божескими почестями. Но Самсон знал, что с бедняги живьем сдерут кожу, если застанут здесь хоть малый след его. Он влез на крышу, оттуда перелез на соседнюю и дальше. Когда обход приблизился, он соскочил прямо на голову факельщику, схватил горящий сук, сунул его кому-то в лицо, ударил кулаком влево, ногою вправо, прорвался и побежал. Но стража неслась за ним. Из переулка в переулок он добрался до филистимского квартала; но здесь на каждом углу светились факелы, и при свете их он увидел, что солдат вооружили луками.

Он остановился в тени какого-то дома, соображая, что делать. Вдруг над ним послышался шепот:

— Самсон?

Он почему-то сразу догадался, кто это и что она не собирается его выдать. Он откликнулся. Через мгновение она открыла маленькую дверь, взяла его за руку и ввела к себе.

— Запри дверь, — шепнула она. — И делай все, что я велю.

Он пошел за нею по лесенке в верхний ярус дома. В небольшой комнате слабо светила лампадка под синей кисеей. Мягко было ступать по полу, а посреди комнаты стояла большая квадратная постель.

— Молчи, — сказала женщина, выжидательно глядя в сторону окна. Она стояла спиной к лампе, лица не было видно, только рыжие волосы отливали золотом. Опять у Самсона сжалось

сердце; на мгновение он забыл о Газе и вспомнил другую ночь и другую толпу врагов, много лет тому назад. Левой рукой она еще сжимала его руку, правой взялась за пряжку на левом плече, которая придерживала ее ночное платье.

Скоро на улице послышался гам и топот погони; отсвет факелов несколько разогнал в комнате полумрак. Комната была убрана богато; в потолке над кроватью было вделано медное зеркало.

Она толкнула его к постели. Он сел.

— Не так, — шепнула она.

Он хотел лечь.

— Не так, — шепнула она, указывая на его платье.

Он послушался, снял с себя все и лег.

Внизу раздался стук. Слышно было, как сбежала по лестнице служанка и с кем-то объяснялась у двери. Женщина быстро отстегнула свою пряжку, выступила из упавшей сорочки и легла на постель, обвившись вокруг Самсона так, что лица и плеч его не было видно.

Служанка подымалась по лестнице вверх. У входа в комнату качнулась занавеска, выглянуло лицо негритянки. Она всмотрелась, кивнула головой и опять побежала вниз.

— У госпожи моей гость, — сказала она. — Они спят; чего вы шумите?

Женщина встала и подошла, потягиваясь, к окну. Факелы, очевидно, хорошо осветили ее: на улице раздались приветственный хохот и восторженные отзывы о ее красоте. Кто-то, судя по голосу — из молодой знати, крикнул ей:

— Прости, что мы тебя разбудили, Далила; но мы ищем Таиша, того косматого данита; он добежал до этой улицы, и мы боялись, не ворвался ли он к тебе.

— Я для него недостаточно жирная, — сказала она, зевая.

Тот же голос ответил:

— О, это я знаю — и полк не загонит его в твою постель: он не то, что мы, которых и полк не удержит, если бы ты поманила. Мы боялись, не убил ли он тебя, чтобы спрятаться.

— Я живая, как видите, — сказала она, выгибаясь напоказ при свете факелов.

— Видим! — ответили они весело и хором.

— И ступайте; мне не до вас. — Тут она повернула голову к постели, как будто ее зовут назад, и сказала: — Иду, желанный.

Скоро стихло на улице; но ее руки сплелись вокруг шеи Самсона, и ему не хотелось их разнять. Волосы, щекотавшие его губы, отсвечивали тем же отливом, так же зеленовато мерцали глаза, как в те семь ночей в загородном доме Бергама; тот же аромат каких-то духов, то же шелковистое прикосновение.

— Почему ты спасла меня? — шепнул он.

— Захотелось. Ты мне нравишься, Самсон, — отозвалась она губами в губы.

— Меня все зовут Таиш.

— То все, а это я.

— Откуда ты знаешь мое имя?

— Все его знают. И я знаю. Все о тебе. Что ты разбойник, и пьяница, и шут у филистимлян, а у себя в племени судья, чьей улыбки никто не видел. И еще...

— Что?

— Ты взял когда-то жену филистимлянку, и она тебя обманула, и с тех пор тебе противны наши женщины.

Он промолчал; думал сказать: "Ты мне ее напоминаешь", но сообразил, что женщины за это обижаются; и вообще он не хотел говорить о Семадар.

Она спросила:

— И я тебе тоже противна?

Вся она к нему прильнула; у него по спине бежали

обжигающие токи. Он уже не знал, что говорит; он ответил, как попало:

— Я тебя не знаю.

Она обвилась еще теснее и шепнула одно слово, и это была игра слов, которую лучше не переводить: "Дэни..."²³

* * *

Перед зарей, еще затемно, он ушел. Улицы были пусты, но на городской стене виднелись силуэты часовых с луками. Он пробрался дальше, выглянул из-за угла и увидел ворота. Там были факелы: у ворот стояла обычная стража, с мечами и копьями, даже не удвоенная. Газа полагалась на свои ворота, знаменитые во всей земле. Они были сделаны из толстого железа, а сверху украшены решеткой с острыми зубцами.

Хорошая мысль пришла в голову Самсону: самая удачная мысль за все годы его подвигов.

Начал он ее выполнение с обычного своего приема; из соседнего переулкa слышались крики мужчин, женщин и детей: "Держи его! На помощь! Стража!" Начальник караула у ворот бросился на шум со всеми солдатами, оставив на месте только часового. Вопли слышались все дальше, погоня бежала за ними. Когда Самсон решил, что достаточно далеко увел их от ворот, он перестал кричать и по другой дороге быстро вернулся обратно. Часовой стоял, прислушиваясь, и факел его освещал. Самсон пошарил в кошельке, вынул оттуда плоский камень, изогнулся и бросил. Даже не застонав, часовой свалился на землю.

Через минуту начальник караула, стоявший со своими солдатами где-то на углу, среди неодетых, заспанных горожан, которых он расспрашивал, что случилось, — и они его о том же, — вдруг услышал гулкий удар и треск со стороны Железных ворот. Они бросились обратно. Когда добежали, между

огромными косяками была только черная дыра: ворота были сорваны с петель и исчезли, а часовой лежал на земле с разбитым черепом.

Начальник стражи не растерялся — в том смысле, что сейчас же сделал из положения совершенно правильный личный вывод: он вытащил свой меч, упер его рукоятью в камень и плотно ребрами налег на острие. По долгу службы ему следовало раньше поднять тревогу; но он очень торопился — ему не хотелось умереть под палками.

Сколько времени прошло, пока затрубили трубачи, пока прибежали свежие офицеры, пока вывели лошадей — никто не считал. Между тем стало светать. Дорога, ведущая от ворот к холмам, была мощеная, следов не могло быть; но одно было ясно — даже Самсон не уйдет далеко с такой ношей. Его уже не поймать; но ворота вернуть необходимо.

Во все стороны понеслись конные отряды. К полудню они вернулись: ни ворот, ни Тайша, ни следа ноги его на песках.

У сарана собралось совещание.

— Надо обыскать туземные хутора, — предложил кто-то из советников.

— Зачем? — спросил саран.

— Может быть, в одном из них, под стогом сена, спрятаны наши ворота...

— Невозможно, — ответил войсковой начальник. — У самой дороги нет селений, справа и слева от нее поля; даже склоны холмов повсюду распаханы. Если бы Тайш свернул с каменной дороги на хутор с такою ношей, остался бы глубокий след. А следов нет. Кто унес ворота, унес их по мощеной дороге, никуда не свернув.

— Что же, — гневно сказал саран, — неужели взвалил человек на спину поклажу, которую с трудом волокли сюда четыре буйвола, и побежал с нею так быстро, что конные наши его не нагнали?

Все молчали, а войсковой начальник, пожав плечами, объяснил:

— На то он Таиш.

Вся Газа волновалась; изо всей тирании шел народ смотреть на дыру в городской стене. Одни бранились, другие, по филистимскому легкомыслию, смеялись сами над собою. Только туземцы не ходили глазеть на бывшие ворота, чтобы не напоминать о себе. Еще с вечера они ждали беды за то, что Самсон снял с виселицы распятых и повесил стражников. Теперь о них забыли, и они старались держаться подальше. Один за другим они подводили своих волов и ослов к водопою: это был прудок у дороги, шагах в пятистах от ворот, на полпути к холмам, что перед Газой; но ближе к городу не подходили. Видно было, что они встревожены: толкали и торопили животных, а те оступались и мутили воду в пруде до того, что она казалась желтою. Благодаря этой мути, никто не заметил того, что знали туземцы: что на дне пруда, всего под тремя локтями воды, лежат железные ворота.

Ночью Самсон вышел из хутора, где его спрятали братья одного из туземцев, снятых им с виселицы. Не плеснув водой, он вытащил ворота из пруда, взвалил их на плечи и понес не спеша, от времени до времени отдыхая; сначала по мощеной дороге, потом холмами и полями; к утру он был уже в горах Иуды, близ хевронской дороги. Там он спрятал свою добычу в пещере, дошел до Хеврона и сказал левитам; и потом целый месяц Нехуштан и ученики его тайно ковали клинки из ворот филистимской Газы.

Глава XXIV. ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ

Даже в земле Дана чувствовалось, что на этот раз Филистия не простит. К тому странному сочетанию вражды и терпимости, которое издавна установилось между филистимлянами и Самсоном, даниты привыкли: о каждой проделке его они говорили кто с восторгом, кто с порицанием, но без тревоги. На этот раз было иначе. Все как будто притихли и ждали бури.

Путники и торговцы передавали, что и в городах филистимлян с ними теперь обращаются не так, как прежде. Больше стало придирок на заставах; но главное — какая-то недобрая появилась сдержанность в обращении. Прежде, торгуясь из-за размера пошлины, с ними там шутили или бранились: теперь говорят мало, отрывисто и глядят куда-то мимо.

В доме Самсонова отца тоже отразилась эта подавленность. Маной, сильно уже одряхлевший, был молчаливее обыкновенного; Ацдельпони чаще прежнего уходила в божницу и даже за столом бормотала какие-то заговоры — впрочем, ее уже давно считали в Цоре помешанной и за то вдвое уважали. Сам Махбонай часто не находил, о чем говорить, когда семья была в сборе, хотя был он теперь не меньше словоохотлив, чем прежде. Он все еще состоял домоправителем у них, но вместе с тем уже давно числился в ряду важнейших граждан; божницу Ацдельпони он расширил и обстроил, и она теперь слыла чем-то вроде главного капища

для Цоры и всего округа; а в голосе левита всегда звучала важная внушительность.

От него — со слов левитов-коробейников, торговавших на юге, — Самсон узнал, что еще больше тревоги в земле Иуды. Его все-таки проследили: кто-то видел на рассвете великана с чудовищной ношей на дороге, ведущей в Хеврон. Открылись и прежние тайны. На морском берегу, день пути к югу от Газы, нашли разбитый корабль, поймали одного из гребцов, он выдал — этот след опять вел от Самсона к земле Иуды, и опять это было железо, тайна и залог филистимской мощи. А теперь к ущербу и опасности еще прибавилось издевательство. Уже остряки, чтобы назвать человека обжорой, говорят ему: пасть у тебя настезь — словно Железные ворота! Но это еще не страшно, это свои; а скоро басня дойдет до Египта и Сидона; стыдно будет смотреть в глаза и туземцу, и путнику...

Очень встревожился тогда Иуда. Старосты благоразумного колена давно косились на опасную торговлю железом, но не хотели ссориться со своей молодежью. А теперь — рассказывали коробейники — молодежь сама оробела, и старейшины чуть не каждый день совещаются. Больше всего пугает их то, что филистимляне еще не прислали обычного при всякой ссоре посольства. В Иудее говорят, будто состоялось уже два съезда всех пяти саранов, один в самой Газе, второй в Экроне...

Самсон кивнул головою.

— Загорается, загорается, — сказал он.

И ему вспомнилась Чертова пещера, где он когда-то десять лет тому назад пытался доказать Иуде, что юношеская ссора его с вельможами Тимнаты была только предвестием неизбежной войны между Кафтором и всеми коленами. Иуда не поверил; Иуда сказал: хватит покоя на мой век. Хватит ли?

Так минуло около месяца; и однажды ночью пришла к Самсону негритянка, поклонилась в ноги по-заграничному и зашептала:

— Далила, госпожа моя, у которой ты провел ту ночь, когда случилось несчастье с воротами Газы, шлет привет. Госпожа моя стосковалась по тебе и покинула столицу тайно, и шатер ее теперь стоит в уединенной местности, в долине Сорека, у поворота сухого ручья.

Самсон посмотрел на нее пристально и ответил:

— Переночуй.

Сам он долго не мог заснуть в ту ночь. Ему пришло в голову, что то могла быть приманка и засада, но не это мешало ему спать. Он почти забыл о Далиле; вдруг теперь весь жар того странного часа воскрес в его памяти. Оттого ли, что ее ласка была не похожа ни на коровью покорность, ни на визгливую жадность туземных его наложниц, — оттого ли, что глаза и волосы ее и что-то еще, может быть, общее всем филистимлянкам, напомнили ему те семь ночей в Тимнате, — но и его потянуло к этой женщине. Засада? Немыслимо — ведь она сама спасла его; да и не боялся он засад.

— Передай, что приду, — сказал он утром эфиопке.

* * *

На третий день он пошел один в долину Сорека. У сухого русла стоял большой шатер, какого он никогда не видал, с окнами, закрытыми кисеей, и с цветными занавесками у входа. Там провел Самсон семь дней и семь ночей, почти не выходя из палатки. Три недели тишины и счастья дала Самсону жизнь — одну в Тимнате, одну в оазисе Элиона рехавита и последнюю здесь.

Женщины не были редкостью в жизни Самсона. В стране своего назорейства он, правда, чуждался и этого опьянения; но в Филистии дочери, сестры

и жены туземцев ждали только его знака, и это были часто женщины из красивейших рас Ханаана. Он привык считать себя пресыщенным. Только теперь он понял, до чего изголодался. Он любил пить из кованого кубка, не из глиняной плошки, хотя бы тот же напиток; потому и тянуло его к быту филистимлян. Но в этой "женской" полосе его жизни была до сих пор только плошка. Тонкий серебряный кубок была Семадар; и Эдна была тихим родником без пылинки, в чаше из Божьего хрусталя; но то было давно. С тех пор все подруги его ночей, бесчисленные и безымянные, были рабыни из десяти поколений рабов; за перегородкой его брачного чертога в дождливую ночь храпел осел, в летнюю — родной брат того осла, отец или муж его наложницы. Еще в этамских утесах Самсон запретил своим думам возвращаться к Семадар; он сдержал запрет и научил себя тешиться без сравнений. Но, бессознательно, душа его изголодалась.

Далила сама, по-видимому, была из непростого дома где-то в Филистии; уже и в те времена не принято было спрашивать блудницу об отчестве, но ее порода бросалась в глаза. Много лет она прожила в Но и Мофе — Фивах и Мемфисе — у людей, перед которыми даже филистимляне были полудикарями. Она была умна, умела слушать и учиться и умела передавать. С ней опять он жил среди колонн и статуй; любил ее не только под шелком и парчой, но как будто и среди мрамора дворцов, о которых она рассказывала.

Она была очень красива; ей вряд ли было много больше двадцати двух или трех лет — высший расцвет созревания женщин ее племени. Первое впечатление сходства ее с Семадар, когда Самсон привык, исчезло: Далила была много прекраснее, и внутренне глубже, и особенно совсем иная в

любви. Семадар шалила и играла, Эдна радостно покорялась; эта — владела и сжигала.

И она была несказанно изящна и нарядна. Каждое утро наемный туземец приносил ей издалека мех воды для ее купаний, и часами после того негритянка ее растирала, натирала, раскрашивала, причесывала, иногда одевала, иногда оставляла не одетой. Самсон сидел на полу и смотрел. В первый раз он хотел уйти, чтобы не стеснять ее; но она рассмеялась и спросила: почему? До тех пор он думал, что обряды, при помощи которых освежает и украшает себя человек, сами по себе обидны для глаза и совершать их надо украдкой. Теперь он увидел, что есть и такая высота утонченности, где каждая ступень к красоте посвоему красива.

Масти для своего туалета Далила готовила сама. У нее были разноцветные дорогие баночки с пахучими порошками, маслами, каплями; она их замысловато смешивала, терла, встряхивала, процеживала, а Самсон глядел.

— Это яд, и это, — говорила она, указывая на разные крошечные сосуды. — Я ученая: умею сделать отраву, и сонное зелье, и любовный напиток. Берегись, не трогай!

Самсон покачал головою:

— Меня зелья не берут, — ответил он просто; и это была правда. В жилах его бежала кровь небывалой чистоты и крепости. Никогда не удалось никому напоить его допьяна. Если бы не лень говорить о себе, он мог бы рассказать ей, как дважды его ужалила змея-медянка, но от укуса не осталось даже опухолей. В Асдоте скупая хозяйка харчевни однажды накормила гостей тухлою рыбой, приправленной так вкусно, что никто не заметил: шестеро умерли после этого пира, но Таиш, хотя съел больше всех, даже на час не занемог.

— А царя их ты видела? — спросил он однажды.

Она царя не видала. Во время шествий фараона возили по улицам в занавешенных носилках, а во дворец имели доступ только знатные люди. Во всем Мемфисе было, верно, не больше ста человек, которые видели фараона лицом к лицу. Но из этих ста вельмож многих она знала.

— Когда подвыпьют, — сказала она, смеясь, — они любят шепотом издеваться над фараоном и говорят, что он — самый глупый мальчишка во всей долине Иора.

— Кто же правит страну? — допытывался назорей.

Далила задумалась. Она точно не знала, кто правит. Однажды видела там она войско; полдня просидела у окна, глядя, как проходит по улице полк за полком — пешие, всадники на конях и на мулах, всадники на верблюдах, колесницы и снова пешие; полдня просидела, но конца полкам не дождалась. Впереди, однако, ехали в золоченой броне полководцы — они, должно быть, и правят страну?

Самсон покачал головою: нет, не полководцы. Они уходят на войну: не могут они управлять.

Далила также видела жрецов. Они живут монастырями; в монастырях много великолепия, но у каждого священника бедная голая келья и жесткая постель, и едят они мало. Самые мудрые из них часто ездят во дворец на совет; те, что еще мудрее, даже во дворец не ходят — днем они спят, а ночью смотрят на звезды и записывают по ним судьбу Египта. Может быть, они-то и правят? Старшие жрецы, и воеводы, и начальники городов — словом все, кто собирается на совет во дворец? Ибо все это — люди важные и могучие: когда они проезжают по улицам, вокруг стоят толпы народа; а когда ведут из них очередного кого-

нибудь казнить, то на площади и с бичом в руке протолкаться нельзя.

Самсон покачал головою:

— Кого можно казнить, тот не правит.

И еще видела Далила, как они в Египте строят дворцы и царские могилы. Об этом Самсон охотнее всего слушал — это, верно, было еще лучше той пляски на храмовой площади Газы: как тысячи рабов волочат огромные скалы из глубины пустыни, по несколько шагов в день и так каждый день, и много лет подряд; как привозят на судах железные цепи с запада, канаты с севера, балки с Ливана, и в Мемфисе мастера скрепляют это все в подъемные машины; а в это время другие тысячи рабов делают сотни других работ, десятники хлещут их плетью, верховые надсмотрщики скачут от одной работы к другой — иногда час пути и больше — и потом, через много месяцев и лет, вырастает громадное здание, где каждый столб и каждая ступень знает свое место — как будто выстроил один человек...

— Один человек и выстроил, — сказал Самсон с глубоким убеждением. — Один человек правит.

— Какой человек?

— Фараон, царь Египта.

— Да ведь он дитя, и к тому же глупое?

— Фараон правит, — повторил Самсон упорно, и при этой вере остался.

* * *

Самсон говорил редко, больше слушал ее или просто сидел у ее ног и думал. Несколько раз, в первые дни, она его спрашивала, то смеясь, то даже с тревогою:

— О чем замечтался?

Он отвечал не сразу, и видно было, что ему трудно вспомнить, о чем он только что думал. Раз он даже спросил, простодушно глядя ей в лицо:

— Разве знает человек, что в нем за мысли?

Она была очень умна: больше не спрашивала. Только в ночь после той беседы она шепнула ему на ухо упрек:

— Ты назорей — даже у меня на груди тебе нужно твое одиночество...

Вслух она перестала выпрашивать, но Самсон знал, что она допытывается молча, и не любил этого — когда замечал. У него — наряду с умением читать, когда надо, невысказанное — была и обратная, счастливая способность человека, привыкшего к успеху и власти: не замечать.

* * *

Далила была очень умна, тонкого ума и чутья. Она ни разу не спросила его, как спрашивают женщины обычно: любишь? Но зато она призналась ему однажды:

— Я тебя ревную.

Это было в день, когда пришел к нему Нехуштан, проведать и рассказать о том, что нет новостей. Далила смотрела на юношу исподлобья, словно маленькая девочка, когда она дуется. После его ухода она сказала:

— Ненавижу его...

— За что?

— Он говорит с тобой о делах, которых я не знаю.

Тогда она и созналась, что ревнует его:

— Так ревную, что спать иногда не могу.

Самсон удивился:

— К кому? к туземным девушкам?

— Что мне за дело до них? — ответила она презрительно. — Ты ведь и имен их не помнишь. Это все равно, что моя негритянка: забавляйся, если хочешь.

— А тогда к кому же ревнуешь?

Она стала шептать ему на ухо: к отцу твоему —

ты его любишь. И к матери — она тебе чужая, но она когда-то носила тебя на руках и видела, как из ребенка вырастал богатырь. И ко всему Дану...

Тут она остановилась, стараясь найти слова, и прибавила еще тише:

— Они тоже тебе чужие — но зато на них ты сердишься, а на меня никогда... Сладок твой гнев и удар, Самсон!

— Ты откуда знаешь?

Она засмеялась и обвилась вокруг него крепче:

— Догадываюсь...

— И еще, — шептала она после, — я тебя ревную к нашим филистимлянам: ты жить без них не можешь. И вообще к обеим твоим жизням, судьи и разбойника. А горше всего...

Она сама себя прервала, и долго пришлось Самсону допрашивать, пока она сказала, запинаясь:

— ...горше всего к тому — к чему-то — чего я не знаю — о чем ты не говоришь — с чего началась твоя двойная жизнь — десять лет тому назад —

Он покачал головою и тихо отстранил ее. Она смутилась и оробела; взяла лютню и стала играть, напевая без слов, с закрытыми губами. Самсон молчал и смотрел перед собою на короткий закат, а потом оглянулся на нее и залюбовался. Ничего на ней не было, даже колец и запястьев — все ей мешало, когда она любила его; даже волосы она взбивала тогда высоко над головою, чтобы отдать ему шею, лоб, уши, — но теперь, когда она склонилась над лютней, красновато-золотой ворох шелковой пыли, окровавленный заходящим солнцем, заслонял ее поникшее лицо. Долго смотрел на нее Самсон, не мигая; вдруг она бросила лютню на ковер и сказала досадливо:

— Ты так на меня глядишь, будто я тебе кого-то напоминаю...

Самсон восторженно и ответил:

— Соловья.

Недаром он жил с филистимлянами, которые умели говорить любезно. Но она передернула плечами и отвернулась.

Так прошло время, сумерки совсем посинели, и опять она пришла к нему и спряталась на косматой груди его.

— Расскажи мне, — попросила она, дрожа и так тихо, что он едва разобрал, — расскажи мне о твоей жене из Тимнаты... какая она была?

Не шевельнувшись, одним напряжением мускулов, вдруг окаменевших, он столкнул ее со своих колен и сказал чужим голосом, коротко и грубо:

— Обгорелая, с перерезанным горлом.

Больше она этого не делала, и других размолвок у них не было, и третью неделю счастья в жизни Самсона ничто не омрачало.

Глава XXV. О НУЖНОМ И НЕНУЖНОМ

На восьмое утро опять пришел Нехуштан. Было это на заре; Самсон еще спал, но Далила встала рано и вышла поглядеть на облака. Еще далеко было до начала дождей, но по утрам бывало прохладно; Далила сидела на крутом берегу сухого русла, кутаясь в широкий мягкий плащ из верблюжьей шерсти. Она увидела Нехуштана издали, сделала гримасу, но решила ради Самсона принять его приветливо.

— Спит, — шепнула она, — посиди со мною; негрityнка принесет тебе козьего молока.

Ей хотелось спросить его о новостях — лицо у него было озабоченное, — но она чутьем поняла, что ей он ничего не скажет. Пока он пил, макая сухари в чашку, она его разглядывала. Он был ее лет или немногим старше, не очень высок ростом, но тонкий и упругий; хорошее открытое лицо, с глазами непривычного серого цвета, с редкой темно-русой бородою; даже несмотря на встревоженную морщину поперек его лба, видно было, что он охотно улыбается.

— Есть у тебя жена или невеста? — спросила она.

— Нет, — сказал он, засмеявшись, — я ведь юнак у Самсона; разве можно творить его приказы с поклажей на спине?

Она проговорила, пожимая плечами:

— Но ведь и сам ты живой. В чем твоя жизнь — твоя собственная?

Он кончил завтрак, осторожно поставил чашку

на землю и учтиво поблагодарил, а потом ответил:

— Моя жизнь? Я с Самсоном.

— Разве Самсон не уходит один, без тебя, на долгие дни и недели?

— Уходит: тогда я жду его, или делаю, что он велел; а потом он приходит обратно.

— Крепко ты его любишь, — проговорила она. Нехуштан покачал головою.

— "Любишь", — повторил он, проверяя и взвешивая это слово. — Это не так. Разве он брат мне или приятель? Он мой господин.

Он произнес "господин" как-то по-особенному, точно это было самое главное слово на всех языках человеческих; и Далилу вдруг почему-то взяла на него ревнивая злоба. Ей захотелось уколоть его. Она сказала:

— Я думала, что только у пса есть господин или у раба из туземцев.

Он не обиделся: посмотрел на нее внимательно, потом задумался, стараясь что-то сообразить, и ответил:

— "Пес" у людей бранное слово. А по-моему, самый свободный зверь на свете — собака.

Видно было, что ему трудно все это объяснить, но он попытался:

— В детстве я был пастухом: знаю животных — и стадо, и зверя, и хищную птицу. Все они — как наш туземец: ничего нет у них на душе, кроме заботы. Куда летит орел, куда крадется пантера? Не туда, куда хочется, а туда, где лежит добыча. Вся хитрость их и вся отвага — только для этого. А у собаки нет заботы: еду швыряет ей пастух, и думает за нее пастух, и посылает ее пастух...

— Разве это — свобода?

Он кивнул головой с большой уверенностью:

— Кто свободен? Тот, кто может делать вещи, в которых нет нужды. Собака может: она прыгает, как малое дитя, она кладет лапы мне на плечи, и воет на луну, и защищает овцу и меня, даже

до смерти. Орел может делать только то, что ему нужно: потому что у него забота, а у пса ее нет.

И он опять улыбнулся ей, совсем беззлобно и приветливо:

— Ты права, госпожа, — я — как пес: пастух забрал себе мою заботу, и ему трудно, а я скачу на свободе.

Далила смотрела на него исподлбья и проговорила, почти про себя:

— Все они, видно, ищут фараона...

Он не расслышал или не понял, кроме слова "все", и на это слово отозвался:

— Все не все, но таких, как я, много у нас, и в земле Дана, и в земле Иуды, сердце их в груди у Самсона. Если бы он только захотел их созвать!..

— Что тогда?

— Повел бы, куда угодно.

— А если бы завел в беду и гибель?

— Это все равно. Не наше дело думать. Он бы за нас думал. Заблудился — значит, так надо.

Он тряхнул головой и закончил:

— Но не позовет их Самсон. Самсон не любит людей.

— Ни мужчин, ни женщин? — спросила она, глядя на него исподлбья.

Он смутился и ответил уклончиво:

— Я не о том говорю...

Оба они долго молчали. Потом она спросила поддельно-звонким голосом:

— Разве не любил он ту женщину из Тимнаты?

— Не знаю... Это было давно.

— Но ведь ты уже тогда служил ему — разве не помнишь?

"Она знает обо мне — Самсон ей обо мне рассказывал", — подумал Нехуштан, и это ему польстило. Но в то же время ему вдруг почему-то стало тяжело и душно: такое чувство, как будто ночью, в лесу, из-за куста глядят на него украдкой ядовитые чьи-то глаза.

— Расскажи мне, что было в Тимнате, — говорила она вкрадчиво. Она легла ничком, протянувшись к нему, подперла голову прекрасными своими руками и старалась встретить его взгляд. — Что там случилось? Я слышала давным-давно — о пожаре; и что та женщина его бросила; или тесть обманул; или лучший друг изменил — но точно не знаю.

— Все это неправда, — ответил Нехуштан с ненавистью. — Ни та женщина, ни друг, ни старый тесть не виноваты. Был там змееныш, дочка аввейской рабыни: это она всех ослепила и погубила. Зато и была ей расплата!

Он это выговорил с дикой и грубой радостью; Далила смотрела на него и ждала.

— Нам потом рассказали: до зари тешились над нею рабы и туземцы; а когда надоело — распороли ей живот, взяли за руки и за ноги, раскачали и швырнули в огонь.

Далила молчала.

— А того Ахтура (это и был прежде друг его), — продолжал Нехуштан, — его Самсон повалил на землю, присел над ним и зажал ему голову между коленями, пока не затрещало и не брызнуло — только не сразу...

* * *

Потом Самсон проснулся, и Нехуштан рассказал ему свои новости. Пришли послы от Иуды, в тревоге и великом озлоблении. Они рассказали, что, наконец, прибыло в Хеврон филистимское посольство — не от Экрона, как обычно, а от имени всех пяти саранов; и за посольством будто бы вторглось в пределы Иуды филистимское войско и грозит разорить все колено, если Иуда — именно Иуда — не выдаст им Самсона.

Самсон простодушно удивился:

— Как так выдать? Меня?

Нехуштан объяснил, с улыбкой, как говорят о замысле ребяческом и несбыточном:

— Живым или мертвым. Если живым, то в связанном виде; и ремней должно быть столько-то, из сыромятной кожи.

Потом он рассказал дальше: по требованию иудейских послов, ушли гонцы во все стороны Дана звать старейшин на сходку, а ему, Нехуштану, велено разыскать Самсона. А пока — послы ходят по Цоре и повторяют свои разговоры с филистимлянами. Вот несколько отрывков:

— Разве он наш? — отпирались старейшины Хеврона. — Он данит, требуйте его у Дана.

А филистимляне отвечали:

— Не то важно, откуда вышел вор, а важно, куда он унес добычу.

— Как мы можем связать его? — говорили старейшины Иуды. — Он нас перебьет.

Но филистимляне потеряли терпение и сказали:

— Хуже будет, если перебьет вас наше войско.

Тогда старосты попросили время на размышление и послали троих от себя в Цору.

— Кто они? — спросил Самсон.

— Иорам бен-Калев из Текоа...

— Знаю, — сказал Самсон. — Хороший человек.

— Цидкия бен-Перахья из Хеврона...

— Старая змея, — сказал Самсон, — отец ростовщиков Ханаана, голова над скупщиками краденного. Это он дал левитам деньги снарядить караван в Вирсавию для моего корабельного груза.

— И Дишон бен-Ахицур из Вифлеема.

— Он плюется, когда говорит, — сказал Самсон, — мало зубов, а злобы много. Есть у меня друзья в Вифлееме, хорошие юноши, мечтают забрать Иевус; и у них поговорка: пошлем к иевуситам Дишона — он заговорит, они подумают "баня!" и разбегутся. Ладно; ступай домой, скажи: завтра в полдень приду.

Нехуштан поднялся, но видно было, что он колеблется.

— Стоит ли тебе, Самсон, идти к ним в Цору?
— спросил он тихо, не глядя.

Самсон взял его за подбородок и посмотрел ему, смеясь, прямо в глаза.

— А что? — спросил он, — или уже нарезаны сыромятные ремни?

Нехуштан покачал головою:

— Не даст ремней на это Дан, — скорее сдерет их со спин иудейского посольства. Но, может быть, лучше будет для всех, если Дан просто скажет: нет Самсона, ушел.

— Не хочу, — сказал Самсон решительно. — Полно Дану почивать на пуховике: пусть учится ответ держать.

* * *

В тот вечер была у Самсона и Далилы долгая беседа, необычная тем, что больше говорил он, а она слушала; и хотя беседа сама по себе была незначительна, она оказалась важной впоследствии.

— Странная природа человечья, — говорила она. — Вот уже скоро год, как я вернулась в Газу. С первого дня стали они мне рассказывать о твоих набеггах; и всегда весело, без злобы, точно хвастая тобою. Не гневались по-настоящему ни за разбой, ни за обман, ни за убитых. А теперь вскипели. Ведь ворота можно поставить новые, а убитого не воскресишь? Странно...

В этот день она оделась, как египтянка: открытые плечи, руки, ноги до колен; и на груди у нее висел на цепочке резной овальный аметист в форме большого жука. Филистимляне, по созвучию с каким-то египетским словом, называли его "кафтор".

Он вдруг протянул руку и отстегнул цепочку.

— Так лучше, — сказал он.

— Разве? — спросила она; взяла медное зеркальце, посмотрелась, сделала гримасу и сказала:

— Глупый. Идиними все или отдай мой камень. Это платье иначе не носят.

Самсон вернул ей ожерелье, а потом пояснил:

— Это я нарочно, чтобы ты поняла. Видишь: малая вещь, а без нее тебе даже со мною неловко.

— Ничего ты не смыслишь, — сказала она с искренним возмущением. — Все люди знают, что к египетской одежде полагается кафтор.

— И все люди знают, что во рту полагаются зубы, а в стене ворота. У того посла от Иуды, может быть, и красивое лицо, — но этого я не помню, а помню только то, что у него спереди нет зуба.

Он задумался и вдруг рассмеялся, вспомнив одну свою забавную месть. Давным-давно когда-то понадобилось ему проучить молодых дворян из Вениамина, которые повадились соблазнять девушек из пограничных селений Дана. Он их поймал, но не велел ни бить, ни калечить: только сбрил им бороды — и урока этого не забыл Вениамин и по сей день. Да и Самсон не забыл этой картины: он ей в лицах изобразил, как они стояли после стрижки оцепенелые, все еще не веря, что взаправду стряслась такая беда, и дрожащими руками шарили у себя на голых подбородках.

И, думая вслух, он рассказал ей о разных народах. Жены иевуситов ходят почти голые, только в передничке и с повязкой на голове. Но передником не дорожат: если украдут каравай хлеба, завернут его в передник и спокойно пойдут по большой дороге. А зато если упадет повязка — это срам, женщина нечиста. В Этамских утесах он видел черных невольников из страны, что за Египтом, купцы гнали их в Индию продавать: в носу у них были кольца, иногда золотые. Самсон

спросил у купцов: волю вы у них отняли, а золотые кольца оставили? А купцы ответили: отними свободу — он тебе покорен; вырви кольцо — ляжет на песок и умрет под бичами.

— Таков, видно, человек, — заключил он раздумчиво, — важно ему не то, что нужно, а то, что выставлено всем напоказ.

Далила рассмеялась и захлопала в ладоши.

— И юнак твой Нехуштан, — сказала она, — обучал меня сегодня на рассвете науке, похожей на твою: что нужно, то не нужно... впрочем, я уже забыла. Мудрые вы стали, даниты, — не хуже Мемфиса: там тоже любили мои гости толковать о том, что вода сухая, а земля вертится вокруг солнца. Но они при этом не морщили лба!

И, чтобы закрыть наморщенный лоб, она устроила ему прическу, то есть надвинула его космы чубом до самых бровей и закрепила золотым обручем; а он покорно сидел и улыбался.

Утром он ушел в Цору. Она топала ногами и плакала — ей не хотелось отпускать его.

— Поклянись, что завтра вернешься.

— Завтра не завтра, — сказал он, — но вернусь.

Ему самому неохота была идти. Никогда еще не подходил он к своей границе с таким отвращением. Опять нахмуренные лица, забота, глубокомысленные старосты, крикливая толпа... Очень устал от них, изголодался назорей Самсон, и слишком хорошо было ему в ту последнюю неделю, в шатре за поворотом сухого ручья.

Глава XXVI. БЕЗЗУБЫЙ

Его ждали у ворот. Еще за версту до Цоры высматривали его добровольцы-ребятишки и, завидя, пускались во весь опор назад — оповестить сборище; а некоторые остались и пошли за ним, держась подальше и тихо переговариваясь.

Сходка была большая: спешные гонцы созвали старшин из всех главных поселений, как в тот день, много лет назад, когда решено было послать ходоков на север и Самсон стал у Дана судьей. Были среди старост и прежние, и новые лица; был тут и древний Шелах, сын Иувала, начальник Шаалаввима, совсем уже скрюченный старостью, но с теми же хитрыми глазами; были и пророки из окрестных пещер — те же или другие, никто их не помнил в лицо. Три посла от Иуды сидели на особой скамье, за ними стояла большая вооруженная свита. Среди старшин Цоры был Маной, а левит Махбонай, слегка переваливаясь, ходил от человека к человеку, о чем-то расспрашивал и что-то доказывал.

Самсон вышел прямо на середину круга. Сидевшие поднялись в молчании. Он ни с кем не поздоровался, только глазами встретился с отцом — у того был усталый вид глубокого старца — и с Иорамом из Текоа, с которым виделся когда-то в Чертовой пещере.

— Что надо? — спросил Самсон.

Никто ему не ответил. Три посла смотрели в землю, остальные на них. Махбонай, крикнув, сказал:

— Не лучше ли было бы сначала братьям нашим из колена Иуды поговорить с судьей наедине...

Самсон его прервал:

— Пусть говорят здесь.

Люди стали опять усаживаться с шопотом и шумом; только Иорам бен-Калев из Текоа не сел. Он тоже поддался и поседел за эти годы, и, кроме того, сегодня на лице его лежала тяжелая неловкость и гнула его голову книзу. Тем не менее, он сказал свои слова громко, ясно, без колебаний и запинок. Филистимское посольство пришло с полком стражи, чего никогда не бывало; целый военный стан разбили они чуть не у самых ворот Хеврона. Но на равнине, близ границы, собирается настоящее войско из всех пяти тираний; командует им сын экронского сарана, а племянник того же сарана, Ахиш, по прозвищу Бритва, стоит во главе послов и того полка, что пришел с послами. Человек он свирепый и ненасытный...

— Знаю Бритву, — прервал Самсон, — говори про дело.

С этим Ахишем он часто играл в кости: тот, когда выиграет пригоршню серебра, кричит восторженно: "Обрил!", и руки у него трясутся от жадности; когда проиграет, лицо его черно от скупой досады. Зато был он лучший наездник на всем побережье, и кони его славились даже в Египте.

Бен-Калев продолжал. Дело обстояло именно так, как передал Нехуштан: или выдаст им Иуда Самсона, или филистимское войско пройдет потопом по всей Иудее от Вифлеема до Эн-Геди. Никакие отговорки не будут приняты.

Посол остановился, ожидая слова Самсона. Самсон молчал и глядел на него, глазами спрашивая: дальше?

Иорам тяжело вздохнул и заговорил дальше. Было у них, старейшин Иуды, ночное совещание. Говорили долго и разное, но важен вывод: Иуда

не может воевать с Филистией. Даже без колесниц, которые в горах неприменимы, у врага есть кони, много железа и обученные солдаты. Иуда может сделать одно: бросить города свои на разграбление, засыпать источники и колодцы и разбежаться по ущельям, — жить отныне, как живут иевуситы. Но на это Иуда не согласен. И вот — пришел Иуда к Дану за советом: что делать?

Он сел; собрание перевело глаза на Самсона, но Самсон молчал; он низко нахмурил брови, и глаз его не было видно. Постепенно вокруг поднялся подавленный шопот. Потом нерешительно выступил из круга некто Хермеш, цоранин, человек еще молодой — когда-то он был у Самсона среди шакалов. Он спросил:

— Я все же не понимаю, почему грозят они Иуде, а не Дану?

Бен-Калев развел руками и ничего не ответил. Но старый Шелах из Шаалаввима забормотал что-то на ухо сыну, стоявшему по правую руку его, и тот, выслушав, сказал:

— Отец мой говорит: филистимляне хорошо рассчитали. Зачем им самим воевать с Даном? Пусть лучше воюет с Даном брат наш Иуда.

По толпе сначала пробежал смех, потом тревожный ропот, потом ропот гневный. Три посла молчали, опустив глаза, с непроницаемыми лицами. Хермеш подошел к ним ближе и спросил в упор:

— Говори прямо: если мы не выдадим судью — вы пойдете войною на нас?

Стало очень тихо. Вдруг Дишон бен-Ахицур, посол из Вифлеема, поднял голову, уткнулся лицом в лицо Хермеша и закричал, обрызгивая его слюною:

— Дурак! Уже если нам воевать по вашей вине, то, конечно, не с Пятью городами!

Остальные двое молчали. Цидкия бен-Перахья, посол из Хеврона, зажмурил глаза и жевал тонкими

губами на лисьем лице; Иорам из Текоа стиснул зубы и побагровел от стыда — но молчал.

Сходка загрохотала; со всех сторон неслась брань — круг, посреди которого сидели послы Иуды, стал вдруг суживаться, иудейская свита тревожно зашевелилась — но Самсон остановил это резким окриком:

— По местам!

Только Хермеш остался перед послами, и теперь можно было разобрать, что он им кричит. Он кричал, тряся кулаком:

— Если бы вы не были псами, то сказали бы нам: вооружайтесь, будем вместе воевать, позовем на помощь другие колена...

— Не пойдут колена, — ответил бен-Калев, — и лучше всех знает это сам судья. А ваша помощь нам не помощь. Против медведя все равно — что один ребенок, что два.

— Или полтора, — пробормотал Дишон, и все его услышали. Но прежде, чем разразилась новая вспышка гнева за эту обиду, он вскочил и закричал на Самсона:

— Ты, господин судья, ты чего стоишь, как куча навоза на поле, и ничего не скажешь? О тебе речь, не об этих дровосеках и водоносах — только о тебе.

Самсон усмехнулся:

— Хорошо ты меня знаешь, бен-Ахицур, — проронил он, — я посла не трону: ругайся.

В эту минуту нашел необходимым вмешаться Махбонай: заговорил негромко, но сразу все замолчали. Большой был теперь человек Махбонай бен-Шуни, почитаемый у Дана и даже у соседних колен.

— Жаль, — начал он плавным и рыхлым своим голосом, — жаль, что не принял судья моего доброго совета поговорить обо всем наедине. Но раз уже мы беседуем на сходке, то надо беседовать спокойно, как подобает великим старшинам. И вот

что хочу я выяснить: почему так уверены послы филистимлян, посетившие ваш город, будто мы, даниты, можем всегда разыскать Самсона? Разве он прикован к Цоре и Дану? Разве не мог он уйти от нас — уйти на север, где живут наши новоселы вокруг Лайша, или к Вениамину, к Ефрему, в Галаад — мало ли куда?

Его слушали внимательно. Кто-то в толпе зашипел: сссс... — как будто призывая к новой и разумной мысли; и многие, подняв брови, приставили пальцы ко лбу и закивали головами.

— Был уже такой случай, — продолжал левит, — давно это было, когда после дела в Тимнате пришли к нам послы от Экрона; но мы им объяснили, что Самсон ушел в пустыню, и они удовлетворились — (он замялся, вспомнив о коже, содранной с Гуша и Ягира) — удовлетворились малой данью и ушли. Кто из нас может удержать Самсона, если бы он и теперь захотел уйти?

Встал опять Иорам бен-Калев.

— Тяжело мне вести с вами эту торговлю, — сказал он усталым голосом. — Будем говорить напрямик: ты, бен-Шуни, предлагаешь судье бежать из земли Дана. У нас в Хевроне много левитов, и есть среди них такие же мудрые, как и ты, бен-Шуни. Мысль эта первая пришла нам в голову, и мы сразу так и сказали Ахишу, племяннику сарана: уйдет Самсон, кто за ним угонится? И ответил нам Ахиш точными твоими словами, бен-Шуни: "Раз уж так было, что он ушел. А потом? Потом он вернулся, и с тех пор не стало покоя на равнине. Где теперь Самсон — это ваше дело, не наше; вы его ищите, вы приведите — а не приведете, погиб Иуда". Так ответил Ахиш, и так будет.

Махбонай молчал, глядя бороду; молчала и вся толпа, и никто не глядел на соседа. Из угла, где столпилась шайка пророков, послышался чей-то возглас: "Собака!" — неизвестно в кого брошенный, но продолжения не было.

— Отец хочет говорить, — сказал сын Шелаха, старосты шааалааввимского.

Шелаха слышали только ближайšie к его месту, но и среди остальных была тишина, пока он говорил. Самсон повернулся к нему и смотрел на старика пристально, сначала просто с любопытством, потом с удивлением. Вот что прошамкал Шелах, сын Иувала:

— Лжец и вор денной Вениамин, чванная блудница Ефрем; но хуже всех Иуда. Сам он не грабит, не охотится: как вороненок, сидит он в высоком гнезде, разевая клюв, и ждет, пока принесут ему кусок падали; вкусно поест, насытится — а сам не в ответе: это падаль, я никого не убил. По всем коленам торгует Хеврон медью и железом; за клинок отдай ему полвеса серебра, за копейный наконечник — столько пшеницы, сколько может унести верблюд; вон тот бен-Перахья, посол, который молчит, уже сколько зарыл у себя на дворе кувшинов золота — выручку от этого, не от иного промысла! В каждом селении Иуды стучит теперь кузнечный молоток; молодежь его учится лязгать мечами; скоро будет Иуда могуч — но того человека, что принес ему эту силу, Иуда готов отдать на потеху филистимлянам; и клинками, добытыми отвагою Дана, грозит Иуда разорить землю данову, если Дан не пойдет на последнюю низость.

Двое из послов, Иорам и Дишон, вскочили — первый побагровел еще гуще, второй обливался слюною — но прервать старика не посмели, заметив, как грозно обернулась на них толпа. Бен-Перахья не шевельнулся, только приоткрыл один глаз и скосил его на Шелаха.

— Прогони их, Самсон, — шамкал дальше бен-Иувал, — не следует юношам нашим слышать их речи. Не выдадим мы тебя. Часто мы тебя огорчали, и часто ты нас, и обычай твой странный; но ты нам дал покой и защиту, ты нам дал новую

землю на севере, ты... Пусть идет войной на нас Иуда, хоть у него больше тысяч, чем у нас сотен; пусть идут на нас хоть сами сараны — Дан не ворона, Дан с тобою, Самсон.

Но этого конца его речи уже и близкие не слышали из-за восторженного вопля всей толпы. Понявшие, старики, молодые, ребяташки, мужчины и женщины, даже туземцы на окраинах площади замахали руками, закричали каждый что-то свое и все одно и то же; Хермеш влез соседу на плечи, Нехуштан тоже, и, надрываясь, они о чем-то спрашивали толпу — должно быть, вербовали бойцов.

Послы уже все стояли и смотрели на Самсона, желая, по-видимому, что-то сказать. Он давно не показывал данитам своего умения покрыть одним окриком тысячный гам — не приходилось; но теперь это понадобилось — и опять в одно мгновение все стихли.

Тогда бен-Калев из Текоа обратился к Самсону и сказал, тяжело дыша:

— Мы готовы идти обратно; но последнее слово за тобою. Говори, Самсон.

— Говори, собака! — закричал тот же голос из кучки пророков, и на средину круга выбежал пожилой дервиш, лысый до затылка, с шишками на черепае и с черной бородой, в которой застряли какие-то клочья; одет он был в изорванную циновку из древесного луба. Теперь уже было ясно, что слово "собака" относится к Самсону.

— Кабан нечистый! — вопил он, прыгая вокруг назорея и тряся кулаком. — Шут! Пьяница! Распутник! Душегуб народа Божьего! Это ты завел свое племя и все колена в трясины, и нет выхода! Не язычник идет на нас теперь — хуже, хуже, Иуда подымает руку на Дана, Дан на Иуду; братья загрызут друг друга, как звери в лесу, и необрезанный возликует, а ты, ложный судья, — ты спрятался, как хорек зловонный, в яму!

Дишон даже засмеялся от радости.

— Правильно говорит сын пророческий, — закричал он, — хорош у вас судья: пусть гибнет земля, пусть восстает колено против колена — лишь бы ему спасти свою душу!

Но у пророка была своя особенная логика. Он вдруг забыл Самсона и набросился на послов, выкрикивая:

— Позор вам и развратным матерям вашим, семя предательское! Гаже филистимлян Иуда. Когда сгорела Тимната, старый кафторянин, тесть этого Самсона, и дочь его, юное дитя, оба молча понесли пытку и смерть, но Самсона не выдали; а кто был он им? чужой! Вы же готовы предать во вражьи руки брата вашего, плоть от плоти отца нашего Иакова.

Тут Дишон бен-Ахицур внезапно расхохотался так визгливо, что даже пророк удивился и замолчал, забыв закрыть рот. Пророк смотрел на него и задыхался, а Дишон тоже по-своему задыхался, корчась от беззубого смеха, держась то за живот, то за ребра; и вдруг, перестав смеяться, он закричал среди полной тишины, тыча пальцем в сторону Самсона:

— Этот? Брат наш? От плоти Иакова? Эй, Дан, стадо слепых безумцев! Сколько лет можно вас дурачить нелепой сказкой? Или вправду по сей день вы не поняли, откуда, из чьего семени пришел к вам этот судья, этот чужак под гривой назорея?

Толпа глядела на него, не понимая, но еще больше замерла в предчувствии чего-то нового и доселе небывалого. Шевельнулись только три человека: старый Маной схватился за горло, Махбонай бен-Шуни протянул руку, словно желая, но не смея вмешаться, — а Самсон резко обернулся назад: ему показалось, что оттуда на него кто-то пристально смотрит. Там, за собою, в толпе женщин, он увидел мать; но она смотрела не на него, а на Дишона, вся скорчившись, и глаза ее

выкатились. И Самсону вдруг почудилось, что на него надвигается громадная черная туча или туша и сейчас она его обхватит и начнет душить.

Дишон продолжал уже не крича, не спеша, с ядовитой отчетливостью:

— Он такой же данит, как саран из Экрона данит. Сами вы знаете, что обычай его не ваш, и душа у него чужая: потому что и кровь его — не ваша. Кто из мудрых людей верит басням об ангеле, который в весеннюю ночь явился к женщине и возвестил ей о рождении сына? К честным женам не приходят ангелы ночью, в пустынном месте у колодца. Это не Самсон: имя ему Таиш, филистимляне правы, и недаром они его любили: он от плоти Кафтора, и тот ангел у колодца, любовник его матери, был филистимский бродяга!

В мертвой тишине послышалось одно только движение — это Нехуштан, с широким ножом в руке, без возгласа бросился на посла. Самсон схватил его за руку и отшвырнул далеко в толпу; он стоял весь бледный и не сводил глаз с Ацлельпони. Женщины, переглядываясь, расступились; старуха — она давно была старухой по виду, — тряся головою, медленно вышла на середину круга. В тяжелом молчании все взоры скрестились на ней. Не дойдя до сына, она споткнулась; к ней хотел подбежать Махбонай, но и его Самсон остановил.

Ацлельпони приподнялась и поползла на руках по земле. Теперь она смотрела на Маноя и старалась что-то прошептать, но слова не выходили; тогда она подняла руку и протянула в сторону мужа скрюченный палец.

Самсон, сам того не замечая, перевел ее жест. Потухшим, безучастным голосом он сказал Маню:

— Отец, она спрашивает у тебя, правда ли это.

Маной стоял с закрытыми глазами, одной рукою держась за глотку, другой потирая свой шрам на лбу. Услышав слова сына, он слабо

шатнулся вперед; в ту же минуту его лицо исказилось, веки широко распахнулись, из горла вырвалось отрывистое, заикающееся хрипение; руки его повисли, колена подогнулись, и он свалился на землю.

— Он-то знал, — насмешливо сказал Дишон.

Самсон медленно повел головою вправо и влево, вправо и влево: ему нужно было что-то сбросить с плеча, что-то гнетущее, но оно впилося ему в виски и не отступало. Опять было с ним так, как было давным-давно, один только раз в жизни, тогда в Тимнате, — горы валились ему на голову, гора за горою, вышибая, одну за другою, каждую мысль, разрывая, одну за другою, каждую струну сознания. Но теперь он все-таки вспомнил, что вокруг него толпа и что нельзя им показать свою муку. С огромным усилием он стиснул мускулы вокруг глаз и обвел взглядом все эти сотни лиц, растерянных, подавленных; и, несмотря на туман и хаос, старый звериный инстинкт мгновенно отпечатал в его мозгу их общую думу. Он ясно прочел: они поверили сразу, без колебаний: теперь они молчат и вспоминают. Все вспоминают; все, что с раннего детства отдаляло их от него, все, чего нельзя в нем было понять, всю загадку Самсона и Тайша...

Он подошел к Маною, нагнулся, повернул его навзничь: голова старика отвалилась, из раскрытого рта сочилось что-то черное. Он отвернулся; постоял еще мгновение, потом двинулся, осторожно поднял на руки Аццельпони и понес ее прочь, а толпа широко расступалась перед ним — и даже ребятишки за ним не побежали.

Глава XXVII. ВО ВЕСЬ РОСТ

Одна только соседка пришла к Ацлельпони и ходила за нею всю ночь: это была мать Ягира и Карни. Самсон сидел один над телом Маноя; но в течение ночи три раза приходили к нему люди по делу.

Первыми пришли Хермеш и Нехуштан и с ними еще человек десять: эти остальные столпились в тени, лиц их не было видно.

— Мы не от своего имени пришли, — сказал Хермеш. — Нас послали другие, и их очень много; и нам велено сказать тебе вот что: мы за тебя до конца.

Остальные сзади крикнули подтвердительно. Самсон всмотрелся в них, и сердце его на миг остановилось. Он их вспомнил: это все были когда-то его шакалы. Вспомнили что-то и они: повинувшись безмолвному призыву, они вдруг затолкали друг друга, переместились и выстроились в один ряд, навывтяжку, по его старой науке.

— И вся Цора за нами пойдет, — продолжал Хермеш, — и весь Дан. Сегодня они шепчутся по закоулкам о том, что было на сходке; но если быть войне, каждый мужчина и каждый юноша встрепенется и скажет: мне все равно, я за Самсона!

Самсон тихо сказал, помолчав:

— Дана ты сосчитал; сосчитал ли Иуду?

— Есть время считать, — ответил Хермеш, — и есть время взвешивать. Иуда силен; но все равно. Пусть рухнет Дан от края до края; в Лайш на север уйдут остатки, но имя наше останется Дан и

Лаиш — судья и лев. Для имени живет народ, не для домов и пастбищ.

Самсон смотрел на них молча; они поняли, о чем он думает, так ясно, как будто он это выговорил: война с родными — за чужого? Они все потупились, не зная, как ответить ему; только Нехуштан робко сказал, — робко, потому что не привык говорить с Самсоном длинными словами:

— Это не наше дело. Вероятно, солгал тот беззубый; но это не наше дело. Был или не был тогда у колодца ангел Божий, этого мы не знаем. Но одно мы знаем: в другую ночь по всем домам нашим прошел ангел Божий, забрал у нас каждую мысль, и надежду, и самые сны, смешал воедино, сделал из них одно сердце и вложил в твои ребра, Самсон. Ты — это мы; не за тебя мы, а за душу Дана.

— Верно, — отозвался Хермеш; и остальные, все разом, твердо и громко повторили: — Верно!

Самсон молчал, тяжело дыша. Опять они поняли молчаливый приказ, и Хермеш ответил:

— Мы пойдем, каждый к своей сотне, и будем ждать твоего слова.

И они ушли, а Самсон вернулся к телу Маноя.

* * *

Много прошло часов; было совсем тихо, только из-за простенка невнятно слышался минутами визгливый бред Ацлельпони и тихая речь соседки, которая успокаивала ее. Вдруг заскрипела дверь за Самсоном. Он не обернулся, пока за ним не раздался рыхлый и плавный голос.

— Это я, Махбонай бен-Шуни.

Самсон оглянулся на него и глазами спросил коротко: что надо?

— Я был в той комнате, — сказал левит, указывая на простенок.

Самсон опять спросил глазами.

— Встань, Самсон, — ответил Махбонай с неожиданной настойчивостью в голосе, — встань и пойд к своей матери.

Самсон не двинулся, и они долго смотрели друг на друга, назорей с хмурой неприязнью, левит с учтивой уверенностью. Самсон, хотя ему было не до того, подивился, что левит, против обычая, стоит прямо, не суетясь, и глаза его не бегают по сторонам. Но это все же был откормленный Махбонай, барышник и заклинатель, которого Самсон брезгливо не любил: и теперь он ему напомнил сразу тысячу вещей, о которых вспоминать не хотелось. Одному воспоминанию Самсон засмеялся без улыбки и сказал вслух:

— Ты оказался провидцем, левит. Это ты, еще с первой нашей встречи, назвал меня: сын Аццельпони. Так и будут звать меня люди с этого дня.

— Пойди к своей матери, — повторил Махбонай, не обращая внимания на его слова.

— Зачем?

— Она в горячке, и рука ее шарит кругом. Пойди, дай ей схватиться за твою руку.

— Зачем?

— Тогда можно будет ей умереть, — сказал левит.

Самсон промолчал и отвернулся, кончая беседу; но Махбонай не ушел.

— Сделай, как я говорю, — сказал он еще настоятельнее. — Она не может умереть. Она повторяет одно и то же. Вопрос, который ты знаешь. Она спрашивает: "Маной — неужели это правда?"

— Ей лучше знать, — грубо отозвался Самсон.

Левит уверенно ответил:

— Нет. Она всю жизнь прожила в горячке. В ту ночь, у колодца, она тоже была в бреду. Она не знает. Знал, быть может, Маной. Многое знал

Маной, о ней, о тебе и обо всем; знал, может быть, и об этом.

Самсон молчал.

— Пойди к ней и возьми ее за руку, — повторил левит, и уже голос его звучал не рассыпчато и не умилительно. — Возьми ее за руку; тогда она поймет, что то была неправда, и ты ей закроешь глаза.

Самсон резко повернул к нему голову.

— Неправда? Откуда мне-то знать, что неправда?

Левит медленно двинулся к нему и подошел совсем близко; и Самсону вдруг показалось, что он этого человека еще ни разу по-настоящему не видел, что это не бен-Шуни, жирный нахлебник его матери, а кто-то иной, важный, величавый и по-своему сильный. Самсон невольно поднялся и смотрел на него; он был много выше, но этого как-то не чувствовалось — словно глядят друг другу в лицо два человека, равные ростом.

— Правда, — сказал Махбонай бен-Шуни, — правда -- это не то, что было или чего не было в одну ночь из ночей. Правда есть то, что останется в людской памяти навсегда; и знает ее один человек на свете: я.

Самсон указал на Маноя и тихо спросил:

— От него?

Левит покачал головою.

— Он об этом не говорил, и я не спрашивал, — сказал он строго, — и не из расспросов познается настоящая правда. Не допрашивай меня и ты. Пойди в ту комнату, возьми ее за руку, и это будет правда. Тогда она умрет. Когда-нибудь и ты умрешь: и умрут все люди, что были сегодня на площади, даже малые дети; и умрут с ними все их мысли, и слова, и пересуды. Одно уцелеет навеки, то, что назову правдой я, левит Махбонай.

Самсон смотрел на него пристально, слегка ворочая головою, как всегда, когда старался понять трудное.

— Ты презираешь меня и мое дело, судья, и всю мою породу, — говорил левит, — ибо велика, но коротка твоя мудрость. Ты человек могучий, но мера твоей силы — один день: будет вечер, будет утро, и народятся новые люди, не знавшие Самсона. А я и порода моя — мы, по твоей мере, червяки: мы бродим из края в край, мы бормочем заклинания, мы чертим крючки на козьей шкуре. Но жить будет только то, что я закрепил в молитве и записал на лоскуте кожи: это и назовут люди правдой, а все остальное — дым.

Он пошел к двери и приоткрыл ее.

— Пойди к матери, Самсон. Много лет тому назад она мне сказала: возьми шкуру козленка и записывай на ней жизнь моего сына, от чудесного рождения его и до конца. Так я и сделал; и то, что я записал, то и останется правдой из рода в род. Я, Махбонай из Хеврона, когда-то сказавший тебе по неведению "сын Ацлельпони" — я червь, я умру; но то, что я записал, никогда не умрет — а там написано: сын Маноя. Ступай за мною, судья, — твоя мать боится умереть без моей правды.

* * *

Перед зарей, когда перестала хрипеть Ацлельпони, пришли к Самсону еще двое: Иорам, богатырь из Текоа, и Цидкия бен-Перахья, ростовщик из Хеврона, послы Иуды. Бен-Перахья сел на скамью, зажмурил глаза и стал жевать губами. Иорам, стоя, склонил голову перед назореем и сказал тихо и твердо:

— Не пришли бы мы к тебе в первую ночь твоего сетования; но горше будет, если раздерут одежды свои два колена Божьего народа. Слово за тобою, судья: страшное слово, тяжкое слово, но сказать его можешь только ты.

Самсон молчал.

— Когда-то, — опять заговорил Иорам, — когда

ты был еще юношей, а у меня на плечах уже лежало бремя полужизни, ты держал со мной совет; и мне помнится — ты тогда отличил мои слова от речей других советчиков. Хочешь ли выслушать меня снова, Самсон?

Самсон отозвался:

— Говори.

— Люди Цоры, — говорил посол, — не спали в эту ночь. Товарищи твоей молодости, которые шли за тобою когда-то, покинули свои дома и созывают теперь бойцов; вокруг них уже собрались сотни, но соберутся тысячи. Недаром жил ты, Самсон: Дан не знает ни трусости, ни измены — Дан тебя не выдаст.

Самсон молчал, глаза его глядели в темноту.

— То, что они сегодня слышали, — продолжал бен-Калев, — и чему поверили (хотя я и не верю), — то не смутит их решимости. Может быть, оно и укрепит ее. Я стар и хорошо знаю все наше племя: ниже, вдвое ниже преклонится оно пред таким вождем, над которым распростерлось покрывало тайны; если он чужой, тем больше его могущество. В этом похожи друг на друга все колена; вероятно, все народы. Дан тебя не выдаст.

Цидкия бен-Перахья разжмурил на мгновение глаза, что-то промычал и кивнул головою подтвердительно.

Иорам продолжал:

— Но Иуда, если бы ты был судьей в Хевроне и дело сложилось так, как сложилось, — Иуда посыпал бы пеплом голову²⁴ и отдал тебя филистимлянам. Я тебе скажу то, чему ни ты, ни кто другой еще сегодня не поверит; но это правда. Не трус Иуда; но Иуда хочет жить, потому что в душе его затаен замысел. Какой замысел — я не знаю; не дано человеку самому толковать свои сновидения, и не всегда помнит он поутру, что приснилось ему ночью. Но такой это замысел, какого нет в душе других колен. Иаков, отец наш,

разделил свою душу между сынами и внуками: вкрадчивое очарование свое отдал Ефрему; страсть любовника, покоряющую женщин, — Вениамину; жажду скитания, создающую новые города, — Дану. Но свой дар сновидца и свое упорство погони за невнятными снами он завещал Иуде; и, как он, пойдет Иуда, ради невнятного замысла, на раздор и с отцом, и с братом, и с Богом; и схитрит, и солжет — и изменит, Самсон, предаст лучшего и ближайшего, ради того замысла, на неслыханные муки.

Цидкия бен-Перахья неожиданно фыркнул с явным пренебрежением и насмешливо отозвался:

— "Муки"? Ха!

И, зажмурив теперь один только глаз, он этим глазом, непонятно зачем, как будто подмигнул Самсону.

— Даже на муки, — повторил Иорам сурово. — В последние годы, на покое, часто я слушаю рассказы бродячих левитов о старине нашего племени. Много в этой повести измен. Авраам, первый наш родоначальник, святой и мудрый человек, не одно, а три предательства совершил на своем веку: старшего сына, малютку, вместе с матерью неповинными бросил на безводную смерть в пустыне; другого сына сам поверг на костер и от жены своей Сарры, нашей матери, отрекся пред язычниками, отдал ее в наложницы князю Гера, лишь бы не погибнуть²⁵. Ибо Иегова заключил с ним союз и дал ему замысел; и сегодня, через цепь поколений, Иуда хранит древнюю заповедь. Она для нас то, что для Дана судья: ее мы не выдадим, но ради нее предадим все остальное. Иуда должен жить, Самсон: жить — какой бы ни было ценою.

Самсон молчал.

— Значит, быть между нами войне, — говорил Иорам из Текоа. — Дань, которой требуют сараны за твою шутку, Иуда уплатит; если не может

он дать им одну твою голову, должен будет отдать за нее тысячи голов дановых, и сожженные виноградники, и разрушенные города от Гимзо до Айялона. И помни мое слово, Самсон: тогда, от Гимзо до Айялона, не вспомнит ни один из сирот дановых о том, что сегодня у ворот ты, Самсон, не произнес ни слова, что сами пришли к тебе ночью отцы их и сказали: мы с тобою, судья! — забудут они об этом и скажут: он подстрекал, он молил бойцов Дана: "Спасите меня!", он за себя одного обездолил наше колено. И сотрется тогда навеки имя Самсона, спалившего Тимнату: поджигателем Цоры останешься ты в людской памяти. Не принимай жертвы, Самсон. Я стар, я знаю природу человека: ростовщик он по природе, его жертва — заем; горе должнику, если не уплатит он сторичного роста.

Цидкия бен-Перахья, услышав слово "ростовщик", опять разжмурил один глаз — и кивнул головою, подтверждая правильное рассуждение.

После этого они долго молчали. Иорам тяжело и устало сел на скамью; в его голосе, когда он говорил, этого не чувствовалось, но все в нем изнутри было разорено и выжжено, как та земля после нашествия, которую он только что описывал. В то самое время, как он убеждал Самсона, вспоминалась ему беседа в пещере, и юный великан, который тоже пришел тогда с большим и дерзким замыслом; вспоминалась Иораму и его собственная молодость, боевые набеги в пустыне, погоня за врагом, вражья погоня за ним, три дня без воды — дела простые и честные, непохожие на то, что выпало ему на долю сегодня. Сто раз ему хотелось оборвать свою речь и крикнуть Самсону другое; но он продолжал свою речь, и теперь у него не было силы, и он горько и гневно думал о том, что нет грани между правдой и кривдой. А о чем думал Самсон, того и Самсон не мог бы рассказать: как

тучи за бурей, неслись в его мозгу черные обрывки мыслей.

Тем временем стало светать; и, преодолевая усталость и стыд и отвращение к самому себе, Иорам из Текоа сказал свое последнее слово:

— Легче было бы мне вырвать язык из гортани, чем произнести все то, что я произнес; и, хотя ты молчишь, мне понятна речь твоей души: вся она в одном слове — презрение. Слушай, Самсон. Люди говорят, что ты нас всех презираешь, Дана, Иуду и Ефрема; и, быть может, ты прав, ибо есть народы, созданные из мрамора, а нас вылепил Иегова из скользкой глины и хрупкой соломы. Но глина с соломой вместе дают кирпич: крепкий это камень. Приходили к тебе в эту ночь товарищи даниты; я знаю, что они сказали тебе: скала так не загремит под ударом, как гремела их прямая и верная речь. Был у тебя в эту ночь Махбонай бен-Шуни, родом левит, осколок бездомного сброда из помета всех колен: я знаю, что сказал он тебе, и знаю, что ты встал перед ним и покорился, ибо и в его словах был отголосок величия. Теперь мы пред тобою; мы люди худые и малые, говорим недостойными устами, но мысль наша — куст неопалимый, лестница от земли до неба²⁶. Кто бы ни был отец твой, Самсон, не презирай и нас, семья твоей матери. Большие сердца, одно за другим, распахнулись пред тобою в эту ночь; ты ли, самый могучий среди нас, окажешься малым? Больше говорить я не буду; решай.

Он встал и пошел к выходу; Цидкия бен-Перахья поднялся за ним, посмотрел на Самсона и вдруг уже совсем явно подмигнул ему и снова сказал неожиданно и непонятно:

— Пустяки, все кончится по-хорошему. Ха!

Но Иорам еще остановился у порога и через силу, запинаясь, прибавил:

— Одно я забыл. Даже если ты согласишься,

Цора тебя не отдаст и приказу твоему не подчинится, и будет война.

Самсон усмехнулся и спросил:

— Что же, не скрыться ли мне от друзей и бежать потайно в землю Иуды — для вашего удобства?

Иорам ответил:

— Да.

Когда закрылась дверь за послами, Самсон опять подошел к телу Маноя. От сквозного ветра с груди Маноя сползло одеяло. Самсон поправил одеяло, застонал долгим, глубоким стоном, повернулся и вышел на двор. Город еще спал после бессонной ночи.

* * *

Через три дня пришел в Текоа гонец и сказал Иораму, сыну Калева:

— Самсон ждет тебя один в пустыне Иудейской, в утесах близ Баал-Меона. Присылай стражу.

Глава XXVIII. ОСЛИНАЯ ЧЕЛЮСТЬ

— Эту поклажу взвалите на моего запасного коня, — брезгливо сказал Ахиш, по прозвищу Бритва, племянник сарана экронского, — другая лошадь не выдержит.

Солдаты посадили Самсона, связанного так, что из-под ремней почти не видно было платья. Конь, действительно великолепный, сначала захрапел и рванулся, но, очевидно, узнав Самсона, сразу притих. Еще недавно, и не раз, скакал на нем Самсон. Ахиш, когда собиралась в Экроне веселая компания, любил устраивать гонки и охотно давал лошадей из своей конюшни — но при этом всегда были денежные заклады, и, кто бы ни состязался, деньги всегда выигрывал Ахиш.

Они развязали пленнику ноги, чтобы можно было усадить его верхом, но потом опять связали их под брюхом у лошади: замысловато и прочно связали и долго над этим возились.

Было это в горах, недалеко от Хеврона, близ деревушки Адораим, где стоял тот полк, что пришел в землю Иуды с посольством. Полк был настоящий, в несколько сот пехоты, с двенадцатью конными офицерами, не считая начальника. Иудейский отряд, приведший Самсона с юга, по дороге из Ютты, ушел на Хеврон, не оглядываясь, с понурыми головами. Самсон остался один среди филистимлян — как всегда, но по-другому; и, поводя глазами вокруг, он старался понять и поверить, что это действительно он и они, и что все это правда.

Таковыми он филистимлян еще не знал. Сотники, с которыми он недавно пил и шутил и играл в кости, смотрели теперь на него, как на пустое место. Ахиш сказал о нем "поклажа"; это слово точно выражало их отношение, в котором не было ни любопытства, ни торжества, ни вражды. С любопытством глядели на него только простые солдаты: среди них было много амалекитян и других инородцев из Синайской пустыни, которые его никогда не видали; и все они были озлоблены долгим ожиданием. Осень шла к концу, ночи были холодные, земля жесткая, воды мало. Дни проходили за днями, а пленника все не было; то и дело приезжали какие-то посланцы из Хеврона и уговаривали Ахиша потерпеть еще и еще; двое из них — один полный, суетливый, многословный, другой старик с тонкими губами на лисьем лице и с прищуренным глазом — просидели наедине с начальником в его палатке целую ночь, и утром он с ними куда-то ездил, — а солдаты изнывали и бранились между собою. Теперь они, должно быть, охотно избили бы связанного Самсона; не имея на то приказа, они, по крайней мере, с наслаждением, как можно туже, затянули на ногах его узлы.

Выдача Самсона замедлилась потому, что старосты Иуды приказали своему отряду везти его по самым безлюдным тропинкам, а через места населенные, если нельзя их обойти, проходить по ночам. В стране было много ропота среди молодежи. Из Баал-Меона вышли на дорогу тысячи народу, ошибочно полагая, что конвой пройдет этим путем; и, по слухам, в толпе было много вооруженных. Сам Ахиш это понял и согласился ждать.

Но теперь Самсон был у него в руках, филистимская пехота шла спереди и сзади, и бояться иудейской черни было нечего. Полк медленно шел по главной дороге и еще засветло прошел чрез Адораим. Вся деревня

вышла смотреть; женщины плакали, мужчины хмурились, но никто ничего не сказал. Только ребяташки, пропустив передовой отряд, побежали за Самсоном, и солдаты, ведшие под уздцы его лошадь, отгоняли их пинками. Подальше за деревней к мальчишкам присоединился лохматый, невероятно грязный пророк: он запустил в Самсона камнем, грозил ему кулаками и кричал: "Пьяница! Развратник! Сдерите с него шкуру!" Солдаты посмеивались; но и пророка отогнали, и он, задыхаясь и бормоча, пошел за тыловым отрядом.

Самсон все еще не мог одолеть того чувства, будто это не взаправду, не настоящее. Мысли его были несущественные, пустые. Откуда на небе столько туч? Он стал подробно высчитывать сроки и пришел к убеждению, что не время еще для дождя; тем не менее, тучи густые, похоже на то, что близится ливень; как же так? И он стал припоминать, тоже очень подробно, в какие годы за его память случались ранние дожди²⁷: было два таких года — один в его детстве, другой тогда-то и тогда-то. Потом мимо него проскакал сотник верхом, и Самсон подумал о том, какие жалкие у всех этих сотников лошади по сравнению с конями Ахиша. Тот, на котором ехал он сам, почти всегда побеждал на состязаниях; раз он обогнал даже собственную лошадь самого Ахиша — но, конечно, тогда сидел на ней кто-то другой, не Ахиш. Ахиша нельзя обогнать. Самсон вдруг улыбнулся: вспомнил, в чем они все подозревали саранова племянника. Его кони знали его голос, и с каждым конем он говорил по-другому, и когда он щелкнет языком или свистнет, каждый конь знает, к нему ли этот знак относится или нет. Когда сопернику начинало казаться, что вот-вот он опередит Ахиша, Ахиш оглядывался на его лошадь и свистел или щелкал — и лошадь соперника вдруг замедляла галоп или осаживала и подымалась на дыбы. А доказать нельзя было ничего, и заклад

доставался Бритве. Ловко бреет Ахиш...

Только от времени до времени становилось Самсону невыносимо. Не в душе, а рукам и ногам и всему телу. Из Баал-Меона он шел, конечно, не связанный: связали его сегодня на рассвете, миновав Ютту, а теперь уже скоро сумерки. Каждый мускул его просился на свободу; каждая жила бунтовала против заторможенного бега сочной и богатой его крови. И члены его ныли от узлов — а Самсон, никогда не хворавший, до сих пор не знал, что такое медленная боль. Это все, когда он вспоминал об этом, было невыносимо. Но в душе у него не было никакой боли, мысль упрямо не поддавалась, упрямо отворачивалась от той истины, что он в плену и ведут его в Газу.

Полк остановился. Сотники передавали друг другу, что решено идти всю ночь, а теперь будет большой отдых. Самсону развязали ноги; стащили его с коня, положили на землю и снова опутали ремнями колени. Дервиш, опять подбежавший поближе, сидел на корточках у края дороги, хохотал, плевался и выкрикивал ругательства; солдатам это нравилось, и они его подстрекали, когда офицер отходил в сторону.

Подошел Ахиш, бегло покосился на ноги Самсона, проверяя путы.

— Ночью будет гроза, — сказал ему сотник.

Ахиш посмотрел на хмурое небо; солнце, которого тут уже в горах не было видно, освещало края туч, и они казались оттого еще более зловещими.

Самсон загадал про себя:

”Сейчас он сострит. Скажет что-нибудь в таком роде: не страшно, не подмокнет наша поклажа”.

Но и этого внимания не оказал ему Ахиш, а просто ничего не ответил офицеру. Он был человек высокомерный и с подчиненными грубый.

— Накормить, — сказал он коротко, хлыстом указывая в сторону Самсона, и ушел.

Самсона посадили, и солдат ткнул ему в губы ложку с варевом из чечевицы. Одну Самсон проглотил; но когда солдат поднес вторую, пророк внезапно пришел в бешенство, подбежал к нему с криком, похожим на лай, и вышиб ложку.

— Пусть издохнет с голоду! — вопил он. — Гиена! Блудница! Истребитель народа Божьего!

Солдат был амалекитянин и, видимо, не решался ударить юродивого. Подошел сотник, человек образованный, без предрассудков; одним пинком повалил он пророка на землю и, не торопясь, раз десять хлестнул его толстым конским бичом по лицу и по голым ногам. Пророк извивался, визжал и плакал; но, поднявшись, даже не огрызнулся на офицера, а только плюнул в сторону Самсона, отбежал на край дороги и присел, зализывая кровь на руке по-собачьему.

Солдаты-филистимляне смеялись, но инородцы были, видимо, недовольны. Когда сотник ушел, один из них наполнил кашей плошку и поманил к себе пророка. Тот стал жадно есть, все еще всхлипывая; а амалекитянин сказал что-то солдатам на своем наречии, указывая на пленника, и они засмеялись: вероятно, о том, как любит народ Самсона в его собственной земле.

Но Самсон не заметил их смеха. Он напряженно думал о другом. Этот юродивый, когда его хлестали, кричал от боли не тем голосом, которым прежде ругался. Тот прежний голос был Самсону незнаком, но этот новый, невольно вырвавшийся под ударами, он хорошо знал. Что это? Просто ли не своим голосом взвыл полоумный бродяга — или, напротив, именно своим, настоящим? Самсону хотелось взглянуть в него; но солнце уже зашло, сумерки быстро темнели, и от туч было еще темнее; и, главное, не следовало, может быть, показывать солдатам, что пленник присматривается к дервишу.

Толстый десятник, филистимлянин, видя, что подходит ночь, распорядился зажечь факелы.

Самсон лежал навзничь, насторожась и прислушиваясь к каждому звуку. В тяжелой безветренной полутьме стоял нестройный подавленный гул солдатской массы. Потом раздался резкий шорох — на Самсона капнуло, еще и еще, и вдруг, без перехода, словно небо лопнуло во всю ширину, хлынул сплошной ливень. Десятник пространно выругался: потухли факелы. Солдаты поспешно натягивали на головы кожаные плащи.

Самсон повернул голову, чтобы не захлебнуться, — повернул ее в ту сторону, где у края дороги видел, пока не стемнело, сидящего на корточках пророка. Теперь уже ничего нельзя было различить через дорогу: видны были только черные фигуры солдат, тоже скрюченные на корточках. Но Самсон уже наверняка чувствовал, что это не все. Сквозь гулкий ропот ливня ему слышался, может быть, только в воображении, едва заметный ползущий шорох; среди черных пятен то одно, то другое почему-то казалось ему непохожим на остальные. Он тесно прищурился, изо всех сил взвинчивая силу взгляда, и теперь уже ясно увидел: одна из фигур, сидя, медленно подвигалась в его сторону. Вот она уже рядом с солдатом, который сидит ближе всех к Самсону.

Вдруг у Самсонахватило дух: этот солдат повернул голову к той фигуре и сказал что-то вполголоса по-амалекитянски.

Но фигура ответила ему на том же гортанном языке и тоже негромко. Солдат кивнул головой, пробормотал что-то ленивое и раздраженное и опять скорчился под своим плащом. И Самсон вспомнил: когда-то, тому много лет, он сам послал Нехуштана в пустыню учиться наречию Амалека.

И, задерживая дыхание, он увидел, как поднялась черная тень медленно и лениво и, сгибаясь под дождем, подошла к нему вплотную; подойдя, нагнулась над ним, совсем как часовой,

ощупывающий путы, и опять, но совсем уже громко, сказала что-то по амалекитянски; и теперь Самсон узнал уже и голос, и веселые лукавые глаза. Что-то вдруг тихо лопнуло у его щиколоток, — потом между локтями, — потом на шее, и при этом оцарапало шею что-то холодное и острое.

В это мгновение, словно бы срезанный, остановился дождь, так же внезапно, как ударил; по ущелью промчался ветер и наполовину как будто смел темноту. Солдат, сидевший ближе к Самсону, радостно выбранился, скинул с головы плащ — и вдруг закричал во все горло по-ханаанейски:

— Это что такое?

Прямо с места, одним прыжком, он бросился на Нехуштана. Самсон рванулся изо всей силы, плечами, руками, ногами, всем телом. Но ремней на нем было еще много. Нехуштан успел разрезать всего три узла. Только ноги Самсона были свободны, от колен книзу; бешеным напряжением он разорвал путы над коленами, вскочил и, как жука, раздавил ногою череп солдата, боровшегося на земле с Нехуштаном. Той же ногой встретил он десятника, бросившегося к нему с мечом: тучный десятник согнулся пополам, только икнул и повалился; и еще третьего проткнул ножом Нехуштан. Но уже было поздно. Их окружили; сзади слышалась команда — десять или двадцать копий со всех сторон уперлись в грудь и плечи Самсона, в грудь и плечи Нехуштана. Почти разом запылали кругом факелы. Самсон смотрел на Нехуштана. И теперь за маской грязи трудно было узнать его, только серые глаза были те же, с тем же прямым и верным взглядом — и та же улыбка.

— Жаль, — сказал Нехуштан, тяжело дыша, но совсем спокойно.

По всей дороге слышались окрики, слова команды, стук оружия. За кольцом, окружавшим Самсона, толпа расступилась; показался Ахиш, без

кольчуги и шлема, что-то еще жевавший. Бледный сотник начал ему докладывать, волнуясь, про дождь и темноту...

— С тобой мы объяснимся в Газе, — оборвал его начальник, прожевывая. Потом он глотнул, утер губы тылом ладони, посмотрел на Нехуштана и распорядился:

— Приколоть.

Мерно, как один человек, пять солдат наклонили плечи и ступили на шаг вперед; и с гулким ударом их тяжелых сапог о каменистую почву Иудеи смешался треск лопающихся ребер и хриплый крик Нехуштана:

— Он отомстит!

Не по-человечьему, как еще никогда в жизни, зарычал Самсон и кинулся грудью на копья. Но солдаты знали свое ремесло: в то же мгновение, разом, они опустили свои пики остриями до земли, и Самсон, споткнувшись о труп десятника, повалился ничком на дорогу. Дюжина рук вплелась ему в волосы, прижимая голову к земле, пока другие вязали ему ноги.

— Не затягивайте, — сказал Ахиш, — сейчас надо будет его сажать на коня.

Когда опять его повернули навзничь, Ахиш взял у солдата факел и осветил лицо Самсона, и в то же время свое. Сквозь пыль и кровь у разбитого носа было видно, что Самсон очень бледен; глаза его ушли под брови, на губах была пена. Ахиш улыбнулся.

— Никакого нет у вас порядка, Таиш, — сказал он неизвестно почему — и вдруг, совершенно как бен-Перахья, ростовщик из Хеврона, подмигнул одним глазом.

Потом он велел привести коня; сам следил за посадкой пленника и сказал солдату:

— Не затягивай снизу, мерзавец, — лошадь искалечишь.

Снова двинулся полк по дороге, но теперь

лошадь Самсона шла впереди, сейчас же за конем и свитой начальника; и дождь начал накрапывать.

* * *

Долго они шли; сколько, Самсон не считал и не заметил. Все в нем теперь онемело; даже пустые мысли не приходили больше в голову. Может быть, он и дремал временами; раз он даже, наверное, заснул и увидел долину, скелет пантеры и костер; по долине, прямо на костер, шел мальчик, высоко подняв руки, и над ним тучей вились темные мелкие пчелы; он, Самсон, сидел над обрывом, и рядом сидела женщина; и он не мог вспомнить, кто этот мальчик — Ягир, или Гуш, или кто-то третий, и никак не мог разглядеть лицо женщины, а когда почти уже разглядел, лошадь под ним рванулась, и он проснулся. Лошадь оттого, должно быть, рванулась, что где-то далеко загрохотала гроза. Дождь хлестал сильнее. В темноте было видно, что горы стали ниже, дорога шире — уже недалеко от равнины, а там земля филистимлян.

Опять донесся гром, и конь опять рванулся. Конь Ахиша даже осадил и замотал мордой; Ахиш посвоему защелкал языком, и оба успокоились.

— Ничего они на свете не боятся, — сказал Ахиш своей свите, — только грозы.

Сотники его засмеялись.

— Слишком они у тебя благородные, — сказал один, — наши кони — мужичье, зато не пугаются.

Вдруг шум дождя усилился, изменился — точно спереди кто-то бросил в лицо Самсону пригоршню крупного ледяного песку; по камням и по медным каскам затрещали и зазвенели бесчисленные щелчки града. Лошади отчаянно замотали головами, норовя повернуть назад. Ахиш выругался, поминая недобрыми словами и Вельзевула, и Дагона: и, как будто в ответ на богохульство, прямо над ними небо раскрыло

горящую пасть, и в три стороны побежали три ветви молнии. Конь под Ахишем встал торчком на дыбы и заржал, конь под Самсоном тоже заржал, метнулся в сторону и едва не свалил солдата, который вел его на поводу. Свита начальника и передовые ряды полка за нею остановились, дожидаясь грома: от первого раската задрожала земля, но второй и третий были еще громче; и на третьем раскате лошадь Ахиша рванулась и понесла. Из темноты, сквозь затихающий гром, едва слышно донесся его свист. Тогда и под Самсоном конь поднялся на дыбы, швырнув привязанного всадника назад чуть ли не головой до земли и сейчас же обратно вперед, так что он грудью ударился о конскую шею.

Конь быстро пошел, таща за собою солдата. Опять послышался спереди свист Ахиша: лошадь Самсона резко дернула головой, одуревший солдат выпустил повод, и она, прорываясь среди шарахнувшихся коней свиты, понесла прямо в темноту. Самсону пришло в голову, что он может ее остановить — у него достаточно было силы в коленях, чтобы одним добрым нажимом переломать ей ребра; но зачем? За ним раздались крики, свист, топот; но и спереди доносился топот другого коня — и, от времени до времени, свист Ахиша, совсем не похожий на те звуки, что могут успокоить обезумевшую лошадь. Путы на ногах у Самсона, уже не стянутые по приказу Ахиша, почти не мешали ему взлетать и садиться по мере галопа: он еще вытянул ноги как можно дальше вперед и книзу и, чтобы не свернуться, пригнулся к шее коня и поймал зубами косму длинной гривы. Опять ударила молния: в полусотне шагов перед собою он увидел ту лошадь и всадника — ясно увидел, что всадник оглянулся; и перед самым раскатом грома еще раз услышал спереди свист, сзади нестройные крики погони. Он ничего не понимал; никогда не слышал о том, чтобы лошадь

понесла ночью, по темной горной дороге; но какой-то хмель уже ударил ему в голову; и, сквозь зубы, стиснувшие прядь от гривы, он сам защелкал языком, как делал во время скачек, понукая этого самого коня. Но конь и без того несся во весь опор, особенным чутьем своим распознавая в темноте рытвины и камни. Град прекратился; дождя уже не было; все тише и глуше доносились сзади звуки погони; и спереди, через ровные промежутки, раздавался свист Ахиша. Потом погоня совсем замолкла. Топот первого коня стал как будто ближе. "Обгоню? в первый раз!" — подумал Самсон весело. Скоро он увидел в темноте всадника — тот ему крикнул:

— Держись!

Теперь уже ясно было, что ни первая, ни вторая лошадь больше не несут, а просто мчатся по воле хозяина. Назорей ничего не понимал и не старался понять. Смутная белизна дороги вдруг расширилась. "Перепутье?" — подумал Самсон. В самом деле, всадник перед ним круто повернул вправо и опять засвистал, и конь Самсона тоже свернул вправо. Эта дорога была много уже и не спускалась, как прежняя, а вела сначала ровно, потом в гору. Ахиш засвистал на другой лад: кони пошли тише. Еще поворот, и еще. Ахиш остановился: лошадь Самсона поравнялась с ним и стала.

Самсон выпустил гриву, выпрямился и посмотрел на Ахиша. Лица не было видно, только ясно белели на нем оскаленные зубы, и Ахиш со смехом сказал:

— Не свалился? Хороший ездок. Только все же нет у вас никакого порядка.

Вдруг Самсон увидел, что тот вытаскивает меч. У него мелькнуло в голове: нельзя ли метнуться в ту сторону, сбить его с коня плечом или головою? Но Ахиш его понял и опять засмеялся:

— Не зарежу, не бойся. Поверни ко мне локти.

Возиться пришлось ему долго, и освободить он успел только правую руку Самсона.

— Довольно с тебя, — сказал он.

Нагнувшись, он перерубил толстый жгут из перекрученных ремней, соединявший ноги Самсона под брюхом у коня, и сказал:

— А теперь дальше.

* * *

Перед зарей они доехали до селения. У околицы ждали их три человека: один был Махбонай бен-Шуни, другой Цидкия бен-Перахья, ростовщик из Хеврона, третьего Самсон никогда не видал. Подальше от них он заметил четырех осликов, нагруженных мешками, с негром-погонщиком.

Ахиш остановил коня, ткнул пальцем в сторону Самсона и сказал:

— Получайте.

Бен-Перахья подмигнул, ткнул пальцем в сторону ослов и отозвался:

— Получай.

— Без обмана? — спросил Ахиш. — Я пересчитаю.

Бен-Перахья ответил:

— Не в первый раз ты продаешь, а я покупаю. Когда я тебя обсчитывал?

— Правда, — согласился племянник сарана.

Самсон глядел и слушал, все еще не понимая. Махбонай помог ему слезть; третий, что был с ними, достал из-за пазухи нож и начал разрезать оставшиеся ремни.

— Это кто? — спросил Ахиш.

— Мой человек, — ответил бен-Перахья, — верный человек. Доведет тебя и твоих ослов и серебро до Египта по такой дороге, где не встретишь ни своих, ни разбойников.

— Доведу, господин, — подтвердил третий.

Ахиш потянулся с удовлетворением.

— Это хорошо, — сказал он; потом посмотрел на изумленное лицо Самсона, рассмеялся и прибавил: — Только порядка у вас нет никакого. Увязался за нами один из его молодцов и чуть-чуть не погубил все дело; пришлось его приколоть — а жаль, хороший малый. Нет у вас порядка, никогда не будет: каждый хочет по-своему, друг другу на ноги наступаете...

И, смеясь, он пошел к ослам и велел негру снять и развязать мешки. Мешки тяжело и звонко брякнули о землю.

Самсон повернулся к Махбонаю и резко спросил: — Что это все значит?

За левита, который замаялся, ответил бен-Перахья, жмуря левый глаз:

— Пустяки. Я ведь тебе сказал, что это пустяки и пустяками кончится. По-твоему, сила в плечах да еще в железе. Ха! Настоящая сила — в уме да в серебре. Любит Ахиш серебро, еще больше — золото; а в Мемфисе египетском веселее живется, чем в Экроне.

Самсон ворочал головою, стараясь понять.

— За деньги? — спросил он. — Племянник сарана?

Бен-Перахья подмигнул.

— Проигрался, — сказал он, — даже лошадей своих проиграл, кроме этой пары. И всегда был в долгах. Мы с ним приятели старые: ты только не рассказывай, но от него я, пожалуй, еще больше получил "твердого товару", чем от тебя.

Самсон спросил:

— А откуда столько денег? Кто дал?

— Я, — ответил бен-Перахья. — Четверо сыновей у меня, люди молодые, и очень уже они за тебя огорчились. Я и решил: их это дело, им же меньше останется, когда я умру.

Махбонай кашлянул и вставил — вежливо, но с уверенностью:

— И не так уж это много денег, Цидкия: на

одном том корабельном грузе ты вдесятеро больше заработал.

Цидкия вдруг рассердился:

— А ты считал? Неправда. Корабельный груз! А караван во сколько обошелся? А твоим левитам, вороватому отродью, сколько пришлось уплатить?

Самсон тупо смотрел в землю, машинально шевеля ногою какие-то камни или кости, валявшиеся на дороге. От бессонных ли ночей или от галопа со связанными ногами, или от этой простой разгадки его спасения, но ему стало тошно; стал гадок этот торгаш, и тот предатель над мешками с серебром, и сам он, Самсон, — поклажа, которую можно продать и купить. Лицо его исказилось отвращением. Он вспомнил слова Иорама в ту ночь, о великих сердцах, и о замыслах, и о лестнице от земли до самого неба: "Ты ли, судья, один среди нас окажешься малым?" Словно с верхней верхушки этой лестницы он свалился теперь в придорожную грязь. Все пустяки; все кончилось по-хорошему: Дан и не пострадал, но и не посрамил своей чести; Иуда выполнил требование саранов, не к чему придраться; и он, Самсон, цел и свободен, и все это была шутка — только Нехуштан, его любимец, его сын и товарищ, сероглазый, веселый, удалой, не понял, что это шутка, и умер ни за что, ни про что, с нерасшатанной верой в могущество своего брата и князя — с криком: он отомстит!..

Самсон отшатнулся, как будто его хлыстом ударили по лицу.

— Отомстит, — сказал он глухо.

На земле перед ним валялась большая, тяжелая кость от ослиного черепа, еще со всеми зубами. Он ее поднял, взвесил, потом взглянул вперед: Ахиш кончил проверку мешков и шел, помахивая хлыстом, обратно. Самсон быстро двинулся навстречу и на ходу швырнул ему кость прямо в лицо. Одновременно треснули оба черепа, ослиный

и человеческий; не застав, Ахиш раскинул руки и повалился навзничь. Самсон подошел ближе и ткнул его ногою.

— Можешь забрать свое серебро, бен-Перахья, — сказал он; взял под уздцы усталую лошадь и пошел по дороге на север.

* * *

Махбонай тщательно подобрал обломок ослиной челюсти и, вернувшись домой (за ним, без спору, остался теперь дом Маноя со стадами, полями и угодьями), записал это событие на козьей шкуре, но по-своему; и его рассказ, а не то, что было на самом деле, остался навеки в памяти людской.

А расчетливый бен-Перахья велел своему человеку забрать труп Ахиша и сбросить его где-нибудь на филистимской земле: тогда не за что будет придираться к Иуде — Иуда свое сделал.

Глава XXIX. ТРИ ЗЕЛЬЯ

Скоро должно было взойти солнце; а на небе от недавней грозы уже не осталось ни одного облака. Зато богатый след она оставила на земле. И холмы, и долина Сорека умылись начисто и теперь сами себе радовались, как малое дитя, когда мать уже кончила его купать и вытирать и причесывать, поцеловала и сказала: "Вот теперь ты красавец!" Когда побежали по ней первые лучи, зелень со всех сторон засверкала так задорно, что Самсону почудилось, будто она звенит. За две ночи ливня пробилаь новая трава и цветы красные, лиловые, желтые и других окрасок. Самсон старался припомнить, как назывались все эти оттенки. В бедном и сухом словаре данитов почти не было таких слов: учила им его когда-то Семадар, но это было давно. Одно он запомнил: есть зеленый камень чудного блеска, по имени изумруд; однажды Семадар пела песню, где было такое место: "виноградники наши похожи на изумруд" — "керамэну семадар..."

Самсон ехал на коне со стороны земли иевуситов. Почему в ту ночь он вдруг повернул коня к западу, на равнину, в сторону Сорека, — он и сам не знал. Он вообще не знал, даже когда держал прямо на север, куда едет: может быть, в новую землю Дана близ Лаиша, может быть, за Иордан, совсем на чужбину. Вдруг, среди ночи, его потянуло к руслу Сорека. Во все эти дни он почти ни разу не вспомнил о Далиле, а теперь его потянуло к руслу Сорека, где стоит ее шатер. Он даже забыл

рассудить, что ни шатра, ни Далилы, вероятно, там уже не будет. Больше недели прошло с их прощанья; и, должно быть, она слышала о его судьбе и вернулась домой. Он и не подумал об этом. Он ни о чем определенно не думал; он так устал, что и спать не мог; когда нужно было дать отдых коню, он сидел неподвижно часами на камне, а потом ехал дальше; но, хотя двигались его руки и ноги, голова не работала. Он только смутно чувствовал, что теперь он бродяга и нет у него нигде близкого человека, а в том шатре будет уют и радостный прием.

Но солнце и зелень подбодрили его; он пустил коня вскачь. Он опять уже был на филистимской земле; но то был округ малолюдный, часто попадались дикие заросли, встретить было некого — да и кто его тронет, когда он не связан? Скоро он обогнул последний холм и сквозь деревья увидел воду. Сухое русло наполнилось, Сорек на зиму стал речкой. Потом он увидел и шатер, и только тут сообразил, что мог бы и не застать его, и весело улыбнулся. Привязав коня, он осторожно, без шума, обогнул палатку и подошел ко входу, чтобы нагнуться над постелью и разбудить — но полотно у входа уже было отвязано, а сзади он услышал возглас и свое имя.

Он обернулся и с крутого берега увидел Далилу в речке; вода ей доходила до колен, волосы под солнцем отливали красной медью, руки были подняты ему навстречу, и, вся вытянувшись к нему, она казалась тоненькой, словно подросток.

— Я знала! — крикнула она; выбежала на берег, подхватила с земли на бегу мохнатый плащ и на бегу закуталась, и через мгновение Самсон на руках уносил ее в шатер. Она плакала и смеялась заодно, ее руки жадно бегали по его лицу, волосам, по плечам и коленям; она шептала, задыхаясь, какие-то бессвязные слова радости и нежности и повторяла:

— Я знала, что ты вернешься; не хотела уйти...

Потом, не отпуская, она стала совсем по-женски задавать вопрос за вопросом, такие вопросы, что на каждый надо было бы ответить длинным рассказом, а ответов она не дожидалась. Ее расспросы были пока только другой формой ласки, еще одним способом прижаться к нему теснее. Она была в самом деле сама не своя от счастья. Но вдруг ее голос оборвался, она отстранилась и тревожно окликнула его:

— Самсон? Что такое?..

С ним и вправду было что-то странное. Он морщил лоб, моргал глазами, медленно поводил головою, как бывало, когда старался понять трудную мысль. Какую мысль — он и сам бы не умел сказать: он был утомлен вконец, как еще ни разу в жизни; даже имя "Далила" ему трудно было бы выговорить. Но что-то ему казалось неладно; особенно только что, когда он ее увидел с берега; почему-то это было нехорошо, этого не должно было быть. В просвете вялой памяти мелькнул опять сон, который ему привиделся тогда связанному на коне, — долина, пчелы, стройный мальчик и еще что-то, самое важное, — но просвет сейчас же потух, и он только беспомощно моргал ресницами, глядя на нее.

— Ты устал, бедный мой, — сказала Далила. — Не рассказывай ничего, не надо; потом. Я тебя накормлю, и ты выспишься.

Не замечая, что с ним делают, он проглотил и выпил, что подали, дал себя разуть и обмыть ноги, лег, куда положили, закрыл глаза и не двигался. Далила села на пол у изголовья. Но не шел к нему сон. Спали мысли, спали мускулы, но сам он не спал; это было мучительно, вроде голода или той ноющей боли от тугих веревок. Долго он так пролежал; наконец открыл глаза и встретил взгляд Далилы. Опять мелькнул просвет в его памяти: что-то неладно... — и опять лень

было доискиваться, что именно. Только, несмотря на туман сознания, он заметил, что Далила под его взглядом вздрогнула, протом побледнела. На полмгновения проснулось в нем старое, особенное его чутье, обычно помогавшее ему читать мысли человека, — но и этот инстинкт, словно один из тех голубей, которым бен-Шуни отрывал у алтаря головки, только махнул крыльями и не полетел.

— Не спится... — протянул он досадливо.

Далила встала, отошла так, что ее не было видно, и оттуда сказала:

— У меня есть сонная трава: но тебя ведь зелья не берут?

Он отозвался:

— Сейчас я не я; меня и ребенок повалит. Может быть, и зелье меня сегодня возьмет.

Она пошла к столу, где расставлены были ее флаконы и баночки: взяла одну, потом другую; но глаза ее тревожно бегали, она закусил губу. Вдруг она пристально вгляделась в него, улыбнулась, подошла к нему неслышно, наклонилась, закрыла ему глаза обеими руками и шепнула:

— Самсон... Я тебе дам сонной травы, только не сразу. Раньше выпей другую.

Он молчал; она шепнула еще тише:

— Раньше такую траву, от которой ты меня будешь любить; это будет, как гроза; а потом тебе станет легко, и тогда я дам тебе сонное зелье, и снова все будет по-хорошему...

Он ничего не ответил; она побежала к столу, что-то раскупорила, что-то высыпала в чашечку, стала смешивать и растирать — остановилась, обернулась в его сторону и сказала вполголоса, сквозь дрожь подавленных слез:

— Потому что сегодня ты меня не любишь...

Он не ответил; должно быть, и не расслышал.

* * *

Самсон был прав: прошедшая неделя сломила

его, сегодня он был такой же, как другие люди, без защиты пред силой могучих и тонких настоев, которые привезла Далила из мудрого Египта. В шатре было темно: Далила завязала дверь, как будто на ночь; но и ночи такой у них еще никогда не было.

Нельзя про это рассказывать. Но в стране было предание, что когда-то сходили на землю сыновья богов и брали в жены человеческих дочерей для нечеловеческой радости. Далиле казалось, что сегодня это правда. В жилах Самсона плыла самая ясная земная кровь, беспримесный, беспорочный сок всех почв и деревьев и родников Ханаана; только у вола, у коня, у пантеры может быть такая кровь — среди людей ее не бывало и никогда больше не будет. Это принес на пир их Самсон; а Далила принесла свою любовь, похожую на жажду. Если бы можно было человеку много лет прожить в пустыне без капли воды, в каждое мгновение томясь о воде, и не умереть, а только накопить раскаленную жажду: такую жажду принесла на пир их Далила. Но ученые жрецы Мемфиса в течение долгих столетий кипятили в изогнутых склянках семена, травы, органы зверей, гадов и букашек, отбирая и сочетая острые яды плодородия: десять капель этого зелья брызнула Далила в вино для Самсона, и сама до него отпила один глоток. Оттого и нельзя, даже если бы дозволено было, рассказать этот день, как нельзя рассказать солнечный свет или бурю.

Можно было бы рассказать их слова; но они их сами не слышали: говорили, как в бреду, каждый свое.

Так убыло много времени. Солнце шло к закату, когда Далила откинула завесу над входом шатра и опять села на пол у изголовья постели. Самсон лежал и смотрел на нее; карие глаза его ушли глубоко под брови и казались черными от расширенных зрачков; но она выпила только

один глоток — ее глаза, из темно-лиловой рамки утомленных век, переливались зелеными огоньками. Солнце било наискось в ее волосы, вся голова ее была в пушистом ворохе золота, и оттуда, как из окошечка, выглядывало бледное, усталое, счастливое лицо. Она гладила его лоб и волосы; расплела ему косицы, проскользнула сквозь них пальцами к самой коже и несколько раз провела кончиками пальцев по темени. Он закрыл глаза и сказал:

— Это хорошо. Еще.

Через минуту она спросила:

— Теперь сам заснешь? Или дать тебе то другое зелье?

Он покачал головой и тронул ее руку: по прикосновению она поняла, что еще первое не развеялось и скоро снова вспыхнет. Она засмеялась от гордого счастья. Несмотря на утомление, ей хотелось плясать или бить в ладоши. На столбе висела лютня; она скрестила на полу ноги, положила лютню на колени и запела что-то задорное по-египетски, оборвала и начала другое, опять оборвала и перешла на песню, которую много пели когда-то в Филистии, но давно уже забыли:

”Я твоя, милый, когда ты со мною; когда ты уйдешь на войну — что тебе до того, чье ложе услышит мой шопот? Я верна тебе, вечно тебе.

Море в часы прилива плещет навстречу луне. Пусть, в безлунные ночи, кажется звездам, будто ради них вздымается морская грудь. Глупые звезды! Светит ли месяц, скрылся ли месяц — но прилив от него, для него и к нему”.

Самсон приподнялся, не раскрывая глаз, и протянул к ней руки; и когда она была в его руках, он, сквозь стиснутые зубы, вдруг сказал ей слова, которых еще никогда она от него не слышала, о которых даже в чадю тех часов не посмела просить:

— Голубка моя — любимая...

Ей казалось, что она задохнется, так застучало ее сердце от радости; солнце для нее померкло, весь мир исчез, только она и он остались, и между ними это страшное слово "люблю", которого никто, даже сам вечер, не должен подслушать; и, прильнув к его уху, она едва внятно переспросила:

— Любишь?

— Люблю.

— Давно ли?

— Всю жизнь.

— Отчего не сказал?

— Я говорил, ты забыла.

Он откликнулся как в бреду, без смысла, но ей казалось, что она понимает; или ничего не казалось — просто было без конца хорошо.

— А ты знаешь, сколько я по тебе тосковала?

— И я по тебе тосковал.

— Еще до той ночи — в Газе?

— Еще с того первого утра — весной — когда ты сказала: "Я боюсь" — помнишь? — в Тимнате.

Что-то резко ушибло Далилу в самое сердце. Ей стало страшно и холодно; она попыталась высвободиться и жалобно сказала:

— Пусти меня, Самсон, я хочу видеть твои глаза...

Но уже в глазах Самсона ничего нельзя было прочесть, кроме горячки от последних капель ее зелья; и глядели они как будто не видя, взором человека в горячке. Она хотела вырваться, но он притянул ее к себе и говорил, задыхаясь:

— Я тебя любил все эти годы. Только я не знал, что ты можешь вернуться. Ты не умерла? Или умерла и все-таки вернулась? Я отомстил за тебя — я сжег Тимнату дотла, я раздавил Ахтуру череп между коленями. Но я не думал, что ты вернешься. В Газе, в ту ночь, когда ты меня спасла, мне казалось, что я узнал тебя, — почему ты не назвалась, не сказала, кто ты? Но я узнал тебя; только вслух не говорил, но в душе, каждый раз,

и тогда в Газе, и в эти семь ночей в твоём шатре, и сегодня — я про себя твердил твое имя —

Еще до того, как он договорил, она пыталась высвободить руку, чтобы закрыть ему губы, не дать произнести то имя; но в тисках его рук нельзя было шевельнуться, и прямо в лицо ей, обжигая дыханием, он повторил два раза:

— Семадар...

Она закричала: "Пусти меня — я тебя ненавижу!" — но крик утонул в его поцелуе, и она не могла оторвать губ. Со стоном и хрипом последнего бешенства она укусила его; но Самсон не почувствовал. Крепкие снадобья делали жрецы в Мемфисе; пять капель считалось довольно, а она дала Самсону десять; и, должно быть, последняя капля была крепче других.

Стемнело. У входа показалась негритянка со светильней в руке. Она осторожно заглянула в шатер. Госпожа ее лежала на ковре, лицом вниз, закутав голову в скомканное платье: при неверном свете эфиопке почудилось, что шелк этого платья изодран в лоскутья. Далила подняла голову, и лицо ее тоже показалось рабыне странным. Без слов, она жестом спросила, подавать ли ужин; Далила жестом ответила: ступай прочь. Негритянка оставила светильню у двери и ушла.

Далила поднялась. Зубы ее стучали: стало холодно; она завернулась во что попало. Самсон давно лежал с закрытыми глазами, не шевелясь; на шорох ее движений он не отозвался. Она подошла к постели: он, по-видимому, спал, но дышал беспокойно и двигал губами. Она усмехнулась горько и злобно; сто недобрых мыслей хлынуло ей в голову, но для больших решений она еще недостаточно пришла в себя от той минуты пытки и позора. Ей только захотелось разбудить его и сказать — что сказать, она так и не придумала. Пусть спит. Чем крепче, тем лучше. Можно будет придумать, из ста недобрых мыслей выбрать одну;

только нужно время, и чтобы он спал. Но спит ли он? Крепко ли?

Она его окликнула, не очень громко, первыми словами, какие пришли в голову:

— Самсон! Филистимляне идут!

Он сразу рванулся на постели, сел и оглянулся вокруг.

— Я пошутила, — сказала она, — хотела проверить, уснул ли ты.

Подняв светильню, она пошла к своему столу, отобрала нужные флаконы и смешала ему сонное питье. Он сидел, бормоча, потирая то лоб, то затылок, то грудь. Каждый звук его движений хлестал по ней противно и ненавистно; ее рука задрожала от отвращения, она едва не сбилась в счете капель. Опять ровно десять. Ей подумалось: почему не больше? не двадцать? не весь флакон? От двадцати, говорят, человеку не проснуться. Но другая какая-то мысль, еще не вполне созревшая, перебила эту. Десять, больше не надо. Пусть заснет; она останется одна, в тишине, и можно будет думать: это главное.

— Пей.

Он выпил послушно, обтер губы тылом руки по-мужицки, лег и закрыл глаза. Даже вкус того, что выпил, он не сразу понял: только спустя минуту он сделал гримасу и лениво проговорил: "Горькое". Вдруг у него как-то отвалились и голова, и руки, и дыхание выровнялось, и он заснул.

Далила долго стояла у входа. Было совсем холодно: опять застучали у нее зубы. Из зарослей, позади шатра, донеслось ленивое чавканье и стук переступающих копыт о траву, и голос негритянки, ласкавшей привязанную лошадь. Далила прислушалась, сдвинув брови; оглянувшись на постель и неслышно пошла в сторону рощи.

Эфиопка была родом из нубийской пустыни, где мужчины и женщины с детства умели держаться верхом на верблюде, на муле, на чем угодно,

даже на лошади. После разговора с Далилой она тихо увела коня подальше от речки, трепля ему шею и уговаривая не топать и не ржать. Отойдя достаточно далеко, она вскочила на него без стремян и понеслась в сторону Экрона.

* * *

Далила снова сидела на ковре, не сводя глаз со спящего. Она закуталась и сгорбилась, не было видно ни лица, ни волос; со стороны можно было бы ее принять и за ребенка, и за старуху. Самсон не шевелился; он дышал во сне ровно, медленно и беззвучно. Он лежал на правом боку; волосы, которые она оставила незаплетенными, рассыпались на подушке. Одна прядь упала ему на лоб и дальше, до самых губ. Сама не замечая, по привычке, Далила протянула руку и откинула прядь; ее пальцы при этом нечаянно коснулись щеки Самсона — она вся сжалась от испуга, но он не проснулся, даже не двинулся. Близко где-то вдруг хором заплакали шакалы; потом что-то живое грузно бухнулось в воду; Самсон спал.

Осмелев, она поднялась оправить светильню. Свет упал на Самсона с другой стороны; его лицо показалось ей таким прекрасным, что сердце ее на мгновение остановилось и глазам стало горько от слез. Ей хотелось броситься к нему, не то целовать, не то душить. Не от любви, не от ненависти: все в ней теперь отупело, и чувства, и воображение, только работала четкая, упругая, быстрая мысль. План у нее был, но не картина: она послала нубийку в Экрон, знала, что произойдет, но еще не представляла себе, как это получится и на что будет похоже. Почему-то ей захотелось опять окликнуть его — не то снова проверить, крепок ли сон, не то испытать судьбу или саму себя подразнить страхом. Она повторила несколько раз, все громче и громче, тот же оклик: "Филистимляне

идут, Самсон!" Самсон не слышал. Она совсем уже громко рассмеялась. Задор охватил ее: она ударила сразу по всем струнам лютни, топнула ногою, толкнула стол с зазвеневшими склянками и баночками, провела всей ладонью по лицу Самсона — он не двинулся, не перевел дыхания. Ей стало смешно и весело, захотелось дурачиться: она присела за изголовьем и заплела одну из его косиц, посмотрела на свою работу, надула губы, опять расплела. Вдруг она изменилась в лице, бросила прядь, отодвинулась, сжалась и забилась в угол. Жуткое чувство охватило ее: что все это уже было когда-то. Спящий великан, который не слышит прикосновений; женская фигура у его постели; ночь. Вот-вот он проснется — и проговорит то же имя, с которым уснул, самое ненавистное имя на свете, — и толкнет ее пяткой в лицо?.. Она быстро нагнула голову и заслонила ее руками; опомнилась, вскочила, укусила свою руку до боли и сказала, задыхаясь и стуча зубами:

— На этот раз не ударишь.

Только тут она заметила, что ей холодно. Платок, в который она прежде завернулась, давно соскользнул. Надо одеться по-настоящему: к рассвету приедут гости. Она пошла за перегородку шатра, где на длинном толстом шнуре висели ее платья, ощупью выбрала и вернулась к свету одеваться. Теперь она была совершенно спокойна. Поглядевшись в зеркало, распустила и причесала волосы, вытерла лицо и шею сначала мазью, потом насухо; провела рукой осторожно под мышками — гладко ли, не нужно ли провести бритвой или раскупорить баночку ароматного щелока, лучше лучшей бритвы: но оказалось не нужно. Потом она оделась, внимательно проделывая все подробности, завязывая, застегивая. Это был один из ее нарядов египетского покроя. К нему полагался "кафтор": она открыла шкатулку и достала оттуда, из вороха цепочек и ожерелий, аметистовый овал в

форме жука; и ей вспомнилась беседа с Самсоном об этом украшении, о золотых кольцах в носу у невольника, о дворянах из земли Вениамина, которым он обрил когда-то бороды, и о том, почему важнее человеку ненужное, чем нужное.

В светильне перегорел какой-то комок, мешавший фитилю разгореться, и пламя вдруг вспыхнуло ярче; оно как будто осветило пред Далилой ее собственные думы. Только теперь она их поняла — отдала себе отчет, почему отлила в сонную чашу только десять капель, а не двадцать и не сто. Убить можно в отплату за боль; но за срам — смерть не расплата. Жить весь век, сколько себя помнишь, одним и тем же голодом; с первого утра ненавидеть одно и то же существо, заслонившее тебе дорогу; пронести свою мечту сквозь семь костров пекла, называемого жизнью, под надругательством пьяных туземцев в ночь пожара, под плетью работорговца, в грязи дешевых египетских притонов, в гареме гнилого старика, покрытого чесоткой, — через это все, и даже через тупо-сытое однообразно-пьяное веселое житье богатой блудницы пронести мечту об одном облике, одном голосе; найти его, взять его, пить его близость — и вдруг узнать, что ты для него не ты, что твои волосы, глаза, песня и ласка милы ему только через память о другой — о той же самой другой, которая отняла его у тебя с первого утра... За это нельзя просто убить: срам останется неутоленным, зеркало и птицы и ветер будут над ней издеваться. Одна расплата за срам: срамом.

Ее движения были теперь неторопливые, точные и бесшумные. Она аккуратно расставила у изголовья свои баночки, положила на ковер подушки, уселась на них так, чтобы ей было удобно работать; обмакнула губку в теплую жирную воду, провела ею по волосам спящего, опять и опять, с каждым разом смелее и крепче выжимая ароматную пену. Потом опустила кончики пальцев

в одну и другую из банок, растерла пахучую смесь и осторожно вползла пальцами обеих рук в скользкую гриву. Ее пальцы двигались медленно, как гусеницы, подбираясь к коже темени, висков и затылка; добрались, прильнули, нежно и ровно защекотали, вперед и назад, вправо и влево. Со стороны это было похоже на ласку; самой Далиле минутами казалось, что у нее заснул усталый ребенок и она его гладит по головке, — ей хотелось запеть над ним колыбельную песню; может быть, она и запела ее вполголоса. Но Самсон ничего не слышал.

...Кончив, она так же аккуратно собрала все пряди в сноп, выровняла, уложила в корзиночку; принесла светильню и долго смотрела на лоснящийся череп. Ей даже не пришло в голову, что Самсон теперь сам на себя не похож; она смотрела не на Самсона, а на череп, как рабочий, который выложил ряд кирпичей и проверяет, ровно ли выложил, а про то, какой получится из этого дом, он и не думает. Зато она решила, что теперь надо смыть с черепа мазь и мыло, а то некрасиво: достала другую губку и полотенца, смыла Самсону темя, лоб, виски; хотела омыть и затылок, но нашла это невозможным и озабоченно прошептала: "Жаль". Вдруг издалека донесся до нее топот; и, оглянувшись, она увидела, что светает. С той же методичностью хорошей бережливой хозяйки она прикрыла колпачком светильню; в шатре стало темно; и как прежде вспышка фитиля, так теперь вспышка темноты вдруг толкнула и разбудила ее мысли, и они смерчем закружились у нее в голове.

Далила на цыпочках выбежала из шатра. Полнеба уже посерело; со стороны моря, которого оттуда не видно, подымался предрассветный перламутр. Топот стих; отряд, должно быть, спешился, чтобы не шуметь. Скоро она услышала смутный отголосок шагов; потом на пригорке, среди низкой заросли, показался человек. Он ее

не мог видеть, но сам он ясно очертился на заревой стороне неба, и каска его тускло блестела. По жестам видно было, что он рассылает солдат направо и налево, чтобы оцепить место со всех сторон. Небо с того краю быстро розовело. На пригорке показался отряд, человек двадцать и больше; у них были копья. Потом, ближе к реке, выступила на алом небе другая группа: у этих не было копий, но по негромкой команде офицера они подняли кверху тонкие длинные шесты, держа их над головами горизонтально; по второй команде перечеркнули их наперерез другими палками, еще тоньше, и отвесными; по третьей команде горизонтальные шесты изогнулись дугою и превратились в натянутые луки со стрелами наготове, и опустились книзу. Тогда сотник обернулся к шатру, увидел Далилу, махнул ей приветственно рукою и знаком спросил, указывая на шатер: "Там? Спит?"

Далила кивнула головою; хотела было пойти навстречу, но ноги не тронулись с места. Опять охватил ее озноб и застучали зубы. Солдаты медленно подвигались вперед, одни с пиками наперевес, другие с луками пред собою. Офицер шел впереди, подняв рукоятку меча вровень с головою. Он смотрел куда-то через голову Далилы, вытягивая шею: увидел, кого ждал, и замахал им мечом. Далила обернулась: с той стороны тоже шли солдаты. Ей стало страшно, как будто она сама попала в ловушку; и особенно страшными показались ей два солдата без копий и луков — они тащили на ремнях какие-то бревна. Еще через мгновение она узнала эти бревна: видела такие на торговых площадях и в Египте, и в Филистии. Это были колодки для рук и ног, для рук Самсона и для ног Самсона...

Далила пошатнулась, схватилась за голову, закричала что-то непонятное. Офицер встревоженно погрозил ей пальцем и негромко,

но внятно сказал — или ей так показалось (между ними еще было шагов тридцать): "Разбудишь".

Она бросилась в шатер. Не отдавая себе ни в чем отчета, с головы до ног дрожа, она схватила спящего за плечи, изо всей силы тряхнула их, застучала кулаками по его груди, по лицу, по голове. Он перевел дыхание, забормотал, но не проснулся. Она нагнулась к его уху и, что было голоса, завопила:

— Самсон, это филистимляне!

Крик ее донесся далеко во все стороны: снаружи слышалось громкое ругательство сотника, торопливый топот бегущих к шатру солдат. В полумраке палатки она видела, что Самсон мотнул головою; он опять что-то проговорил, двинул рукою — но не проснулся.

Шаги офицера слышались у самого порога. Далила бросилась ему навстречу, заслоняя вход. Он грубо выругался, схватил ее за плечо и отшвырнул назад. Она упала у изголовья постели; все помутилось у нее в голове, силы не было больше кричать; но еще одна отчаянная, нестерпимая мысль пролетела в ее сознании — и, ударив себя обоими кулаками в виски, она простонала:

— Самсон, они меня режут — меня — Семадар!

Что-то тяжело рванулось на постели над ее головой. Самсон лежал, но его ровное дыхание оборвалось. Глаза Далилы, привыкшие к темноте, увидели, как поднялись его веки — и сейчас же зажмурились. Сотник стоял уже внутри шатра и вглядывался. Самсон не шевелился.

— Если ты еще раз откроешь рот, гадина, — прошептал сотник, наклоняясь над Далилой, — я тебя приколю.

Она молчала и смотрела на него, он на Самсона. Самсон опять дышал ровно, как спящий. Офицер повернулся к выходу, уже протянул вперед руку, чтобы жестом позвать солдат, — в это мгновение Самсон, почти не шевелясь, вытащил из-под

затылка подушку и сзади швырнул ее сотнику в голову. Сотник пошатнулся, взмахнул руками; прежде, чем он успел упасть ничком, уже Самсон зажал ему руки за спиною в левой руке, а правой закрыл ему рот.

Далила поднялась на колени и, опираясь обеими руками о ковер, подняла к нему лицо.

— Это не я, — сказала она, плача, — это моя негритянка поскакала за ними...

Он спросил без выражения, как человек, еще не совсем проснувшийся и действующий только инстинктом:

— Много их?

— Много...

— У них луки?

— Да...

Самсон поднял офицера с полу и, держа его перед собою, как щит, выступил за порог шатра. Там стояли солдаты сплошным полукругом; все копья наперевес, все луки наготове. Два полусотника поместились с обеих сторон входа; у обоих, при виде Самсона с его живым нагрудником, вырвалось одно и то же проклятие.

Самсон держал их начальника на весу одной рукою, другая все еще прикрывала ему рот. Он слегка свернул голову офицера вправо и сказал громко, но спокойно, щуя глаза — потому что прямо против него над зарослями показался край солнца:

— Положите на землю копья и луки, а сами отойдите на полстрелы назад; иначе я у вас на глазах ему сломаю шею.

Офицер барахтался и что-то мычал — вероятно, пытался крикнуть солдатам, чтобы они его не жалели и делали дело. Полусотники, в нерешительности, переглянулись между собою, потом оба разом ступили было к Самсону — он двинул рукою, зажимавшей лицо офицера, и тот протяжно застонал. Полусотники отступили назад,

растерянно глядя на Самсона. Самсон засмеялся и обвел прищуренным взглядом весь полукруг. Солдаты смотрели прямо на него; но ему надо было разглядеть выражение лиц, чтобы рассчитать момент, когда можно будет броситься напролом к зарослям, — а солнце почему-то сегодня мешало ему видеть. Никогда ему солнце так не мешало — всегда косматый чуб помогал. Он тряхнул головою, но еще прежде, чем это сделал, ощутил какую-то странную легкость и прохладу на темени. И еще прежде, чем он успел изумиться, почему не падает ему на глаза тяжелый чуб, левый из полусотников, старый приятель его по ста попойкам, расхохотался и закричал:

— Вот за что ты убил Ахиша — обрил тебя Бритва!

Из полукруга солдат тоже послышался подавленный смех. Самсон мотал головою, как всегда делал, когда силился что-то понять; и каждый поворот головы подтверждал то же странное жуткое ощущение. Пальцы его, сжимавшие обе скулы офицера, сами собою разжались; он поднял руку к темени, поперхнулся и пробормотал, как-то совсем по-домашнему, словно обращаясь к друзьям:

— Что это такое?

Ему ответил дружный хохот всего отряда. Солдаты сразу, еще раньше полусотников, заметили, что он лыс, как кочевник из Синайской пустыни, и через силу удерживались от смеха; теперь, видя, что и начальники взялись за бока, они дали себе волю, тыкали пальцами, махали копьями, приседали и наперебой выкрикивали какие-то остроты. Теперь было время кинуться на них, прорваться и бежать; но Самсон не двигался, только голова его дрожала мелким трепетом и хлопали глаза. Офицер что-то кричал солдатам; вдруг он, по-видимому, почувствовал, что и на руках его ослабли тиски; почти без усилия он

вырвался, отскочил вперед, обернулся на Самсона, раскрыл глаза, разинул рот и тоже расхохотался:

— Как мать родила, — закричал он, — голый, босый и лысый!

Далила подползла к Самсону, тронула его колено и жалобно сказала:

— Это не я, это...

Ей больше ничего не пришло в голову. Самсон не оглянулся на нее, только поднял ногу и босой пяткой ткнул ее в лицо; потом поднял обе руки и прикрыл ими глаза и голову, как ребенок, ожидающий пощечины. Хохот утих; в воздухе засвистел аркан и обвился вокруг его колен: его рвануло вперед, он зашатался, едва не упал, но не двинул руками и только еще ниже наклонил голову. Еще через мгновение он лежал на земле под грудой солдатских тел и не защищался.

Глава XXX. В ЯМЕ

— Это не просто, — ответил саран Газы своим вельможам на совещании после того, как трое из них произнесли горячие кровожадные речи.

Совещание носило городской характер. Из остальных четырех саранов трое сообщили, что не видят надобности в съезде. "На каком дереве повесить пойманного разбойника — сами можете решить". Только саран Экрона обещал прибыть, но от него накануне пришло известие, что расследование по делу о побеге Самсона и смерти Ахиша приняло новый оборот, очень любопытный, и теперь нельзя отлучиться.

— Врет, — сказал один из начальников Газы, когда пришла эта весть. — Вероятно, привезли ему новую певчую птицу заморскую, и сидит он у клетки и слушает.

У сарана экронского была, действительно, репутация великого любителя соловьев.

Газа, однако, была в сильном возбуждении, и вельможи настояли на том, чтобы совещания о казни Самсона дальше не откладывать. Но на всех мстительные речи старый саран качал головой и упрямо повторял:

— Это все не так просто.

Он был человек образованный и вдумчивый. Знал языки египетский, греческий и арамейский, вел переписку с учеными и правителями других стран; кроме того, хорошо знал и старинное островное наречие филистимлян, так как сарану полагалось на больших праздниках выступать в

должности главного жреца и говорить с богами Кафтора на любимом их языке. Население уважало его и охотнее, чем к саранам остальных четырех городов, применяло к нему титул местного происхождения — "авимелех", то есть старшина царей. Но у него бывали странности, и одну из них он проявил на этот раз, отказавшись назначить срок для казни.

Совещание затянулось до полудня.

— Подождите, — сказал саран наконец, — через три дня соберемся опять, и тогда я решу.

* * *

Хотя взяли Самсона экронцы, но, по приказу тамошнего начальства, они отвезли его, вместе с колодками, прямо в Газу.

Экронский саран был человек рассудительный и считал, что украденные ворота — гораздо больший ущерб, чем смерть его беспутного племянника; поэтому удовольствие расправы надо предоставить Газе. В Газе пленника, не снимая колодок, опустили в глубокую каменную яму с маленьким окошком наверху. В первую же ночь он разбил колодки о стену, что сейчас разнеслось по всей Газе и передавалось из уст в уста с удовлетворением; ибо Газа так и ожидала, что Самсон еще не раз успеет ее удивить, даже когда сдерут с него кожу. Но вылезть из ямы по гладкой стене даже он не мог.

Еду и питье спускали к нему через окошечко, и в изобилии — так было приказано; и ел он много. Но голоса его никто не слышал; впрочем, никто с ним и не пробовал заговаривать через окошко, вокруг которого стояла всегда стража.

На закате того дня, когда во дворце состоялось совещание, сотник сунул голову в окошко и сказал:

— Саран хочет говорить с тобой, но не хочет видеть на тебе ни цепей, ни колодок. Обещаешь

ли ты спокойно пойти, спокойно держать себя и спокойно вернуться сюда?

— Кому я нужен, тот пускай сам придет.

Через час сотник опять просунул голову:

— Если саран придет к тебе, обещаешь ли ты не сделать ему вреда? Саран велел передать тебе так: если Таиш даст слово, я поверю.

Самсон молчал.

Сотник прибавил:

— И еще он велел передать тебе: приду один, когда совсем стемнеет, и без факела.

Самсон думал именно об этом и оттого молчал: засветло ли придет саран смотреть на его лысую голову? Вдумчивый и тонкий человек был старый владыка Газы.

— Обещаю, — сказал Самсон.

* * *

Полночи просидели они оба в черной темноте, Самсон на полу, саран на каменном выступе. Страже велено было не подслушивать, и никто не слышал их беседы.

— Ты наш, — сказал ему саран. — Я знаю все, что произошло на собрании старшин ваших в Цоре. Ты не гневайся, что я об этом говорю: я человек старый. И наши обычаи не ваши: нет во всем этом деле — если так оно и было — позора ни для женщины, ни для ее сына. Но не в крови суть человека, а в душе. Ты наш; в преданиях Крита и Трои говорится о богатырях, которые были похожи на тебя как братья; но никогда не бывало таких людей в роду твоей матери, ни у других колен ее племени. Ты им чужой; может быть, наполовину чужой по крови, но совсем чужой сердцем и обычаем.

Самсон долго молчал, потом спросил:

— Для чего ты говоришь об этом?

— Иди к нам, Таиш, — ответил саран. — Ты

будешь у нас полководцем над полководцами. Ты создашь для нас — для народа твоей души — великое царство ханаанское. Дор будет наш, и Сидон будет платить нам дань на севере; Амалек на юге станет нашим уделом до самой границы Египта.

Самсон беззвучно усмехнулся, и саран это угадал, несмотря на мрак.

— Я знаю твой ответ. Ты хочешь спросить: а на востоке? Да, и на востоке должны мы создать единство, порядок, власть и суд. Один Ханаан, от Газы — до Рамота, что в Галааде за Иорданом. Но не торопись отвечать; выслушай до конца. Я тебя знаю. Свой или чужой, ты служил Дану: свой или чужой, ты никогда не согласишься стать разрушителем Дана, ни остальных колен. И не это я тебе предлагаю.

Даже в темноте саран увидел светящиеся глаза, устремленные в его сторону, и догадался об их выражении гнева и насмешки.

— Понимаю, — сказал Самсон. — Я покорю для вас юг и север: вы наберете оттуда новые тысячи войска и пойдете жечь и грабить Дана, Ефрема и Иуду — только без меня.

Саран покачал головою.

— Нет, ты не понял. Мы пойдем на Дана и Ефрема, и на Иуду, и впереди войска пойдешь ты сам; но не жечь и не грабить, а строить. Строить так, как строится от века все великое на свете: силою меча. Скажи, Таиш: вот уже много лет, как ты правишь коленом Дана. Но разве был ты начальником Иуды, судьей для Вениамина? И разве не гневалась твоя душа на этот разброд и раздор между потомками одного праотца? Я говорю с тобой впервые; молодежи нашей, с которой ты пировал, ты тоже говорил только свои прибаутки, а не замыслы; но я твои замыслы знаю, потому что вожди, рожденные вождями, понимают друг друга без слов. Разве не живет в твоём сердце

мысль о едином порядке надо всеми коленами, до самых далеких, за Иорданом, под Хермоном, — где сегодня, быть может, и имя твое неведомо?

Самсон не ответил, но сарану и не нужен был словесный ответ.

— Никогда, ни в одной стране, ни в одном племени, — продолжал он, — не создавался единый порядок по доброй воле старшин на сходке у ворот. Мечом строятся большие царства; чаще всего мечом иноземца. В старину, когда мы еще владели островами на море, много таких царств, больших и малых, создали наши полководцы. Налетали в лодках на берег, где жило племя, не знавшее чина и суда; и, покорив, давали ему власть и порядок и гордость. По сей день, на всех языках Моря, зовут таких завоевателей нашим княжеским званием — саранами, хотя произносят по-разному. Это пришел я предложить и тебе. Судье не создать царства: царства создают покорители. Покори с нами колена, чью кровь передала тебе твоя мать; железным молотом скуй из них один прочный слиток; создай из них народ, научи его всему, чему ты сам научился у нас — строю, мере, нравам, — и, может быть, настанет день, когда будет не пять, а шесть саранов в Великой Филистии, и шестым будешь ты.

Самсон не спускал горящих глаз с того места в темноте, откуда доносились эти слова. До сих пор он откликался небрежно и раздраженно; теперь его голос прозвучал иначе — голос вождя, беседующего с вождем.

— Ты умеешь говорить, старшина царей, — сказал он. — Умеешь ли ты молчать, когда другой думает?

— Умею. Обдумай, — ответил старик.

Так они просидели в молчании долгое время; потом саран опять увидел против себя две светящиеся точки.

— Знаешь ли ты Филистию, господин? — спросил пленник.

Саран ответил:

— Ни один человек не знает своего лица. Он может знать только отражение в зеркале; если он крив на правый глаз, в зеркале это левый. Что ты знаешь о Филистии?

— Знаю певучую речь, нарядные одежды, учтивый обычай. Знаю и то, что важнее: есть у вас правила для всех дел жизни, от главного до нестоящего дела; чинный порядок на войне, на молитве, в городе. И знаю то, что еще важнее: сытое сердце. Бывает сердце голодное: оно всегда настороже, оно забрасывает сети и высматривает добычу. И бывает сердце сытое, которое зевает перед сном и ни о чем больше не тоскует.

Теперь саран молчал; а его глаз Самсону не было видно — они вообще не блестели, а теперь старик еще прикрыл их опущенными веками.

— Судья, городской начальник, сотник, — говорил Самсон, — я всегда на них у вас любовался, так они ловко и точно проделывают обряд своей должности; но потом они приходят в дом блудницы и смеются над этим обрядом. По праздникам они все надевают платья древнего образца, сидят во храме неподвижно и бесшумно. Но потом, за чашей, они говорят про то, что праздничная одежда женщин, с голой грудью, много приятнее будничной, и спорят, у кого круглее грудь, у Харситы или Агуэы; а Дагона, которому утром молились, называют помесью осла и селедки, и Вельзевула — если это в Экроне — царем блох.

— В деле, не в забаве познается корень человека, — строго сказал саран.

— В деле познается, что за человек он сегодня, — ответил Самсон, — но только за чашей открывает он тебе, каким он будет завтра; сам, или его внук. Дело? Делают они все, что нужно; так, как нужно. Но надо всем, что делают, трунят; и

корень, о котором ты говоришь, давно изъела эта насмешка. Строй вашей жизни подобен лучшей ткани, пригнана каждая нитка к нитке; но ткали ее ваши деды и их давно уже нет; вы ее храните и носите по привычке, без ревности — никто не порвет; но, если порвется, никто не починит... Корень? Все я видел у вас в этой земле, а корня не видел. Пьете вы вкусно, красиво преломляете свой хлеб; но ваши земледельцы, рыбаки, пастухи все остались там, на островах, а здесь вы — как масло над водой, как мох на стене...

— Но нас ты любишь, — сказал саран.

— Вас я люблю, — подтвердил Самсон. — Дана зато не люблю, его родичей ненавижу. Там все по-иному. Когда приходит человеку возраст сидеть у ворот на сходе старейшин, невыносим в своем доме становится тот человек: за месяц до схода и месяц потом говорит только о городской заботе и волчьими глазами глядит на соседа, старого друга, который рассудил по-иному, не по его суждению. Там левит — пройдоха с масляным языком; разбуди его со сна — он тут же сочинит молитву новому богу, о котором никогда не слыхал; но если ты посмеешься над этой же молитвой, он огорчится и отвернется. Жизнь их — как песок, вся из мелочей, но за каждую мелочь они готовы ссориться, радоваться безмерно, убиваться безгранично. У вас есть порядок даже в пашне туземца; он, под вашим надзором, тоже проводит ровные полосы. У Дана нет надзирателя, пашет он сам, суетливо, бестолково; завидует и соседу, и туземцу, всегда кого-то хочет опередить на всех дорогах, — и оттого повсюду заброшены его сети, повсюду засеяно его зерно. Чина и правила там нет: есть мешанина городов, божниц, мыслей; земледелец ненавидит пастуха, Вениамин Иуду, пророки — всех. Но над этим есть одно единое для всех: голодное сердце. Жадность ко всем вещам, виданным и невиданным. В каждой душе мятеж

против того, что есть, и возглас: еще! еще!

— Сброд, — брезгливо отозвался саран, — объединит его только палка. Это я тебе и предлагаю.

Самсон засмеялся:

— Зачем это вам, саран? Чтобы они вас еще скорее проглотили? Все равно проглотят.

Саран отшатнулся; но он был человек сдержанный. Не поддаваясь раздражению, он спросил:

— Неужели ты в это веришь?

Он при этом поднял веки и снова увидел глаза Самсона: они как будто вонзились ему теперь глубоко в самый мозг. Самсон ответил:

— Вожди, рожденные вождями, понимают друг друга: неужели *ты* в это не веришь?

Теперь в голосе сарана проскользнуло нетерпение. Он сказал:

— Вот во что я верю: когда человек любит одно племя, а другое ненавидит, и в первом у него друзья, а во втором — предатели, то место его — среди своих и против чужих.

— "Любит", "не любит", — ответил Самсон презрительно, — мудрый ты человек, а со мной говоришь языком женщин. Разве по любви распознается свое и чужое? Разве ты любишь должность сарана, любишь считать налоги и судить воров? Я много слышал о тебе: любишь ты свитки из папируса, звезды в небе и рассказы мореходов. А ты все-таки саран.

— Мой отец был сараном, и все деды, — напомнил ему голос из темноты.

В ответе Самсона уже послышался гнев:

— Твой намек я понимаю. Оставь это. Если бы и правдой было то, что дошло до тебя со сходки в Цоре, — что в этом? Пусть один из двух предков моих играл на лютне и носил пеструю шапку. Но второй муравьем прополз через рабство, через пустыню; муравьем прорыл ходы в сухой

земле этого проклятого края; и все, что встречал, обглодал и проглотил. Может быть, и встретились они лицом к лицу в час моего зачатия; но, если и так, то и во мне давно обглодал муравей твою пеструю шапку. Ваша кровь — кубок вина; та кровь — чаша яду; если смешались они — что осталось от вина? Я не ваш. Зови меня на свои попойки, филистимлянин, — я приду и позабавлю тебя... даже если попойка будет вокруг моей плахи. Пить и шутить с вами я люблю. Но строить? Ты сказал "строить"? С вами? Из вас? Я в вас не верю.

Саран вздохнул, поднялся, пошел прямо на блеск самсоновых глаз и положил ему руку на плечо.

— Юноша, — заговорил он совсем по-другому, голосом, от которого Самсон сразу притих, — я не хотел упоминать о плахе, но ты сам о ней заговорил. Пойми хоть это: я не хочу плахи. Для меня ты — как конь чистой породы, как статуя, сделанная большим искусником; как один из героев, которых когда-то рожали наши женщины от поцелуя богов. Я хочу тебя спасти. Я трижды старше тебя, я все знаю; но я хочу тебя спасти.

Под его рукой огромное плечо дрогнуло. Самсон осторожно взял эту тонкую, хрупкую руку и долго держал ее, не отвечая. Потом он вдруг поднес ее к губам и поцеловал.

— Иди с миром, добрый человек, — сказал он. — Пропадать коню, так пропадать; но это конь — не гиена.

* * *

На третье утро опять собрались вельможи во дворце у сарана. Прибыл и экронский саран и рассказал им подробно о следствии. Сначала он думал, что Самсона в пути плохо связали и плохо стерегли и виноваты офицеры. Но офицеры все единогласно присягнули, что Ахиш сам велел посадить пленника на лучшую лошадь в отряде и не

стягивать ремней под брюхом коня; и что сам, как только понесла его лошадь, он два раза свистнул коню Самсона по-своему, тем свистом, который хорошо знали все его приятели. Выяснилось также, что во время стоянки близ Адораима он вел какие-то тайные переговоры с людьми из Иуды, людьми вида хитрого — и зажиточного. Также выяснилось, что Ахиш недавно проигрался дотла.

— Словом, измена, — закончил саран Экрона свой доклад. — Стыдно мне, что это был мой племянник; но дрянной был он человек, и давно все это знали.

Советники переглянулись.

— Странно, — сказал один, глядя в землю, — странно, что именно ему было поручено такое важное дело.

— А кого я мог послать? — спросил саран, разводя руками. — Все старшие офицеры просили их освободить. Все говорили так: брать Самсона силой, хоть и трудно, мы бы охотно пошли; но ведь вы, сараны, решили иначе — получить его связанным, словно тюк шерсти в счет подати; это работа не для нас. Один Ахиш согласился, и еще с радостью — собака!

И хотя слова его были гневные, но он очень весело рассмеялся. Он был человек живого нрава, охотник поест, сам большой игрок, и ничего близко не принимал к сердцу.

— А что вы решили сделать с Таишем? — спросил он.

Все обернулись к сарану Газы. Старик беспокойно заерзал в своем кресле, замялся, закашлялся; но все же ответил твердо:

— Мое решение постановлено: пусть сидит в тюрьме, а казнить его не позволю.

Вельможи развели руками.

— Старшина царей, — сказал один из них, — дозволю представить доводы о том, как опасно держать такого пленника в тюрьме. Человек он

необычайный, преград для него нет; если вырвется даже из каменной темницы, никто не изумится. И где порука, что колено его не подошлет в Газу таких же проныр, как те, что подкупили Ахиша? Игроки, по горло в долгах, найдутся и среди наших офицеров. Хуже всего то, что половина сотников у нас — его друзья. Теперь они сердиты на Таиша, помнят еще о том, как он осрамил нас и обесчестил городскую стену. Но через несколько месяцев досада забудется. Такой уж мы народ: мало думаем о том, что было, и о том, что будет. Солдаты хорошие, но сторожа плохие.

Старый саран, которому эти слова еще живее напомнили беседу в тюремной яме, нетерпеливо и упрямо замахал на говорящего рукою.

— Ты меня не учи, — сказал он раздраженно. — Не позволю казнить, и кончено. Нельзя рубить голову такому человеку, все равно как нельзя сжечь свиток, исписанный стихами, или разбить серебряный кубок критской работы. Для зловонного туземца это дело, — не для народа, чьи прадеды еще рождены были во дворцах. Таких людей, как он, редко посылают на землю боги. Ахтур, защитник Трои, был из той самой породы; грек, убивший его, привязал его тело к колеснице и волок его за ноги по полю — но на то и был он грек, сын безродного и необразованного племени разбойников. Разве мы греки?

Вельможи переглянулись и опустили головы. Они знали: начал их саран поминать старые сказания — спорить с ним дальше бесполезно.

— Я вас помирю, — вмешался гость из Экрона. — Твои советники правы, отец и брат мой: держать такую птицу в клетке — все равно, что разложить костер на гумне в день умолада. Но я вас помирю. Я ведь уже давно вожусь с птицами в клетках. Есть у меня на службе раб из холодного заморского края, большой искусник в обхождении с соловьями. Он им осторожно выкалывает глаза: тогда они

лучше поют, а улететь не могут. Прав и саран ваш, господа вельможи: пристойно ли вам собрать на площади сволочь нашу и туземную и драть кожу с человека, с которым вы сто раз сидели за столом? Да и я, признаться, благодарен ему за то, как он расплатился с моим вороватым племянником: странное, конечно, спасибо за помощь в побеге из плена, но это его дело, не наше. Словом, поступите с Таишем, как с соловьем: тогда он безопасен, малое дитя с ним справится; а он погорюет несколько дней — и примирится, и станет опять любимым шутом Филистии. Я этих дикарей знаю: подвесь его хоть вверх ногами — он через час привыкнет.

— А Железные ворота? — спросил один из собрания, человек мстительного нрава.

— Что такое ворота? — ответил саран экронский.
— Ворота в стене — что глаз во лбу. Око за око: это, кажется, их собственная поговорка. И прекрасно

* * *

Так они и сделали. В темную ночь разбудили Самсона окриком сверху и спустили к нему в яму толстую плетеную веревку: вылезай. Он полез, хватаясь обеими руками за кожаные узлы. А вверху, по обе стороны окна, стояли два солдата с прутами из раскаленного железа и ждали, чтобы в окне показалась его голова...

Глава XXXI. СРЕДИ ДРУЗЕЙ

Слепой Таиш жил в туземном предместье Газы. Ему дали было знать, что он может поселиться в пристройке саранова дворца и что дадут ему мальчика-поводыря и молодую рабыню; но он ничего не ответил и ушел в предместье, опираясь на плечо водоноса.

Это все не сразу случилось. Когда Самсону выкололи глаза горячими прутьями, он взвыл от боли, но не сорвался с каната, а схватился рукой за подоконник, протиснулся наружу и, рыча, бросился неведомо на кого. Но все разбежались; только один солдат, как раз ни в чем не повинный, споткнулся и упал. Самсон услышал, навалился, выломал ему руки и свернул голову, как птице на кухне. Потом он остался на опустелом темном дворе, мотая головой и бормоча. Он не сразу понял, что с ним проделали; или, может быть, уже знал, что теперь он слепой, но не это владело им, а гнев за то, что с ним посмели сыграть такую шутку. От времени до времени он выкрикивал грязные ругательства, окликая сотников по именам и вызывая их всех разом на бой. Ему не отвечали: так было приказано — не дразнить пленника и не подходить к нему, пока не успокоится.

Солнце жгло; он пошел куда попало, протянув вперед руки, добрался до тени от стены, сел под стеною и заснул. Когда проснулся, ему издали крикнули, что рядом стоит тарелка варева и кувшин вина. Он съел и выпил все до конца и задумался.

Так продолжалось долго, несколько дней по

счету людей, для которых день — день и ночь — ночь. После этого он ушел в предместье.

Там сбежались туземцы и стали ссориться — кому его приютить. Каждый выхвалял свою хату. Самсон не вмешивался. В конце концов одна старуха решила спор, сказав:

— Жить господин должен у Анкора-плотника. Никому его не уступит Анкор — сами знаете.

И все, притихнув, сразу согласились, что честь эта по праву принадлежит Анкору-плотнику; хотя Самсон, если бы его спросили, не мог бы ответить, почему. Он знал Анкора, как знал почти каждого из них, — должно быть, и прятался не раз в его хижине, как и в других лачугах туземцев. Но они его не спросили и порешили в пользу Анкора-плотника. И плотник и его семья ходили за Самсоном с жалостью и благоговением.

Он не горевал. Один раз в жизни испытал он настоящее горе, настоящий голод о чем-то страшно дорогое и страшно невозвратимое: он любил женщину, ее убили, и он долго тосковал по ней в пустыне. Но тогда он был очень молод. Теперь он ни по чем не голодал и не тосковал. Очень было неудобно без света; но Самсон давно не дорожил всем тем, что может увидеть человек, и не скучал ни по облику вещей, ни по облику людей. Давило его только унижение, целый ряд унижений: то, что его за деньги выкупили у Ахиша; то, что на глазах у него убили Нехуштана и он не мог заступиться; то, что ему обрили голову и до сих пор она лысая, только начинает щетиниться; также, между прочим, и то, что ему выкололи глаза. Только постепенно он сообразил, что последняя обида — самая важная, что жизнь его кончена, даже если бы он еще хотел жить; но это он сообразил только рассудком, словно выкладку делового расчета, — к его самочувствию это ничего не прибавило. Видно, он уже раньше внутренне покончил с жизнью: еще тогда, когда, разбив череп Ахишу, поехал, куда

глаза глядят, прочь и от Дана, и от Филистии. Когда-то ему рассказывал путник, побывавший на Хермоне, как его там захватила в горах холодная буря: снег валился со всех сторон, руки и ноги онемели, человек сел под камнем и скорчился и перестал заботиться о том, что есть и что будет: еще один палец отмерз, ушей как будто не стало — но не все ли равно? Самсон замерз еще в ту ночь после сходки в Цоре.

О Далиле он по-настоящему и не вспомнил ни разу. Он, вероятно, уже знал, кто она была и за что мстила ему; но, может быть, именно поэтому никогда о ней не думал. Совсем как тогда, в молодости, в Тимнате и в доме Бергама, где вертелась у него пред глазами ревнивая девчонка, дочь аввейской кухарки, и он привык не замечать ее, как она ни навязывалась, и даже забыл расспросить, что с нею стало во время пожара, — так и теперь она для него была вроде докучливой осы: надо было ее прогнать или убить, но вспоминать о ней, даже если укусила, не станет человек. А по ночам к нему приходили дочери туземцев: иногда он их отсылал, иногда оставлял, и был равнодушно сыт.

Постепенно прошла и острая боль унижения, особенно по мере того, как подымались у него на темени новые волосы, уже не колючая щетина, а волосы, в которые можно было запустить пальцы. Он перестал прятаться в лачуге, начал выходить на улицу предместья, держа за руку ребенка. Там вокруг него собирались дети туземцев, и он вел с ними долгие беседы. Он привязался к ребятишкам, научился распознавать их черты, проводя пальцами по лицам; иногда позволял им гладить свое лицо, шутливо захватывал в рот их руки и рычал, когда они с хохотом и визгом старались вырваться. Он им рассказывал свои похождения и задавал загадки. Взрослых кругом не было: взрослые туземцы днем все были на работе, а филистимляне в предместье не приходили.

Давно прошли дожди. Волосы у Самсона были теперь такой же длины, как у всех людей, и он уже не стыдился выходить из предместья. Но в главную часть города, где жили филистимляне, его не тянуло. Зато он уходил с гурьбою детей в сторону Маима, гавани Газы, и там сидел с ними на песчаном берегу или учился у них искусству плавать. Эта наука далась ему легко; скоро он стал заплывать совсем далеко, так далеко, что не слышал уже детских окликов с берега и находил обратный путь только по тому, с какой стороны жгло солнце или дул ветер; вообще по звериному своему чутью, которое за эти месяцы в нем еще больше развилось.

Здесь, на берегу, однажды произошел такой случай: море было беспокойно, и вдруг неподалеку раздались женские крики, а с моря слышался жалобный детский зов. Самсон подумал, что это зовет на помощь кто-нибудь из его маленьких вожатых: он пошел в воду и поплыл в сторону крика, чутьем угадывая приближение каждой волны; и, плывая, он кричал тонущему ребенку: "Где ты? Отзовись!" Два раза он услышал слабый отклик, и наконец рука его дотронулась до головки с длинными волосами: девочка. Он взвалил ее себе на спину (он был так велик, что и с этой ношей подбородок его остался еще высоко над водой) и поплыл назад. На берегу его окружили плачущие женщины, кто-то взял у него девочку, потом кто-то закричал: "Жива!" — потом нежные тонкие руки схватили руку Самсона, губы прижались к ней, и женский голос сказал:

— Ты мне спас мою старшую дочь — после всего зла, что мы тебе сделали. Как мне отблагодарить тебя?

Самсон нахмурился. Давно уже не слышал он филистимского говора, отчетливого и певучего,

особенно у женщин из богатого круга. Он высвободил руку, отвернулся, окликнул свою туземную детвору и ушел.

Но на следующий день, когда он сидел на улице среди ребятишек и учил их клокотать горлом поверблужьему, дети вдруг притихли и шепнули ему:

— Вот идет та маленькая госпожа, которую ты вчера вытащил из воды, и с нею негритянка.

Они расступились. Девочка подошла прямо к Самсону и сказала мягко, но без робости:

— Не сердись, добрый господин, что я пришла. Мать моя очень огорчилась, что ты не позволил ей поблагодарить тебя; но ведь мне ты позволишь?

И она тоже поцеловала ему руку, и он не отнял руки. Он ясно представил ее себе: по голосу, лет девяти; не такая, как туземные дети, которые глядят на чужого человека издали, исподлобья, с пальцем во рту; и не как дети из Цоры, которые подбегают вплотную и смотрят во все глаза, готовые расспрашивать или насмехаться: спокойная, уверенная, без смущения и без любопытства, стоит она пред ним, должно быть, среди толпы чужих детей, ни на кого не обращая внимания, как будто и нет никого.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Амтармагаи. Мой отец — Таргил, начальник морской стражи Маима; он говорит, что знает тебя, господин, еще с того времени, когда был он сотником на холме царя Миноса.

Самсон улыбнулся: он тоже вспомнил сотника Таргила, жареную рыбу в харчевне и синяк под глазом у раба. И — Амтармагаи? Так звали жену Бергама в Тимнате; Самсону когда-то рассказывали филистимские приятели, что это было имя троянской царевны. Видно, девочка была из знатной семьи.

— Отец, — продолжала она, — прислал тебе кувшин вина с островов; прими его, добрый господин, и разреши мне побыть с тобой недолго.

Он погладил ее волосы; потом коснулся лба — и остановился, боясь, что она отшатнется; но она стояла спокойно. Он осторожно провел пальцами по ее лицу, по тонким изогнутым бровям, по длинным ресницам; ноздри у нее были упругие, и слегка дрогнули, раздуваясь, под ее прикосновением; лоб и нос представляли одну черту без перерыва; губы были слегка пухлые, но не торчали вперед, как у туземных детей. Когда он кончил, девочка просто спросила:

— Я тебе нравлюсь? Говорят, я похожа на маму; но она гораздо красивее.

Потом, сев возле него, она рассказала ему, что видела его часто в Газе; и что вчера у них дома целый вечер говорили о нем, и Таргил, отец ее, утверждал, что другого такого богатыря не было и не будет; а мать сказала, что все ее подруги, и даже она сама до замужества, заглядывались на Таиша. При этом в словах девочки не было ни одного намека на то, что он в плену, что он острижен и слеп: она с ним говорила так, как говорила бы год тому назад.

— Ты что-то рассказывал этим детям, — сказала она, — почему они отошли? Я ведь не мешаю.

Он подозвал детей и представил им звериный совет в лесу, и Амтармагаи смеялась с ними вместе. Потом она сказала:

— Теперь мне пора домой; но я еще раз приду к тебе — можно? И скажи Уланголо, — это моя негритянка, — куда отнести вино.

Во второй раз она пришла через неделю, и он ей обрадовался. Она посидела с ним и с детьми, а потом спросила:

— Могу я поговорить с тобой одна?

Дети отошли в сторону, и она сказала:

— Мама очень огорчается. Я — старшая дочь, и ты меня спас от смерти, и по обычаю ты должен был бы сидеть у нас почетным гостем на пиру. А ты и встретиться не хочешь ни с нею, ни с отцом.

Им стыдно перед бабушкой; а он говорит, что, если бы мог двигаться, он бы сам к тебе пришел, несмотря на твой гнев; но он стар и не ходит, и притом он...

Тут она в первый раз замялась и прошептала: — ...он слепой. Он очень мудрый человек, бабушка, он знает все обычаи. Он говорит, что боги на нас сердятся — оттого я и тонула: и он говорит, что, пока мои родители не поблагодарят тебя как следует, боги не простят и со мной еще случится беда.

Она прижалась к Самсону и погладила его лицо — она видела, что так делали туземные дети, и что ему это приятно.

— Приди к нам, добрый господин. Если ты не хочешь, никого не будет, кроме отца и мамы и деда и меня. Я сама тебя приведу. Приди, я тебя очень прошу: ради меня, чтобы боги перестали сердиться.

* * *

— Самая тяжелая ноша на земле — досада, — сказал слепой старик, дед Амтармагаи. — И не стоят ни люди, ни боги, ни весь свет того не стоит, чтобы тащил на себе человек эту ношу. Я, вот, перестал видеть от старости: меня ослепили боги. А тебя — люди. Что за разница? На кого тут гневаться? Ты калечил наших, а потом наши пели с тобой песни вокруг стола. Теперь наши тебя искалечили: где разница? Нет смысла в том, чтобы хранить друг на друга злобу. Что было, того — все равно что не было. Пока живешь, надо жить так, как плывет щепка по реке: плывет, куда плывется, наскочит на камень, зароется в ил, опять уплывет, ни с кем не дружась и не ссорясь.

Самсон слушал его молча, долго думал и наконец кивнул головою, а Амтармагаи захлопала в ладоши.

Так стал Самсон понемногу встречаться с филистимлянами. Сначала только в доме Таргила, который принял его с шумной радостью, как старого друга, но потом и по-прежнему, в харчевнях Газы. На первых порах и они стеснялись, и он; но вино, песни, особенно искренность их радушия скоро стерли неловкость. Они, действительно, были народ беззаботный, живущий сегодняшней погодой; долго не помнили ни им, ни ими причиненного зла. А Самсону было в сущности все равно, с кем играть, с детьми или взрослыми. И у них было много врожденного такта. Ни разу никто из них, даже пьяный, не обмолвился при нем, не сказал ему: "Посмотри", не предложил игры, при которой нужны глаза, не вспомнил о прежней гриве и косицах; даже Таишем они как-то перестали его называть — это прозвище было когда-то дано косматому человеку: они чаще звали его "Самсон". Зато о подвигах его говорили охотно и даже охотно трунили по поводу Железных ворот, которые, в виду пустоты городского казначейства, так и пришлось заменить деревянными.

На пирушках они первое время не просили его ни петь, ни шутить: дали ему свыкнуться и разойтись. Понемногу так и случилось. Он начал подпевать хоровые припевы, начал вставлять остроты в общую беседу, начал задавать загадки. Правда, он это делал не сразу, а только тогда, когда сам он и все другие уже много выпили, и потому они, должно быть, не заметили, что прибаутки и загадки Самсона теперь не такие, как раньше, не просто шаловливое дурачество, а насмешки и горечь; но он сам того не знал, и они тоже не заметили.

Однажды он спросил:

— Что это такое: самые долгие похороны?

Они не отгадали, и он объяснил:

— Жизнь.

В другой раз он спросил:

— Что это такое: десять веков за это воюют

десять народов — а кто победит, тому достанется ложе из репейника и чаша полыни?

Они не отгадали, и он объяснил:

— Земля Ханаанская.

Они были в восторге и хохотали без конца; и скоро — саран экронский был прав — Самсон опять сделался любимой забавой Газы. В первую ночь весеннего праздника друзья даже затащили его к себе во храм, усадили на первой скамье, у самого жертвенника Дагона, угостили пресным хлебом и четырьмя чашами вина: все это были обычаи, перенятые у туземцев, но в земле Дана, Ефрема, Иуды еще не привившиеся. Полагалось всю эту ночь провести во храме или на храмовой площади, и ни один приличный муж не спрашивал утром жену, с кем и как она плясала. Некоторым из них мог бы это рассказать Самсон. Теперь он уже не чуждался филистимских женщин: все равно.

Только жил он по-прежнему у Анкора-плотника в туземном предместье.

* * *

Шел за месяцем месяц, подходила жатва, и Самсону стало скучно. Никуда его не тянуло, ни к свету, ни к своим, ни в драку: просто было скучно. Иногда ему казалось, будто и собутыльникам его не так уже весело с ним, как бывало. Вернее, веселье было то же, что и раньше, но недоставало в нем какой-то острой приправы. И причину он тоже понял.

Однажды он загадал им:

— Что это такое: во дни бурь все ему рады, а летом никто?

— Солнце! — закричало несколько голосов, и Самсон кивнул головою, хотя задумал он совсем не то. Он задумал: Таиш. Таиш, когда был грозою, и Таиш, безопасная игрушка.

Глава XXXII. ШРАМ МАНОЯ

При храме Газы был особый двор, где содержали быков заморской породы, для боя и жертвоприношений; и однажды такой бык вырвался и понесся по городу.

Самсон сидел на завалинке у лачуги Анкора-плотника и, по обыкновению, шутил с малышами. Из дому доносились звуки ножа, которым Анкор обтесывал доску, и звуки песни, которую тот мурлыкал себе под нос.

Вдруг издали послышалась тревога; по улице бежали туземцы и что-то кричали; закричали что-то и дети и кинулись прочь. Какая-то женщина схватила Самсона за руку и сказала, задыхаясь:

— Беги со мною, господин, — храмовый бык вырвался!

Но он, просто по не привычке убежать, медлил и начал расспрашивать; женщина с воплем отпустила его руку и бросилась прочь; а Самсон услышал за собою встревоженный голос Анкора-плотника, выбежавшего на улицу. В ту же минуту поразил его слух торопливый, семенящий, но грузный топот. Он поднялся и вытянул вперед руки, теперь только соображая, что он слеп и беззащитен. Со всех сторон, но издали, раздались крики ужаса; но один голос — Самсон узнал голос Анкора-плотника — кричал прямо пред ним, в двух шагах, не больше. Сейчас же послышался тяжелый удар и новый вопль множества зрителей; и мимо Самсона прошла, задев его платье, громадная туша. Этого было ему достаточно: он навалился на быка сзади, дотянулся

до рогов, соскользнул на землю и напряг мышцы, выворачивая заревевшему зверю голову. Ему стало весело: давно он не делал ничего путного, и теперь видел, что сила его не убывала. Рев скоро сменился хрипением, потом бык повалился рядом с ним; наконец затрещали позвонки, и дело было кончено.

— Господин, — сказали туземцы, когда он поднялся, — бык забодал Анкора-плотника насмерть. Бык бежал на тебя, но Анкор стал перед тобою, чтобы заслонить тебя.

— Где он? — спросил Самсон, тяжело дыша.

— Мы отнесли его в дом: слышишь, там уже голосят его жены.

Самсон пошел в хижину и сел на полу у шкуры, на которой лежал его домохозяин. Тот тихо стонал, пока другой туземец, очевидно опытный в деле врачевания, трогал его раны. Кончив осмотр, туземец сказал: "Помирает", и Анкор перестал стонать и только хрипел при каждом дыхании.

Самсон не знал, что сказать. Он вспомнил, что никогда собственно не говорил с приютившим его человеком. Люди в доме Анкора и вообще все туземцы смотрели на него, как на существо сверхъестественное, служили ему молча и только отвечали на вопросы, и то робко — а спрашивал он их редко. Но теперь надо было заговорить, и Самсон сказал:

— Ты спас мне жизнь, и ты принял меня в свой дом и кормил меня и заботился обо мне. Ты хороший человек, аввеец.

— Уходите все, — проговорил плотник; и его жены ушли из лачуги и увели плачущих детей. Самсон и Анкор остались одни; тогда Анкор сказал, с трудом и с долгими остановками:

— Я счастлив, что мог сделать это малое для тебя; потому что ты — великий благодетель бедного люда; и еще потому, что ты — сын Маноя из Цоры.

— Ты знал моего отца? — спросил Самсон.

— Я был рабом в его доме, когда тебя, господин, еще не было на свете.

Самсон не сразу ответил. Его память напряженно работала. Это было, когда они все шли на свадьбу в Тимнату. Маной ехал на осле, а он, Самсон, шел рядом. Шрам на лбу Маноя, который тот всегда потирал в минуты замешательства. И тогда Маной сказал, что был у него — "давно, до твоего рождения" — раб из аввейцев. И Маноя кто-то ранил; и аввеец защищал Маноя. "Я отпустил его на волю". "Никогда не говори об этом с матерью, никогда не расспрашивай меня".

— Аввеец, — спросил Самсон, — это ты, значит, когда-то спас и отца моего от руки разбойника?

Плотник ответил:

— Нет, это было не так. Но я помог ему убить одного человека и зарыть его в землю; и за то он отпустил меня на волю.

— Убить? — повторил Самсон растерянно: это было так непохоже на тихую повадку Маноя. Вдруг его охватила какая-то еще смутная мысль; он весь насторожился и вытянул шею к умирающему.

— Когда это было? — спросил он.

— Давно; твоя мать еще была бездетна. Это было в самый год землетрясения.

— Расскажи мне про это дело, — велел Самсон; голос его звучал хрипло, и вдруг пересохла гортань.

— Господин мой, — сказал аввеец, — заклил мне тогда никому не говорить про это дело; но он умер, и теперь я умираю, а ты его сын.

— Сын, — повторил Самсон, кивая головою.

— Он разбудил меня перед рассветом и сказал: Анкор, возьми заступ и иди за мною. Все рабы еще спали. Мы пошли под гору к колодцу. У колодца на мокрой земле он нашел след босой ноги. Это было очень большая нога; нога сильного человека.

— Босая? — переспросил Самсон.

— Босая. Тогда господин мой сказал: "Анкор, ты умеешь идти по следам (я был охотником в

юности) — пойдем за ним”. И мы пошли по следам; шли сначала равниной, потом горами. След был ясный, потому что время было пыльное и человек тяжелый. Наконец, около полудня, мы его нагнали. На нем была шерстяная рубаха, как у скотовода, только вся в лохмотьях. Он сидел на камне и ел. Он спросил: что вам надо? У отца твоего была палка: он поднял палку и бросился на того человека; ничего не говорил, только стучал зубами; а я пошел с заступом за ним. Но человек был высокого роста, и посох у него был тяжелый. Когда господин мой напал на него, он ударил господина по голове, и господин упал; тогда я убил его заступом.

Анкору трудно было говорить, но Самсон не думал о нем.

— Дальше, — велел он.

— Я отнес господина моего к источнику, и там он очнулся, но еще долго не мог подняться. Перед вечером мы вернулись к тому месту: я стащил труп в долину и там зарыл его и набросал над ним каменную кучу. И мы пошли обратно в Цору. Ночью, когда мы почти уже дошли, отец твой сказал мне: ”Отпускаю тебя на волю; но ты должен уйти навсегда из нашей земли; жди меня здесь завтра к вечеру — я принесу тебе серебра, и ты будешь зажиточным человеком; но никогда никому не говори об этом деле”. Я поклялся ему и остался там в зарослях. Вечером он принес серебро, и я ушел к себе на родину в Газу.

Нелегко уже было разбирать его слова; но в мозгу Самсона стоял еще один вопрос, и он хотел его задать и боялся задать. Стиснув зубы, он спросил:

— Кто был тот человек? Из какого племени?

— И с напряжением, гораздо большим, нежели то усилие, когда он выворачивал шею быку, он произнес самое трудное слово: — Филистимлянин?

— Нет, — захрипел аввеец. — Когда я вырыл яму, господин мой велел мне открыть его бедра. Он был обрезанный, по обычаю вашего народа; и

когда я сказал это господину, он заплакал.

А Самсон засмеялся; негромко, но долго смеялся и думал про себя: поздно. И все равно. Главное то, что Беззубому поверили — все поверили, сразу поверили, без заминки поверили.

Глава XXXIII. НА ПРОЩАНИЕ

За все эти месяцы он ни с кем не говорил о своем колене и при нем никто не упоминал о племенах и делах восточной границы. Вряд ли он и сам о них задумывался. Вообще он ни о чем определенном не думал, даже после признаний Анкора, и ни о чем не вспоминал.

Однажды в харчевне он услышал имя Далилы: кто-то кому-то рассказывал, что она теперь живет в Аскалоне. Дальше он не слушал — просто потому, что это его не занимало.

Только дважды еще пришлось ему вспомнить и говорить о прошлом и о своих; и было это в самом конце лета, уже незадолго до праздника жатвы.

* * *

Однажды дети сказали ему:

— Тут уже давно стоит какая-то женщина и смотрит на тебя: но она не здешняя, и не госпожа тоже. Она приехала на ослице, и с погонщиком.

“Здешняя” значило на их языке: туземка, а “госпожами” они называли филистимлянок.

— Пусть стоит, мне что за дело? — ответил Самсон.

Но женщина, очевидно, поняв, что ее заметили, подошла и сказала нерешительно:

— Я хочу говорить с тобою наедине.

По выговору это была данитка; по голосу — женщина немолодая, невеселая и усталая.

Самсон нахмурился.

— Что тебе надо? — спросил он холодно.

Она тихо ответила:

— Меня к тебе прислали.

— Откуда?

Поколебавшись, она еще тише сказала:

— С севера, из земли Лайша, где ты поселил выходцев.

Он подумал, повел головою вправо и влево, и наконец велел детворе уйти. Женщина села возле него и долго молчала; Самсон чувствовал, что она смотрит на него пристально, а этого он не любил. Он спросил резко:

— Зачем тебя прислали, и кто?

Голос ее дрожал и прерывался, когда она заговорила:

— Там страна богатая и спокойная; трудолюбивым людям хорошо там живется. Кто ушел на север бедняком, у того теперь поля, стада и рабы; и они все благословляют твое имя.

Самсон отвернулся и ничего не ответил. Она продолжала:

— Только работа была тяжелая, и от нее много людей умерло раньше времени.

Самсон пожал плечами:

— Никто не умирает раньше времени. Но лучше было бы для человека умереть до своего часа, чем жить, когда час его прошел.

Женщина опять молчала; Самсон слышал ее тяжелое дыхание и боялся, что она расплачется. Никогда не любил он женских слез, а теперь ему было еще то неприятно, что она хочет плакать от жалости к нему.

— Говори, в чем дело, и ступай, — сказал он сурово.

Женщина спросила:

— Помнишь ли ты юношу — его звали Ягир, — он служил тебе когда-то?

Самсон ответил раздраженно:

— Помню или нет, не твое дело. Но с него

давным-давно содрали кожу филистимские палачи, и не он тебя прислал. Кто прислал тебя?

Женщина прошептала:

— У него была сестра Карни, дочь ваших соседей в Цоре. Когда взяли Ягира — много после, — она вышла замуж и ушла с мужем на север. Это она меня прислала к тебе.

Самсон поднял голову, как будто приглядываясь.

— А ты кто? — спросил он.

— Я служанка ее; но она меня любит, и я знаю все — всю ее жизнь, даже до замужества.

— Как им живется?

— Муж ее умер: там рано умирают мужчины.

— Дети?

— Сыну десять лет; и есть еще две дочери. Сына зовут, как тебя.

Самсон ничего не ответил. Его раздражение прошло, и прогнать ее теперь уже не хотелось; но ему стало грустно — он был бы рад, если бы она сама ушла.

— Зачем прислала тебя Карни? — спросил он после долгого молчания.

Женщина перевела дыхание, как будто набираясь смелости, и ответила:

— Она зовет тебя на север. Она сказала: дом мой — его дом, стада моего мужа — его стада, я и мои дети и рабы — его слуги. И весь народ будет ему рад; и он будет у нас судьей, как прежде в Цоре.

Она нагнулась к его уху и прошептала:

— Рыбаки из Дора примут тебя на лодку и отвезут на север, а там она будет ждать тебя с караваном.

Самсон опустил голову; отросшие волосы упали и наполовину закрыли его лицо, и опять он молчал несколько минут; он знал, что женщина смотрит на него, но ему уже не было стыдно.

— Долгая память у твоей госпожи, — проговорил он наконец.

Она прошептала:

— Годы меняют лицо; душа не меняется.

Он кивнул головой, усмехнулся и сказал с неожиданной горечью:

— Это правда: госпожа твоя не изменилась. Когда-то она хотела, чтобы тот, кто будет ее мужем, спал каждую ночь под ее кровлей и не глядел в окно. Таков я теперь; за порог не ступлю и в окошко не выгляну; и теперь она прислала за мною.

— Нет, — сказала женщина с внезапной твердостью. — Не потому зовет она тебя, что глаза твои потухли. Если бы дозволил Бог, она бы отдала свои глаза, чтобы ты мог встать и пойти куда хочешь. Если ты наденешь ей на палец кольцо, она будет тебе женою; но если не пожелаешь, все равно — дом ее будет твоим домом, и она будет твоей служанкой.

Самсон опять повернул к ней незрячие глаза.

— А если ты расскажешь ей, — спросил он, — что и теперь я по ночам не один у себя в туземной лачуге, — что скажет на это Карни?

Он ясно расслышал, как она вздрогнула вся, с головы до ног; но она твердо ответила:

— Карни скажет: твой дом, и ночи твои; и я — твоя служанка.

Самсон покачал головою:

— Передай твоей госпоже, что и у меня долгая память. Я помню все ее слова — повтори их перед нею теперь от меня: не хочет Самсон, чтобы жена его плакала — ни над его бедой, ни над своею. И еще одно скажи ей. Когда-то она мне ответила так: тебе нужен котенок для забавы — а я не игрушка. Это правда: женщины Дана не на то созданы, чтобы развлекать человека в час отдыха. Но и женщины Дана любят игрушки: любят нянчить куклу, или ребенка — или больного, у которого нет своей воли. Я теперь — игрушка. Пусть: для филистимлян, даже для туземцев. Но не для Карни.

Женщина плакала, но Самсону это не было

тяжело — только грустно, за нее, за себя и за все.

— Скажи ей, — говорил он, — что никогда еще не прилетал раненый орел умирать у себя в гнезде. Умирает он в далекой расселине: там видят его ящерицы, жуки, коршуны — только не орлица.

Она простонала:

— Я не орлица...

Он ответил:

— Орлица.

Она взяла его руки и долго целовала их, плача, но ничего больше не говоря; потом поднялась, окликнула детей, поманила их обратно к Самсону и ушла со своим погонщиком.

* * *

Второй посетитель был Хермеш, тот самый, что когда-то был у Самсона шакалом, и после той сходки в Цоре с послами Иуды хотел поднять колено Дана в защиту судьи. Он добрался до Самсона без труда: Самсона не боялись и даже издали не стерегли.

Печальные вести принес он Самсону, о которых Самсон и не подозревал. Филистимляне при нем об этом не говорили, и у него сложилось впечатление, будто все теперь утихло, и они забыли о Дане, об Иуде — забыли, как он забыл. Но они не забыли. Опять, как в тот год после пожара Тимнаты, когда он ушел в ущелье Этама, — словно стена обвалилась в осажденном городе, и нет больше защиты. Опять бродят филистимские отряды по окрестностям пограничного Гимзо и скоро, должно быть, опять займут город. Снова пришло в Цору посольство требовать дани; и с послами пришла вооруженная стража, и внезапно учинила обыск во всех домах — искала кузнецов и склады железа; и хоть можно было стражу перерезать, никто не посмел даже огрызнуться. Только один из старейшин, Авирам, человек

гордый, стал на пороге своего дома и кричал: "Не пушу!" — но посол Меродах велел его тут же на улице избить, а горожане стояли кругом и не заступились. Он, Хермеш, хотел было собрать молодежь и кинуться в драку, но староста Махбонай бен-Шуни запретил.

— Как звали того посла? — переспросил Самсон, тяжело дыша.

— Меродах. Он из Экрона.

— Когда это было?

— За неделю до весеннего праздника.

Самсон стиснул кулаки. В день весеннего праздника этот Меродах из Экрона кутил с ним на паперти храма, обнимал за шею, пел песни — и даже не похвастал, что на днях только был в Цоре и избивал тамошних старшин. И Самсону вдруг пришло в голову, — как будто бы раньше нельзя было догадаться о такой понятной вещи, — что все они, чиновники и сотники, или почти все, не раз за это время побывали, вероятно, и в Цоре, и в Хевроне, вымогали, обыскивали, убивали — а потом пировали с ним, Самсоном, и он им говорил прибаутки.

— А кузнецов и железо нашли? — спросил он сквозь стиснутые зубы.

— Нет, — ответил Хермеш. — За это спасибо Махбонаю. Ему еще накануне донесли какие-то левиты, что к нам идут; и он сейчас велел убрать все, что нужно было убрать, в горы за Чертовой пещерой.

Говорили они в Маиме, на берегу моря. Самсон встал, положил руку на плечо Хермеша и долго шагал с ним по песку взад и вперед, ничего не говоря, только мотая головою.

— А ты как живешь, Самсон? — робко спросил его Хермеш.

Самсон ответил резко:

— Весело живу; а дальше будет еще веселее.

И по движению мускулов на плече Хермеша под

его рукою он почувствовал, что тот низко опустил голову.

— Мне пора, — сказал наконец Хермеш. — Отвести ли тебя к твоему дому, или позвать к тебе детей? Они недалеко.

— Оставь меня здесь. Они сами прибегут.

Хермеш помялся и спросил:

— Передать ли что нашим от тебя?

Самсон подумал, потом сказал медленно:

— Две вещи передай им от меня, два слова. Первое слово: железо. Пусть копят железо. Пусть отдадут за железо все, что есть у них: серебро и пшеницу, масло и вино и стада, жен и дочерей. Все за железо. Ничего дороже нет на свете, чем железо. Передашь?

— Передам. Это они поймут.

— Второго слова они еще не поймут; но должны понять, и скоро. Второе слово: царь. Передай это Дану, Вениамину, Иуде, Ефрему: царь! Один человек подаст им знак, и тысячи разом подымут руку. Так у филистимлян; и оттого филистимляне — господа Ханаана. Передай от Цоры до Хеврона и Сихема, и дальше, до Эндора и Лаиша: царь!

— Передам, — сказал Хермеш.

— Ступай, — сказал Самсон.

Хермеш схватил его руку и стал ее целовать; и, не отрываясь от руки, он спросил трепетным голосом:

— Эти два слова я скажу от тебя народу: но людям, нам, которые тебя любили, — нам и нашим детям ничего ты не хочешь сказать?

На руку Самсона упала теплая капля, и еще и еще; на минуту захватило его искушение — рассказать Хермешу то, что открыл ему, умирая, аввеец Анкор. Но зачем? Поздно. И они поверили. Пусть. И он высвободил руку и ответил, отворачиваясь:

— Ничего.

Хермеш побрел по песку назад; вдруг Самсон его окликнул. Он оглянулся: Самсон старательно

вытирал влажный тыл ладони, и сказал ему:

— Я передумал. Не два, а три завета передай им от меня: чтобы копили железо; чтобы выбрали царя; и чтобы научились смеяться.

* * *

В первый день праздника жатвы, на этот раз выпавшего поздно, так как год был високосный, старый саран Газы, действуя в качестве первосвященника, произнес во храме перед кумиром Дагона особенно длинную молитву. Как всегда, никто ее не понял, даже остальные жрецы, которым полагалось знать островной язык. Саран был большой начетчик в старинных свитках и подбирал редкие слова и трудные обороты. Поэтому никто и не слушал его: граждане, столпившиеся во храме, спокойно перешептывались между собою во время его служения; но саран был несколько туговат на ухо, и, кроме того, очень увлечен беседой с богами, так что ему это не мешало.

А говорил он, между прочим, вот что:

— Боже Дагон, сын Великой Матери Реи-Диктинны, царицы морей и островов, снизошедшей во время оно, еще до рождения людей, на зеленое пастбище к божественному Быку, чтобы сочетать в своих чреслах плодородие земли со свободой водных пространств, — здравствуй и прощай, боже Дагон. Здравствуй в день твоего торжества на нивах этой чужой земли; и прощай, ибо скоро умрет недостойный служитель твой, — и скоро, быть может, через недолгий ряд поколений, умрет и последний остаток твоего народа, — а за ними и ты.

Ибо вот ползет навстречу нам с востока другое племя — ползет, как ползет иногда песок из морской глубины на берег, когда в пучинах содрогнется Великая Акула от злого сна и ударит

хвостом по темному дну. Странное это племя: словно нарочно создали его дьяволы пустыни для безотрадной страсти достижения. Эти люди не знают улыбки; пришли неведомо откуда и хотят неведомо чего. Но все они чего-то хотят, всегда хотят, никогда не уступают; падают и снова поднимаются; набирают что-то по крохам и берегут свои крохи. Кафтор их презирает, Кафтор хлещет их бичами по лицу и считает себя властелином: так туземный раб, когда двинулся с моря песок, отбрасывает его лопатой от своего сада и думает, что он победил. Не победил. Не победит.

Прощай, боже Дагон, и не гневайся на жалобу старого слуги, в сердце которого накопилась горькая боль. Твой народ погибнет; и сегодня я, предпоследний из людей твоего избрания, стою пред тобою, последним из богов истинных, и прощаюсь навсегда.

Глава XXXIV. ПОСЛЕДНЯЯ

О заключительном дне того праздника подробное письмо написал очевидец, знатный египетский турист, не раз уже бывавший в Филистии. Письмо начертано было демотическим шрифтом, которым в то время еще пользовались только немногие, потому что у жрецов и правительственных писцов он считался выдумкой легкомысленной и безбожной. Несмотря на сравнительную простоту этого способа начертания, автор диктовал его ученому рабу две недели подряд, — что, впрочем, его не стеснило, так как он в это время все равно лежал в постели и оправлялся от ожогов. Письмо было адресовано приятелю автора в Мемфисе, и вот существенная его часть:

”...Праздник жатвы считается главным праздником этого края. Обряды, которыми он обставлен, кажутся мне смесью двух преданий: большая часть их заимствована у здешних коренных племен, теперь уже давно поработенных, но кое-что, по-видимому, действительно занесли предки филистимлян со своих островов. Так, божество Дагон, о котором я писал тебе несколько лет тому назад, в первую поездку мою сюда, а также многолюдные пляски, праздничная одежда — все это, я полагаю, островного происхождения. Но обычай в эти дни украшать храм изнутри камышом, ветвями пальмы, смоковницы, маслины, платана, кипариса и дуба, до того, что и вид, и запах этого убранства напоминают молящимся лес, — этот обычай распространен во всем Ханаане.

Даже в туземном предместье Газы, где в обычное время глаза встречают зрелище грязи и нищеты невообразимой, накануне праздника над дверью каждой лачуги торчало по несколько тощих, но зеленых веток.

Эту особенность внутреннего убранства капища следует тебе, любезный Тефнахт, тщательно усвоить, если ты хочешь правильно понять как причины, так и размеры того замечательного события, слух о котором, как я вижу из твоего запроса, дошел и до вас в Мемфис. Подробное описание самого здания ты, быть может, помнишь из старых моих писем, так же как и описание главной его части — навеса на четырех колоннах из разных каменных пород, под которым находятся идол на золотой подставке и жертвенник. Итак, постарайся представить себе все эти столбы, карнизы, шипы для факелов и статуи обвитыми зеленью до того, что мрамор и гранит только пятнами проступают сквозь зеленый переплет. Зеленым, впрочем, можно было назвать его лишь в первые дни: праздник продолжается неделю. Причем, если в строгом смысле богослужения главным днем считается первый, то в смысле народного разгула особенного внимания заслуживает последний день, или, вернее, следующая за ним ночь. О проявлениях этого ликования и о размерах, какие они принимают в эти заключительные часы праздника между закатом солнца и зарею, мне заранее столько тут рассказывали, что я, признаться, с великим любопытством готовился воспринять их всеми органами, предоставленными мне природой; и поверь, любезный Тефнахт, памятуя, что и ты в неменьшей мере одарен тем же родом любознательности, я почел бы долгом представить тебе точный отчет обо всем, — если бы событие, которому, взамен того, я вынужден посвятить нынешнее письмо, не произошло как раз перед

закатом в седьмой день праздника и, таким образом, не оборвало естественного хода вещей.

Но, хотя не вполне подобает, говоря о происшествии такого печального свойства, останавливаться на вещах свойства игривого, я не могу не упомянуть о том, что зрелище, какое представлял собою храм в тот предвечерний час, врушало самые бодрящие ожидания. Достаточно указать на два обстоятельства. Первое — это праздничный наряд женщин, как бы нарочно придуманный для того, чтобы довести здорового человека до высшей степени предвкушения; впрочем, и его я тебе уже неоднократно и с достоподобным одушевлением описывал. Второе же обстоятельство заключается в том, что факелов в эту ночь не зажигают, ибо это было бы опасно ввиду обилия ветвей, уже совсем засохших; и, таким образом, по мере наступления ночи, внутренность храма постепенно погружается в темноту, среди которой слабое тление догорающего жертвенника пред кумиром Дагона должно, я полагаю, оказывать то же действие, как крупца острой приправы к сочному блюду.

Долг человека просвещенного и привыкшего к доброму обществу обязует меня, однако, также упомянуть, что и в другом — хотя, по моему, гораздо менее привлекательном — смысле внутренность храма представляла в эту ночь немало замечательного. Здесь присутствовали все пять саранов Филистии, каждый со своею свитой, половина коей, говорят, до сей поры вербует из уроженцев острова Керэта, а вторая половина из местной молодежи высшего происхождения. Вообще я должен сказать, что храм этот, хотя по размерам своим остался бы незамеченным в Мемфисе или даже Фивах, ибо скамей в нем едва хватало для тысячи, и еще полутысяча могла уместиться стоя, — вмещал в тот день почти все именитое население Газы и немалую

часть высшего сословия остальных четырех филистимских столиц. Причем, как я слышал, сараны и старейшие сановники по наступлении темноты удаляются, дабы не покровительствовать своим высоким присутствием происходящему народному веселию — или, быть может, дабы не мешать таковому; но, покуда светло, и они восседают на отдельных своих сидениях, хотя и не принимают прямого участия в развлечениях толпы.

Богослужение давно закончилось, солнце только еще клонилось к закату, и мы во храме доедали пряные сласти, запивая их довольно сносным вином местного изделия, когда послышались приветственные возгласы и я увидел в среднем проходе между скамьями самого замечательного человека, какого довелось мне встречать на веку. Я писал тебе в прежнюю свою поездку, а потом и устно рассказывал, что этим разбойником из дикого племени, живущего где-то в предгорье Филистии, разбойником, причинившим Филистии немало ущерба, Филистия, по-моему, гордилась: противоречие, которое у нас, египтян, было бы невообразимо, но которое вполне вяжется с беззаботным легкомыслием здешнего населения. Около года тому назад, однако, лопнуло даже здешнее терпение: разбойника взяли в плен, но (черта опять-таки непонятная для нас, воспитанных в карательной твердости Египта) почему-то не казнили, а только выкололи глаза и оставили его на свободе, и постепенно он снова сделался желанным гостем на всех пирах Газы.

Теперь я впервые увидел его. Передай твоему длинноногому негру Шормасте, который столько раз после ужина уносил меня, человека плотного, как младенца на руках, что бритая макушка его не дотянулась бы до подбородка этого великана. И, однако, плечи его были так широки, вообще все члены так соразмерны, что он ничуть не показался

мне чудовищным. Лицо же его поразило меня своей красотой даже в этой стране, где прямые носы с едва заметным изгибом, тонкие губы и маленькие уши столь радуют египетский глаз и, увы, столь омрачают завистью египетское сердце. В отличие от филистимлян, шапки на нем не было, и в его темных, но далеко не черных волосах, очень тщательно расчесанных, я заметил широкую белую прядь. Единственное, что было мне в его лице неприятно, это, конечно, закрытые, неестественно впалые глаза; помнится, я тогда же подумал, что у нас в Мемфисе даже рабы из хорошего дома не согласились бы пировать с человеком, столь явно обезображенным. Но, с другой стороны, когда он уселся на одном из табуретов, приготовленных для жреческого сословия у самого жертвенника, лицом к обществу, и, откликаясь на шумный хор приветствий, очень весело улыбнулся, я и сам забыл о его глазах ради очарования этой улыбки. Рядом с ним стояла маленькая девочка, приведшая его за руку (он признавал, говорят, только малолетних вожатых, упорно отклоняя предложения услуг со стороны взрослых людей; и вообще был любимцем у детворы). Судя по нарядному платью, девочка была из богатого дома. Усевшись, он погладил ее по голове и приказал ей безотлагательно идти домой: может быть, просто потому, что детям в эту ночь никак не подобало оставаться во храме, а может быть (если предположить — в чем я отнюдь не уверен, — что дальнейшие события были им уже заранее предусмотрены), и из привязанности к этому именно ребенку.

Его приход внес большое оживление. Со всех сторон его окликали и откликался он; и на каждый ответ его все общество отзывалось веселым смехом, часто даже рукоплесканиями. Не стыжусь признаться, что и в хохоте, и в плеске, по прошествии недолгого времени, начал принимать участие и я; и должен признать, что этот троглодит

оказался далеко не лишенным лицедейского дара. Лицо его, несмотря на закрытые глаза, способно было принимать любое выражение и даже сходство с другими лицами: и, при помощи самых несложных приемов, как, например, легкого перемещения локтей или едва заметного наклона шеи, он придавал своему высокому и стройному стану то вид коротенького толстяка, то обличье молоденькой девушки. Что касается до его голоса, то подобной гибкости я еще не встречал. Он передавал речь людей, тут же сидевших, с таким совершенством, что даже я, забыв обо всех правилах нашего столичного изящества, вынужден был от времени до времени прижимать обе ладони к животу, дабы не задохнуться от хохота.

Особенно мне понравилась одна картина, которую он разыграл в лицах, воплощая с изумительным искусством около десяти человек, говорящих почти одновременно. Но филистимским друзьям моим она пришлась почему-то не по вкусу. Насколько я понял (ибо он при этом употреблял много слов простонародных, мне неизвестных, а также подражал ломаному выговору разных племен), он тут изобразил перебранку на одной из пограничных застав, где филистимская стража собирает пошлину от купцов разных народностей. Вначале слушатели смеялись очень весело; но вдруг, когда пленник заговорил каким-то особенно отрывистым говором и при этом слегка насупился, как человек, глядящий исподлобья, — смех оборвался, а сидевший рядом со мною приятель с некоторым смущением шепнул мне, что теперь пленник изображает купца из своего собственного народа и что этого не следовало бы ему делать. Пленник, однако, не смутился и показал в чрезвычайно забавной смене вопросов и ответов, как его сородич, прикидываясь тупым простаком, постепенно вгоняет в пот и высокомерного сотника, и кропотливого счетовода пограничной стражи, и в

конце концов их же обсчитывает. На этот раз ему хлопали гораздо меньше прежнего, — за одним исключением, на котором я теперь и останавливаю твое внимание тем охотнее, что речь идет о нашей с тобой старой приятельнице.

Ты, конечно, помнишь общую нашу подругу, которую мы за красоту называли царевной Нофри, хотя она была иностранного происхождения, — и которая исчезла из Мемфиса года два тому назад? Здесь она, оказывается, слыла под другим именем, но я ее сейчас же узнал, как только обратил внимание на то, что она, одна среди всех сидевших на передней скамье, шумно рукоплескала пленнику именно после этого, почему-то никому не понравившегося представления. Она даже несколько раз повторила одобрительный возглас, и, так как остальные молчали, то великан, очевидно, расслышал и узнал ее голос, ибо на мгновение быстро повернул голову в ее сторону, хотя тотчас же и отвернулся. То обстоятельство, что она оказалась и его старой знакомой, меня, конечно, не удивило, принимая во внимание ее ремесло и его богатырскую осанку; но с тех пор мне удалось выяснить, что именно эта женщина каким-то образом помогла филистимлянам захватить в плен дотоле неуловимого разбойника, за что и получила впоследствии от казны крупное денежное вознаграждение.

Она, однако, не удовлетворилась тем, что обратила на себя его внимание, а, по-видимому, решила привлечь также и внимание всего общества; и, действительно, с этого мгновения и почти до самого конца взор и слух присутствующих остались уже сосредоточенными не только на пленнике, но и на ней. Причем все дальнейшее произошло так быстро, что я, диктуя это описание, далеко не уверен, удастся ли мне припомнить и передать главные черты происшедшей между ними

беседы. Постараюсь, однако, изложить то, что сохранилось в моей памяти.

Начала беседу женщина, а именно тем, что, слегка приподнявшись с места, воскликнула, обращаясь к пленнику:

— Ты умеешь загадывать загадки, Самсон (это, как я забыл тебе сообщить, было его имя; или, может быть, кличка, ибо в прошлый мой приезд его называли иначе), — но умеешь ли ты отгадывать?

На что он, помолчав несколько мгновений, со смехом ответил:

— Какие у тебя загадки, красавица? Даже узор голубых жилок на твоих ляжках — ни для кого не загадка: все его видели!

Это опять вызвало общий смех, и женщина сильно побледнела, но, тем не менее, крикнула еще громче:

— Нет, у меня для тебя иная загадка. Что это такое: из пожирателя вышло лакомство, из могучего — забава, из истребителя — шут?

Он, услышав этот вопрос, униженный смысл которого даже для меня был ясен, дрогнул всем телом; голос его, однако, звучал совершенно спокойно, когда он ответил ей:

— В самом сладком лакомстве иногда таится отравка — так же точно, как в ласке блудницы часто прячется предательство.

Филистимляне опять засмеялись, но сейчас же смолкли, ожидая с любопытством, что скажет она: по-видимому, такие поединки обидной колкости не считаются у них противными праздничному обычаю. И, действительно, женщина продолжала, причем мне показалось, что в ее голосе, кроме запальчивости и ненависти, чувствовалось также заглушенное начало рыдания:

— Вот еще одна загадка: из отверженной вышла победительница, и глаза, когда-то глядевшие на нее с презрением, никогда уже ни на что не взглянут. Знаешь ли ты имя этой загадки?

На что он немедленно и спокойно отвечал:

— Знаю, слышал: пять тысяч и пятьсот серебряных монет.

Она, однако, покачала головой и сказала, наклонясь вперед:

— Нет, не отгадал. Имя этой загадки иное: мое имя — Элиноар!

Она произнесла это имя с такой силой выражения, что и у меня, никогда его не слыжавшего, прошла щекочущая дрожь вдоль спины, и я понял, что для пленника это имя должно было иметь какое-то особенное значение, и с любопытством взглянул на него. Так как лучи предвечернего солнца, прорываясь в открытые двери храма, очень ярко освещали его лицо, я мог ясно видеть сменявшиеся на нем выражения. И опять я вынужден повторить, что — если только имя, ею произнесенное, было ему действительно знакомо — этот дикарь оказался лучшим лицедеем, какого я когда-либо наблюдал. Он изобразил на лице все признаки простодушной растерянности, поднял брови, даже раскрыл рот, повел головою вправо и влево, как бы расспрашивая всех присутствующих, и наконец проговорил:

— Элиноар? Это кто такая? Не помню.

При этом неожиданном ответе женщина пошатнулась совершенно так, как будто ее ударили в лицо, и прижала руки к своей открытой груди. Но через мгновение, преодолевая себя, она закусил губу, обернулась к задним рядам храма и кого-то оттуда поманила. В ответ на это к ней подбежала нубийская рабыня, на руках у которой я заметил нечто вроде свертка, окутанного прозрачною белой тканью. Женщина взяла у нее этот сверток и, опять повернувшись к пленнику, воскликнула:

— А теперь отгадай третью загадку!

Произнеся эти слова, она быстро развернула ткань и извлекла оттуда голого младенца, которому на вид было едва ли больше трех или

четыре недели от роду и который, очевидно, потревоженный со сна, сейчас же громко заплакал. Она поднесла его к самому лицу пленника и приложила маленькие руки младенца к его бородатым щекам; и как только осуществилось это прикосновение, дитя перестало плакать и потянулось к нему, причем я вспомнил уже упомянутые мною рассказы о том, что великан этот вообще пользовался любовью детей. И, действительно, от ощущения детской ручки его лицо, странным образом, стало вдруг само похоже на черты малого дитяти, и несколько мгновений он сидел, не шевелясь, а только подставляя то одну, то другую щеку, то нос, то лоб, то закрытые глаза под неловкие пальцы ребенка. Но внезапно он отстранился и быстро встал, делая такое движение руками, как будто хотел схватить младенца; чему, однако, женщина помешала, столь же быстро прижав дитя к себе и отступив на несколько шагов назад. Тогда он спросил, но уже не прежним своим голосом, полным насмешки, а так, как говорит человек, обуреваемый сильным волнением чувств:

— Чей это ребенок?

Женщина же рассмеялась и ответила ему:

— Отгадай! Он будет храбр и могуч, как отец его; и я, чье молоко стало ядом, научу его ненавидеть отцовское племя; и от судьи и заступника произойдет недруг и разрушитель.

Тогда в его гортани послышалось странное для меня клочкотание, мало похожее на человеческий звук, и он ступил вперед, протягивая руки; но наткнулся на один из столбов, поддерживавший навес над идолом Дагона и над жертвенником. Женщина же, уверенная в том, что он ее не схватит, стояла на месте и хохотала, прижимая к груди младенца, который опять жалобно заплакал. Сосед мой, с явным неудовольствием в голосе, негромко заметил, что это все уже приняло оборот, не соответствующий обычаям праздника; но

общество, по-видимому, настолько было увлечено происходящим перед ним состязанием, что в храме господствовало глубочайшее безмолвие, а в задних рядах почти все стояли, устремляя взоры то на женщину, то на пленника. Я же смотрел в особенности на него, замечая, что дыхание его вырывается из груди с чрезвычайным трудом и шумом и руки бесцельно бродят — одна по гладкой поверхности столба, другая по медной решетке, ограждавшей жертвенный очаг, на котором все еще тлела груда раскаленных углей. Но внезапно волнение его утихло, на лице вновь появилась улыбка, и он проговорил прежним своим голосом, хотя чрезвычайно громко и медленно:

— Теперь отгадайте вы все эту последнюю загадку Самсона: многих перебил при жизни, но еще больше — в час смерти?

Я не сразу понял, шутит ли он или грозит; но через несколько мгновений, по особенному шороху, который, несмотря на общее молчание (нарушаемое только плачем ребенка и треском углей на жертвеннике), пронесся по всему храму, — почувствовал и я, что подготавливается нечто небывало опасное. В то же время, однако, мне казалось, что члены мои связаны до полной невозможности шевельнуться; и, полагаю, такое же безволие оковало и все собрание. Как, должно быть, и все остальные, я мог только смотреть на великана и дивиться (еще не понимая, что нам предстоит) новой перемене в его лице, которое постепенно багровело; дивиться толстой жиле, почти черного цвета, которая обозначилась на лбу его, и могучей шее, которая как бы стала вдвое шире прежнего; дивиться крутым холмам мышц, которые медленно вздулись на его плечах и поползли вдоль обеих рук, опиравшихся одна о столб, другая о решетку жертвенника; дивиться всему этому, как дивится дитя или невежда редкому явлению природы, еще не догадываясь, что оно

является предвестьем ужасов. Но в это время из задних рядов послышался беспокойный, хотя сначала еще заглушенный ропот встревоженных голосов, который, катясь все ближе к нам и разрастаясь, скоро превратился в общий вопль, такой громкий, что, казалось мне, и гром небесный трудно было бы сквозь него расслышать. Однако в этом последнем мнении я ошибся, так как над всеми этими голосами предостережения, страха и гнева вдруг совершенно внятно разразился крик того человека, крик, подобного которому по силе не может себе представить ничье воображение и который до сих пор еще не отзвучал в моих ушах, а именно:

— С вами вместе да погибнет душа моя!

С этого места рассказ мой, любезный Тефнахт, поневоле должен превратиться в повествование о делах невероятных; сознавая, что и сам я, не доведись мне быть очевидцем этого события, никому бы не поверил на слово в возможность подобных небылиц, я заранее отказываюсь от попытки придать им в твоих глазах правдоподобие посредством подбора выразительных слов. Он подхватил снизу жертвенный алтарь — тяжесть, по виду своему превышающую груз для нескольких буйволов, — и, подняв его довольно высоко над головою, бросил прямо в ту сторону, откуда, среди опять водворившейся тишины, доносился плач ребенка; и, еще прежде, чем жертвенник, среди грохота и воплей, обрушился на женщину с младенцем и на ее соседей, из очага его по всем сторонам разлетелись бесчисленные красные угли. Совершив это и пользуясь замешательством, которое, при виде такого деяния, овладело даже сильнейшими, он уперся спиною в столб, у которого прежде стоял, а ногами в золотую подставку идола; и не прошло мгновения, как со страшным треском столб этот, толщиной в два человеческих обхвата и вышиною в три

человечьих роста, пошатнулся и начал медленно склоняться в нашу сторону; а лежащий идол, подобно коню, встающему на дыбы, поднялся торчком и обрушился в том направлении, где помещались пятеро саранов и их свита.

Я предполагаю, что в это время храм уже полон был стонов, воплей и — конечно, только в задних рядах — метаний уstraшенной толпы; но я ничего этого не слышал и не заметил, ибо взоры мои пригвождены были к зрелищу разрушения. Предо мною медленно и косо оседал тяжкий навес, еще за минуту до того осенявший Дагона и его жертвенник, но теперь лишенный и идола, и алтаря, и одного из опорных своих столбов. Когда же и прочие столбы, наконец, рухнули, погребая под своими обломками, вместе со многими жертвами этого неслыханного дела, также и виновника его, падение вынесло всю чудовищную тяжесть сквозь ничтожную преграду ста человеческих тел далеко в сторону, и край навеса, подобно ножу, отсекающему ветку, срезал две боковые колонны, на которых покоилась самая крыша здания. После этого я помню только хаотический обвал, где каменные глыбы смешаны были с корчающимися телами, между тем как вокруг бесновалось пламя, пожирая сухие ветви, перебегая по гирляндам от колонны к колонне во всю длину и ширину храма, и наконец — невыносимое воспоминание, любезный Тефнахт, — охватывая женские платья.

Изобразительный дар мой, однако, слишком ничтожен для того, чтобы дать тебе описание, достойное события. Признаюсь, я попытался продиктовать таковое; но, когда писец, по моему приказу, перечитал его мне вслух, я остался настолько неудовлетворен безжизненными строками, что, дав рабу пощечину, велел ему разорвать исписанный лист папируса; и от повторения этой попытки считаю как более

скромным, так и более разумным отказаться. Но не могу воздержаться от искушения несколько развить в этом месте своего послания мысль, которая неотвязно тревожит мой ум с самого дня того события. Не странно ли, Тefнахт, что именно картины разрушения потрясают душу своим величием, тогда как зрелище созидания — заставляет утонченный взор отворачиваться со скукой или даже отвращением? Почему так величава смерть, и в еще большей степени — битва, которая представляет собою смерть умноженную, — тогда как рождение являет вид не только лишенный возвышенности, но и непристойный, и даже тошнотворный? Почему так прекрасно землетрясение, разрушающее города; почему каждый из нас, если бы мог наблюдать его с высоты безопасного места, испытал бы при этом — конечно, наряду со скорбью по поводу гибели граждан и богатства — высокое восхищение ума, — между тем как постройка таких же городов, когда случается нам быть ее свидетелями, оставляет в каждом из нас лишь отталкивающее воспоминание о беспорядке, о пыли, о стуке молотков, о запахе пота, о брани надсмотрщиков?

Но ты спросишь, и с полным правом, любезный Тefнахт, как же вырвался из этого сочетания пекла и бойни тот, кто ныне диктует настоящее к тебе письмо; вырвался, прибавлю я, с болезненными, но для здоровья не опасными ожогами. Объяснение, боюсь, покажется тебе еще более невероятным, чем все остальные части моего рассказа. Ведь если бы это самое событие случилось у нас в Мемфисе (чего да вовеки не допустят египетские боги, совершенно независимо от вопроса о том, существуют ли они), пожар храма несомненно сопровождался бы свалкою, достойной диких зверей, свалкой, где сильный бьет и топчет слабого, мужчина женщину — может быть, мать свою или дочь, или невесту,

которая накануне, краснея, обещала в эту ночь подарить ему первую радость. Но у здешнего племени, несмотря на всю его склонность к шуткам, вину и разгулу, нет, должно быть, истинной привязанности ко благу жизни. Нечто подобное драке наблюдалось, если я не ошибаюсь, ближе к выходу, в задних рядах, где толпились обыватели более скромного сословия: там, по-видимому, люди толкали и даже опрокидывали друг друга, загромождая тем самым проходы и мешая самим себе добраться до двери. Но в передней части храма, занятой знатнейшими семьями Филистии, было, очевидно, сразу всеми понято, что пробиваться к выходу, при таких условиях, для огромного большинства безнадежно, а потому и непристойно.

Я счел бы преувеличением сказать, что все они приняли свою судьбу со спокойствием: напротив, и вокруг меня раздавались рыдания и стоны, некоторые женщины даже рвали на себе волосы, и лишь немного было таких, которые, скрестив на груди руки, неподвижно ожидали своей участи; но, тем не менее, в высшей степени примечательным должно признать то обстоятельство, что даже отчаивающиеся, даже громко оплакивающие приближение гибели не пожелали в эти минуты уподобиться черни, пробивающей себе локтями и пинками путь к маловероятному спасению.

Стоя неподвижно среди них и вместе с ними — с теми, кого еще не коснулись ни обвал, ни огонь, — я вдруг заметил, что на сиденьях саранов уцелел только один из пяти, а именно правитель Экрона, старый мой друг, знакомый и тебе по тому времени, когда он был моим гостем под Мемфисом и когда в загородном доме у меня по утрам нельзя было протолкаться среди множества птицеловов, приносивших ему на продажу не то певчих, не то ученых птиц.

Встретившись со мной глазами, он совершенно спокойно кивнул мне головой, поманил к себе юного сотника в одежде керэтинской стражи и крикнул ему настолько громко, что расслышал его и я:

— Проложи выход иностранному гостю — во что бы то ни стало!

Прежде, нежели я успел понять, что речь идет обо мне, схватили меня с обеих сторон сильные руки и потащили, среди дыма и стонов, по среднему проходу между скамьями. Верь или не верь мне, любезный Тefнахт, но я тебе клянусь святынями всех народов, что на уровне первых рядов этот проход был почти свободен; и только дальше, по мере приближения к двери, сотнику, шедшему впереди, и солдатам его пришлось сурово пользоваться своими секирами, а под ногами я, вместо каменных плит, ощутил извивающиеся человеческие члены, и чьи-то зубы больно прокусили мне левую щиколотку.

Дойдя до двери, сотник посторонился, отесняя и отгоняя секирой ломившихся из узкого прохода разночинцев; и подчиненные его, тащившие меня за руки, с силой вытолкнули меня на паперть.

Только один из этих солдат выбежал вместе со мною: остальные воздержались от естественного и простительного искушения; и, оглянувшись в последний раз с порога, я увидел, что молодой офицер, прямо по плечам и головам воющей толпы, шел обратно к своему сарану.

В это же мгновение затрепетала вся земля, из середины капища послышался новый грохот, и толпа, наполнявшая храмовую площадь, завопила, указывая вверх тысячами рук, что обвалилась крыша.

Да, любезный Тefнахт, спасение мое воистину было чудом из чудес; ибо нет, должно быть, ни более таинственного, ни более возвышенного дива, чем то непознаваемое, что гнездится в душе целого

племени и отличает его от других обитателей земли: загадка, самая неразрешимая из всех, каким научил меня в эти часы и тот непостижимый человек, и народ, его любивший, его ослепивший и с ним погибший в одном огне”.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Иевуситы, гиргасеи, хиввейцы, хиттиты, аморреи — согласно Библии, народы, населявшие Ханаан до прихода туда евреев после египетского рабства и скитаний по пустыне. Кроме перечисленных здесь также: ханаанцы, перизеи и аввейцы.
- ² Филистия — страна филистимлян, согласно библейской традиции, уроженцев острова Кафтора (Крита); находилась на юге средиземноморского побережья Ханаана. Филистия называлась государством Пяти городов: Газы, Ашкелона, Ашдода, Гата и Экрона; управлялась советом вождей — "серенов". Современная наука относит филистимлян к доэллинской крито-микенской культуре.
- Филистимляне практически хозяйничали на территории израильских колен Дана и Иехуды (Иуды), пока, во времена царя Саула между ними и евреями не началась кровопролитная война, окончившаяся при царе Давиде поражением филистимлян. История этой войны изложена в 1-ой и 2-ой книгах пророка Самуила (1-ая и 2-ая Царств).
- ³ Левит — букв. "из колена Леви" — священнослужитель; в описываемые времена вели бродячий образ жизни, а в эпоху существования Храма помогали жрецам-кохенам. Колено Леви не имело своего земельного надела и жило за счет десятины, отчисляемой ему остальной частью еврейского народа.
- ⁴ Ашера — древняя богиня ханаанцев ("ханаанцев"), покровительница деторождения и материнства. Некоторые исследователи отождествляют ее с кипрской Афродитой. В Библии есть намеки на то, что Ашера также — некий деревянный кумир, который помещался около алтаря и служил объектом культа.

- ⁵ В. Жаботинский пользуется принятой в свое время в русском языке транскрипцией географических названий и личных имен, встречающихся в Библии, что не всегда совпадает с современным произношением. Например: Асдот — Ашдод, Аскалон — Ашкелон, Эн-Геди — Эй-Геди, гора Фавор — Тавор, Бет-Шан — Бет-Шеан, Сидон — Цидон, Айялон — Аялон, Сихем — Шхем, Цора — Цор'а, Генисаретское озеро — Кинерет, Яффа — Яффо, а также имена: Сисара — Сисра, Маной — Маноах, Семадар — Смадар. В настоящем издании сохраняется написание автора.
- ⁶ Таиш на иврите означает "козел".
- ⁷ Каравай инжира — в древние времена в Эрец-Исраэль было принято сушить инжир круглыми связками.
- ⁸ Иевус — одно из древних названий населенного иевуситами Иерусалима; позже город был завоеван еврейским царем Давидом и получил другое название.
- ⁹ Соленое море — букв. перевод с иврита; по-русски принято название Мертвое море.
- ¹⁰ Иосиф, сын праотца Иакова и его жены Рахили, был продан братьями в рабство и оказался в Египте, где со временем стал могущественным помощником фараона. Когда в Ханаане случился голод, братья в поисках хлеба пришли в Египет. Иосиф областкал их, и вскоре все братья с семьями и с отцом их Иаковом переселились в Египет. Шли годы, евреи превратились в многочисленный народ, и новый фараон превратил их в рабов, занимающихся тяжелым трудом. Египетское рабство евреев длилось около 400 лет, пока под предводительством Моисея и при покровительстве Бога евреи не покинули Египет. Подробнее об этом см. Бытие, гл. 37, 39–50, и Исход, гл. 1–15.
- ¹¹ Назорей — от ивритской основы *назор*, букв. "обособленный, живущий иначе"; согласно еврейской традиции, человек, давший обет Богу с тем, чтобы жить в святости, по законам Бога. Чтобы назореи выделялись среди других людей, им было запрещено стричь волосы

и бриться, а также пить вино и вообще прикасаться к чему-либо, сделанному из винограда (Числа, 6:2 и далее).

- ¹² Земля Ефремова — удел колена Ефрема; здесь и далее В. Жаботинский пользуется именами колен Израилевых, принятыми в русскоязычной Библии, в так наз. синодальном переводе: Ефрем — Эфраим, Иуда — Иехуда, Вениамин — Биньямин, Менассия — Менаше, Симеон — Шим'он.
- ¹³ Эфод (иврит) — одно из значений слова: некий образ, которому поклонялись в древности и который наделяли способностью предсказывать будущее.
- ¹⁴ *Дан судит и рядит* — в этом выражении обыгрывается букв. значение имени Дан: "судит, обсуждает" (иврит).
- ¹⁵ Саран (в современном иврите *серен*) — военачальник, правитель у филистимлян.
- ¹⁶ ...чужак... в платье, сотканном из льна и шерсти... — в Библии содержится запрет на ношение одежды, сотканной из нитей растительного и животного происхождения попеременно.
- ¹⁷ Здесь своеобразно толкуется библейский рассказ о Каине и Авеле (Бытие, гл. 4). За убийство братоубийцы Каин-земледелец был осужден на вечное скитальчество. "И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмститесь всею землею", чтобы Каин до конца испил чашу наказания своего.
- ¹⁸ ...из потомства Виллы... — Рахиль, жена праотца Иакова, долгое время была бесплодна и потому привела к мужу свою служанку Виллу (на иврите Билха), которая родила Иакову сына Дана (Бытие, 30:1–6).
- ¹⁹ Ионадав, сын Рехава, военачальника из армии царя Саула, заповедал своим потомкам-рехавитам не пить вина, не строить домов, не сеять семян и не разводить виноградников (Иеремия, 35:5–11).

Рехавиты жили в эпоху более позднюю, чем Самсон. Пребывание Самсона в палатке рехавита — одна из художественных вольностей, которые позволяет себе В. Жаботинский.

²⁰ Хор ха-Шедим (иврит) — Чертова дыра.

²¹ ...*Иосиф учил: в год урожая готовься к засухе...* — напоминание о том, как библейский Иосиф (будущий отец Эфраима, родоначальника колена) разгадал сны фараона, предвещавшие семь урожайных, а затем семь голодных лет, и посоветовал ему сохранять пятую часть урожая все семь сытых лет, чтобы было чем кормиться в годы засухи (Бытие, гл. 41).

²² Вирсавия (на иврите *Беер-Шева*) — название города, которое можно перевести как "семь колодцев" по числу колодцев, вырытых Авраамом в земле филистимского царя Авимелеха (Бытие, 21:22–34).

²³ *Дазни* (иврит) — это слово можно перевести двояко: "узнай меня" и "познай меня" (сравни, например: "И Адам познал Еву, жену свою...", Бытие, 4:1).

²⁴ ...*Иуда посылал бы пеплом голову...* — по древнему обычаю, евреи, в час тяжких испытаний и в знак скорби по умершему посыпают голову пеплом.

²⁵ *Авраам... старшего сына, малютку, вместе с матерью неповинными бросил на безводную смерть в пустыне; другого сына сам поверг на костер и от жены своей Сарры... отрекся перед язычниками...* — в Библии Бог десять раз испытывал праведника Авраама, чтобы проверить безусловность его веры. Среди этих испытаний были требования прогнать из дома рабыню Агарь и сына Исмаила (Бытие, 21:9–21), принести в жертву своего сына Исаака — рассказ, известный в мировой культуре как "жертвоприношение Авраама" и называемый на иврите "*акедат Ицхак*" (Бытие, гл. 22), а также странствия с красавицей-женой Саррой среди чужих народов.

Авраам с честью выдержал все испытания, и Бог вознаграждал его преданность: Агарь с сыном были

спасены, Исаак остался жив, и Сарра оказалась нетронутой чужеземцами (Бытие, 12:10–20, а также гл. 20).

- ²⁶ ...куст неопалимый... — в пламени огня из несгорающего куста терновника открылся Моисею Бог и повелел ему вывести евреев из египетского рабства и привести их в землю, которую Он уже неоднократно обещал праотцам Аврааму, Исааку и Иакову (Исход, 3:1–8).

...лестница от земли до неба... — намек на сон Иакова, в котором он видел такую лестницу и спящих по ней вверх и вниз ангелов. В это время Бог говорил с Иаковом, подтвердил свою верность завету с Авраамом и повторил обетование о земле (Бытие, 28–17).

- ²⁷ Дождь не вовремя, так же, как и засуха, издавна считались у евреев признаками Божьего гнева, предвестниками беды.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КНИГА СУДЕЙ

ГЛАВА 13

1 Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Филистимлян на сорок лет.

2 В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной; жена его была неплодна и не раждала.

3 И явился Ангел Господень жене, и сказал ей: вот, ты неплодна и не раждаешь; но зачнешь, и родишь сына.

4 Итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого.

5 Ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки Филистимлян.

6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего.

7 Он сказал мне: "вот, ты зачнешь и родишь сына: итак не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого: ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет назорей Божий".

8 Маной помолился Господу и сказал: Господи! пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что́ нам делать с имеющим родиться младенцем.

9 И услышал Бог голос Маноя, и Ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею.

10 Жена тотчас побежала, и известила мужа своего, и сказала ему: вот, явился мне человек, приходивший ко мне тогда.

11 Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку, и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною? Ангел сказал: я.

12 И сказал Маной: итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что́ делать с ним?

13 Ангел Господень сказал Маной: пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене;

14 Пусть не ест ничего, что́ производит виноградная лоза; пусть не пьет вина и сикера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что́ я приказал ей.

15 И сказал Маной Ангелу Господню: позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка.

16 Ангел Господень сказал Маной: хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего; если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это Ангел Господень.

17 И сказал Маной Ангелу Господню: как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое.

18 Ангел Господень сказал ему: что́ ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно.

19 И взял Маной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камне. И сделал Он чудо, которое видели Маной и жена его.

20 Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, Ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю.

21 И невидим стал Ангел Господень Маной и жене его. Тогда Маной узнал, что это Ангел Господень.

22 И сказал Маной жене своей: верно, мы умрем; ибо видели мы Бога.

23 Жена его сказала ему: если бы Господь хотел

умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам сего.

24 И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь.

25 И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом, между Цорою и Естаолом.

ГЛАВА 14

1 И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей Филистимских.

2 Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал: я видел в Фимнафе женщину из дочерей Филистимских; возьмите ее мне в жену.

3 Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин между дочерьями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у Филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне понравилась.

4 Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая *отмстить* Филистимлянам. А в то время Филистимляне господствовали над Израилем.

5 И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев, рыкая, *идет* навстречу ему.

6 И сошел на него Дух Господень, и он растерзал *льва* как козленка; а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал.

7 И пришел и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону.

8 Спустя несколько дней, опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот, рой пчел в трупе львином и мед.

9 Он взял его в руки свои, и пошел, и ел дорогою; и когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели; но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей.

10 И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи.

11 И как там увидели его, выбрали тридцать брачных друзей, которые были бы при нем.

12 И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку; если вы отгадаете мне ее в семь дней пира, и отгадаете верно, то я дам вам тридцать синдонов* и тридцать перемен одежд;

13 Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне тридцать синдонов и тридцать перемен одежд. Они сказали ему: загадай загадку твою, послушаем.

14 И сказал им: из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое. И не могли отгадать загадки в три дня.

15 В седьмый день сказали они жене Самсоновой: уговори мужа твоего, чтоб он разгадал нам загадку; иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего; разве вы призвали нас, чтоб обобрать нас?

16 И плакала жена Самсонова пред ним, и говорила: ты ненавидишь меня и не любишь; ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее. Он сказал ей: отцу моему и матери моей не разгадал ее; и тебе ли разгадаю?

17 И плакала она перед ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Наконец в седьмый день разгадал ей; ибо она усиленно просила его. А она разгадала загадку сынам народа своего.

18 И в седьмый день до захождения солнечного сказали ему граждане: что слаще меда, и что сильнее льва! Он сказал им: если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки.

19 И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там тридцать человек, снял с них одежды, и отдал перемены *платья* их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего.

20 А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом.

* Рубашка из тонкого полотна.

ГЛАВА 15

1 Чрез несколько дней, во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою своею, принеся с собою козленка; и когда сказал: "войду к жене моей в спальню", отец ее не дал ему войти.

2 И сказал отец ее: я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот, меньшая сестра красивее ее; пусть она будет тебе вместо ее.

3 Но Самсон сказал им: теперь я буду прав пред Филистимлянами, если сделаю им зло.

4 И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами;

5 И зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны и нежатый хлеб, и виноградные сады и масличные.

6 И говорили Филистимляне: кто это сделал? И сказали: Самсон, зять Фимнафянина; ибо этот взял жену его и отдал другу его. И пошли Филистимляне, и сожгли огнем ее и отца ее.

7 Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь.

8 И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелие скалы Етама.

9 И пошли Филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи.

10 И сказали жители Иудей: за что вы вышли против нас? Они сказали: мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами.

11 И пошли три тысячи человек из Иудей к ущелию скалы Етама, и сказали Самсону: разве ты не знаешь, что Филистимляне господствуют над нами? что ты это сделал нам? Он сказал им: как они со мною поступили, так и я поступил с ними.

12 И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтоб отдать тебя в руки Филистимлянам. И сказал им Самсон: поклонитесь мне, что вы не убьете меня.

13 И сказали ему: нет, мы только свяжем тебя и

отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками, и повели его из ушеля.

14 Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его.

15 Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек.

16 И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу человек.

17 Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место: Рамаф-Лехи*.

18 И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу и сказал: Ты соделал рукою раба Твоего великое спасение сие; а теперь умру я от жажды, и попаду в руки необрезанных.

19 И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил; оттого и наречено имя месту сему: "источник взывающего", который в Лехи до сего дня.

20 И был он судьей Израиля во дни Филистимлян двадцать лет.

ГЛАВА 16

1 Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней.

2 Жителям Газы сказали: Самсон пришел сюда. И ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: до света утреннего *подождем, и убьем его.*

3 А Самсон спал до полуночи; в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плеча свои, и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону.

* Брошенная челюсть.

4 После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек; имя ей Далида.

5 К ней пришли владельцы Филистимские, и говорят ей: уговори его, и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его; а мы дадим тебе за то каждый тысячу сто *сиклей* серебра.

6 И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?

7 Самсон сказал ей: если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен, и буду, как и прочие люди.

8 И принесли ей владельцы Филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими.

9 (Между тем один скрытно сидел у ней в спальне.) И сказала ему: Самсон! Филистимляне *идут* на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь. И не узнана сила его.

10 И сказала Далида Самсону: вот, ты обманул меня и говорил мне ложь; скажи же теперь мне, чем связать тебя?

11 Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен, и буду, как прочие люди.

12 Далида взяла новые веревки, и связала его, и сказала ему: Самсон! Филистимляне *идут* на тебя. (Между тем один скрытно сидел в спальне.) И сорвал он их с рук своих, как нитки.

13 И сказала Далида Самсону: все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь; скажи мне, чем бы связать тебя. Он сказал ей: если ты вотчешь семь кос головы моей в ткань, и *прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде*.

14 И прикрепила их к колоде, и сказала ему: Филистимляне *идут* на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью.

15 И сказала ему *Далида*: как же ты говоришь: "люблю тебя", а сердце твое не со мною? вот, ты трижды

обманул меня, и не сказал мне, в чем великая сила твоя.

16 И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти;

17 И он открыл ей все сердце свое, и сказал ей: бритва не касалась головы моей; ибо я назорей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб, и буду, как прочие люди.

18 Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев Филистимских, сказав им: идите теперь; он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы Филистимские, и принесли серебро в руках своих.

19 И усыпила его *Далида* на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его.

20 Она сказала: Филистимляне *идут* на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего, и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него.

21 Филистимляне взяли его, и выкололи ему глаза, привели его в Газу, и оковали его двумя медными цепями, и он молот в доме узников.

22 Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены.

23 Владельцы Филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши.

24 Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас.

25 И когда развеселилось сердце их, сказали: позовите Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами.

26 И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: подведи меня, чтоб ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним.

27 Дом же был полон мужчин и женщин: там были все владельцы Филистимские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона.

28 И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи Боже! вспомни меня, и укрепи меня только теперь, о, Боже! чтобы мне в один раз отмстить Филистимлянам за два глаза мои.

29 И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левою.

30 И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! И уперся *всею* силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей.

31 И пришли братья его и весь дом отца его, и взяли его, и пошли и похоронили его между Цорою и Естаолом, во гробе Маноя, отца его. Он был судьей Израиля двадцать лет.

הוצגה לקליטת עליה בחיפה
רח"ל. מועד 20 חיפה 33041
ספריה
מס' 871

КНИГИ ИЗД-ВА „БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 - 1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов.
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ

32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
И. Кауфман. Библейская эпоха
Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
Ш. Эттингер. Корни современного антисемитизма
67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ

68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израйля
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА „ЭКСОДУС-1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАНЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градз. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муны М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

- 103. **Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА**
- 104. **Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА**
- 105. **Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1**
- 106. **Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2**
- 107. **ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей**
- 108. **Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС**
- 109. **Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ**
- 110. **Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1**
- 111. **Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2**
- 112. **Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1**
- 112. **Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2**
- 113. **В ОТКАЗЕ. Сборник**
- 114. **Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1**
- 115. **Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2**
- 116. **Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА**
- 117. **В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов современных израильских писателей**
- 118. **Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания**
- 119. **Оскар Минц. ПРИЗМЫ**
- 120. **Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА**
- 121. **Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ**
- 122. **Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского офицера**
- 123. **Исраэль Таяр. СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ**
- 124. **Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1**
- 125. **Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2**
- 126. **Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1**
- 127. **Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2**
- 128. **Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ**
- 129. **Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1**
- 130. **Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2**
- 131. **Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ**
- 132. **Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ**
- 133. **Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ**
- 134. **Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ**
- 135. **Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...**

136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М. Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскис. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И. Ахарони, Б. Рутенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ
И БУНТАРЕЙ
149. И. Гутман, Х. Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА
156. И. Башевис-Зингер. Сборник рассказов
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й. Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ
И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...

11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И. Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов
и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н. Гутман и Э. Бен-Эзер. МЕЖДУ ПЕСКАМИ И
НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Книга 1
18. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Книга 2

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
„БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу:
Р.О.В. 4140
91041 Jerusalem
Israel**

